

ISSN 0132-0637

2
Октябрь

2000

Октябрь

2 2000

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

2

2000

ФЕВРАЛЬ

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий КИМ.		
Близнец. Роман		3
Владимир САЛИМОН.		
Без видимых на то причин. Стихи		75
Михаил РОЩИН.		
Князь. Книга об Иване Бунине, русском писателе. Окончание		81
Юрий БУЙДА.		
Три рассказа		136

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Владимир КАНТОР.		
Срубленное дерево жизни. Можно ли сегодня размышлять о Чернышевском?		157

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

«Бывают странные сближения...»

Марк АМУСИН.

О несходстве сходного 181

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.

Герой, его внутренность и внешность 187

Песни познания

Как обуютить Россию при помощи никелированной кровати и тумбочки 191

Главный редактор
Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October

При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 28.12.99. Подписано к печати 26.01.2000. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 8470 экз. Заказ № 3189. Цена 29 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Б л и з н е ц

РОМАН

ГЛАВА 1

В тот день я попал в Дом писателей, увидел свои собственные похороны, и меня охватила мгновенная острая жалость, что жизнь прошла и я, оказываюсь, все прозевал. Уже не вернуть было тех надежд, которые давно сбылись или не сбылись,— я лежал в гробу, брезгливо сложив губы, отчего на лице с закрытыми глазами (глубокие провалы глазниц — тоже что-то новое) выразилась несвойственная мне кислая мина недовольства всем и вся в этом мире.

Гражданская панихида происходила в Малом зале Дома писателей — ряд похорон, значит, средненький, небольшое скопление народу сосредоточилось вокруг стола с открытым гробом, традиционно заваленным цветами; обреченными на бездарную скорбь кладбищенского увядания. Почетный караул из четырех человек уныло замер по углам большого гробового стола, их сменяли по истечении некоего брэнного времени. Возле гроба сидели на стульях бывшая супруга усопшего и, очевидно, его дети: девочка и мальчик. К ним время от времени подходили и, наклонившись со скорбным видом, что-то тихо говорили, потом отходили. Я тоже подошел и с тайным любопытством рассматривал их вблизи: каковы они, родственники? Но ничего сказать не решился, а только поцеловал у вдовы-разводки ручку с довольно вялой кожей и молча отошел.

Затем направился к распорядителю похорон, здоровенному лысоватому малому с обличьем располневшего Мефистофеля. Он, держа в руке стопку траурных повязок, мефистофельскими очами уставился на меня.

— Вы кто? — властным голосом спросил он.

— Близнец, его брат, — отвечал я.

— А чего непохожий?

— Мы разнаяйцовые, — пришлось мне объясняться в сей не подобающий случаю момент. — А такие бывают непохожими.

— Ладно. Подмените крайнего, вон того. — Движение головой с выставленным подбородком — и распорядитель сунул мне в руку черную тряпочку с семками.

Я стоял в почетном карауле и смотрел на самого себя, мертвого, с небывалым еще, совершенно новым чувством в душе. Многих я уже хоронил, вот так же стоял у гроба и рассматривал мало узнаваемые, как бы совсем другие лица усопших, которые при жизни никогда не выглядели столь невнятными, тупыми и бесчувственными. Может быть, это из-за того, что были они чужими мне при жизни, а при переходе в мир иной оказывались уже абсолютно чуждыми, во веки веков непостижимыми. И всегда становилось ясным: отныне и ты им никогда не понадобишься, и они тебе. Однако, вглядываясь в свое собственное лицо, столь же глупое и неузнаваемое, я вдруг ощутил весь срок человеческий, все дни свои не прожитыми, но в одно мгновение отнятыми, выкраденными у меня. Про-

жить воистину не удалось, проморгал я эту великолепную возможность, стать самим собой также не удалось: слишком мало было отпущено времени для этого моему близнецу Василию.

Отстояв в почетном карауле, я не стал ждать конца панихиды, не дослушал всех подходящих случаю некрологических спичей и покинул Малый зал Дома писателей. Куда в тот день зашел совершенно случайно — надо было целый час ждать одного корейского бизнесмена, который должен был привезти для меня валюту из Банка развития. Но ждать его в офисе мне вовсе не захотелось, и я забежал в писательский клуб, находившийся неподалеку, чтобы выпить чашку кофе с рюмкой коньяка. Оказывается, тот, в которого я воплотился на этот раз, имел такую привычку — пить кофе с коньяком. В нижнем буфете клуба можно было это получить, я забежал туда и в фойе увидел траурное объявление о своих похоронах... Я и теперь прошел мимо этой афиши, обведенной черной рамкой, и на ходу вновь прочел ее, исполненную красивым плакатным шрифтом и сообщающую о безвременной кончине, постигшей писателя ВАС. НЕМИРНОГО — таково было литературное имя моего брата-близнеца.

Корейского бизнесмена я застал в его офисе — маленького господина в очках, с черными лоснящимися волосами, — благополучно получил от него семнадцать тысяч американских долларов. Теперь уже совершенно не нужны мне деньги. Которые после смерти брата я не знал, куда девать. Они были нужны Вас. Немирному для осуществления какого-то очень важного дела — не то машину-иномарку купить, не то дачу перестроить. И вот теперь он неожиданно умер, и все эти его желания превратились в ничто. Взмутненная поверхность океана бытия, обо что ударились капелька его жизни, мгновенно разгладилась и вновь засияла, отражая в себе яркий свет нового дня.

Неспешно продвигался еще живой на этом свете люд по широкой улице к метро «Полянка» — тысячи людей, и каждый не знал каждого, не знал самого себя, и я шел среди них и также не знал, кто я. Розоволицый кореец в очках тоже не знал меня, равно как и я его, но полчаса назад мы подписали какие-то бумаги, после чего он передал мне толстенькую пачку стодолларовых купюр.

Теперь, когда мой брат-близнец ушел из жизни, их надо было как-то потратить. Я продвигался по улице в кутерьме толпы и раздумывал об этом. Вопрос был не из легких, так как я не знал ни своих пристрастий, ни интересов, то есть мне неизвестны были интересы и привычки того человека, в которого я внедрил на этот раз. И, прежде чем его покинуть, я обязан был как-то распорядиться деньгами моего умершего брата. Потому что по непреложным законам внешнего человеческого мира деньги должны были находиться в постоянном движении, втекать во всеобщий поток и вытекать из него, переходить из рук в руки, находя все нового и нового хозяина. Я не мог выйти из-под власти этого закона и просто передать валюту вдове-разводке Вас. Немирного или его детям: не они являлись детерминированными хозяевами семнадцати тысяч долларов. В некотором роде я оказался заложником этих денег, и мне ничего не оставалось делать, как только подчиниться их воле.

Я решил путешествовать, господа, посетить некоторые места Европы. Тем более что брат-близнец при жизни больше всего хотел этого: съездить в Испанию, столь привлекательно описанную Хемингуэем, в Германию Г. Гессе, во Францию А. Камю — и так далее. Кажется, в некоторых из этих стран брат успел побывать, культурных восторгов, надеюсь, испытал немало. Но я отправился в Европу не за ними. Писателю они были нужны, наверное, но лично мне ни музеи великих художников, ни готические соборы или ампирные королевские дворцы оказались не интересны. При посещении их в душе моей рождался не интеллигентный восторг, но самая примитивная обывательская тоска. И я отпра-

вился в Европу не затем, чтобы «культурки хватануть», а просто по великой растерянности.

Первой страной, куда я решил отправиться, оказалась Испания. Я ее не выбирал специально. Мои деньги повели себя так. Они вдруг оказались в одной международной туристической фирме, где мне выдали туркарту и билеты на самолет. В группе участников тура, с которыми я встретился уже в аэропорту, полетел «Боингом» в Испанию.

И когда перелетали через Альпы — большой кусок земной поверхности, со дня творения покрытый заснеженными горными пиками, — меня заморозили эти островерхие белые вершины, зубчатые ледники на фоне синевы альпийского камня. Место это под солнцем показалось мне настолько безжизненным, холодным и прекрасным, что я тут же забыл про Испанию, куда летел, про своих спутников, с которыми познакомился совсем недавно, и захотел остаться на одной из снежных вершин самой дикой на вид пустыни Швейцарских Альп.

Разумеется, это было опрометчивым решением, господа, потому что я вскоре торчал по колено в снегу на макушке высочайшего горного пика, и вокруг, насколько хватало глаз, простиралось первозданное вздыбленное море каменных кражей и сверкающего под солнцем вечного льда. Горизонт окрест моей вершины представлял собой сплошную неровную, остро изломанную линию ледовых зубцов, и надо всем этим безжизненным прекрасным миром безмолвно зависло голубое небо в белых облаках. Было страшновато, и от чувства безысходности, коим было пропитано все видимое пространство вокруг, сжималось в ледяной комочек сердце.

Если на моем месте оказался бы брат-близнец, то погиб бы в тот же час от холода, отчаяния и бескрайнего одиночества. Его теплое существо, изнеженное и слабое, отключенное от питающей среды человеческого общества, вмиг сморщилось бы и замерзло здесь, во вселенной холода, которую представляли сейчас окружающие горные Альпы. Но где-то, когда-то в глубине его сознания мелькнуло это сине-белое альпийское видение, и ему захотелось сюда — иначе я не оказался бы здесь. И только непонятно, когда же это было, *до или после его смерти?* Если верно второе предположение, то выходило, что Василий-писатель фантазирует, водит мною и по своему усмотрению.

Но у меня было такое чувство, что и я наконец-то оказался там, куда всегда стремился. Значит, в душе мы оба стремились сюда — и здесь смыкаются наши жизненные векторы, направленные неукоснительно в пустоту и свет. Неизвестное человеческое тело, в которое я воплотился, не мешало мне, ни на что не жаловалось, находясь, очевидно, в состоянии полной свободы от земного тяготения. И мне было не на что опереться, не за что уцепиться, ничто не держало меня на земле — в моей неисповедимой свободе и невесомости. Лишь слова были еще подвластны мне, невидимые и светлые, бесплотные и теплые, — все не мои, но каждое — бесконечно родное, русское по облику. Слова соединяют собой виртуальные миры тьмы и света — одни слова способны, наверное, достигнуть того *пространства без времени*, что объемлет, заключает в себе и порождает из себя тьму и свет.

Отсюда, со снежной вершины, из пустоты и неведения, я и хочу начать свою историю в словах — для тебя, мой дорогой читатель. Находясь среди ослепительного сияния альпийских снегов, я снова прослеживаю весь ее ход. Мой земной отец, известный дипломат, увлекся в Америке, где в то время служил, идеей реституции человеческого зародыша вне материнского лона, и я был взят в виде оплодотворенного яйца от матери и помещен в стеклянную колбу. Отец любил свою жену, она была молода и красива, хрупка и нежна; желая уберечь ее от тяжелых природных мучений, он и убедил супругу передать оплодотворенный

им самолично плод на выращивание в чужие руки. Но оказалось — когда меня брали, в материнском лоне осталось еще одно оплодотворенное яйцо, то бишь эмбрион будущего писателя Вас. Немирного. Поначалу этого не заметили, но по прошествии определенного времени явились все признаки беременности матери Василием. И мы с ним стали расти и развиваться параллельно, по раздельности, беременность матери обнаружилась довольно поздно, ничего против этого решено было не предпринимать, а естественным образом рождать ребенка.

Он был связан с матерью естественной пуповиной, через которую воспитывался от внешнего мира, то есть получал питание. А она физической сутью своей была прикреплена к жизни и брала от нее все материалы, вещественные и световые, для строительства будущего Василия. И он рос быстро, в состоянии невесомости вольготно плавал в материнских лонных водах, зевал и поводил головой, вытягивался всем телом, вновь сворачивался, почесывал нос кулачком, брыкался и надувал щеки. Все это было видно на дисплее контрольного аппарата, и мать видела, и отец — и они, уже заранее влюбившиеся в свое грядущее чадо, ласково прозвали его Немирной, по игре слов — фамилия отца была Мирный. Впоследствии, как известно, «Немирной» стало писательским псевдонимом Василия.

У меня же вместо пуповины был шланг, вместо материнских лонных вод — подогретый химический раствор, и никакого строительно-питательного материала от внешней жизни ко мне не поступало. Но профессионалы искусственного выращивания плодов человеческих не знали, что у каждого эмбриона на матушке Земле есть и другая пуповина, невидимая, с помощью которой растущий плод соединен с началом, объемлющим и свет, и тьму, и жизнь, и нежизнь во Вселенной. Какая энергия оттуда поступает по невидимому каналу, неизвестно, но вестимо одно: сама идея бессмертия и все то, что проявляется в человеках как ощущение бессмертия, приходит к ним через этот путь еще в пору их зародышевого состояния.

И если материнская пуповина, соединяющая их с жизнью, строит тела эмбрионов по образу и подобию жизни, которая суть движение в пространстве и свет, то невидимая пуповина, идущая от космоса, напитывает тела чем-то таким, что, соединяясь с влажными и твердыми жизненными материалами, образует человека, взыскующего бессмертия. Но для чего он такой нужен — Бог весть.

Я же, растущий в стеклянной колбе, питался только через невидимую космическую пуповину. Материнской не знал. А по пластиковому шлангу поступали ко мне не радости, скажем, матери при виде чистого синего неба и не ее алчное удовольствие в процессе поедания соленых грибов, которые были привезены специально для нее друзьями отца из Москвы в Вашингтон. В меня накачивали растворы витаминов, белковые эмульсии и много еще разных других жидкостей. Я рос и развивался, конечно, и тельце мое благополучно формировалось на глазах у всех, но ученым медикам было неведомо, что это совсем особенное тело, с такими свойствами, о которых они и представления не имели.

Мне неизвестно, навещали мои родители меня в клинике, где я пребывал в колбе, или нет, — должно быть, навещали, допускаю это хотя бы потому, что подобный процесс детопроизводства и в те времена стоил весьма дорого, а этакое, дорогостоящее, не бросают без внимания. Деньги намертво привязывают к себе. Но все-таки матушки своей я не помню, равным образом и отца — я вообще ничего из своего прошлого не помню, я об этом прошлом могу только делать предположения. О собственном же происхождении я узнал из одного фантастического рассказа Вас. Немирного, а также из продолжительного разговора с ним, который произошел во время единственной нашей прижизненной встречи. Но об этом в следующей главе — со слов самого Василия.

ГЛАВА 2

Хотя и был назван рассказ фантастическим, но на самом деле в основе его сюжета лежит наше домашнее предание. Отец-дипломат, прослуживший лет десять в Америке при русском посольстве, однажды на даче, уже под Москвой, поведал мне семейную тайну, смахивающую на незамысловатый сюжетик для какого-нибудь бредового голливудского изделия. Оказывается, у меня где-то на свете может быть брат-близнец (*то есть я, дорогой мой читатель: сейчас ты читаешь рассказ в рассказе — прием, излюбленный Вас. Немирным*), и этот брат был выращен в искусственной матке, рожден, так сказать, стеклянной колбой.

Вначале я подумал, что мой бедный папаша разыгрывает какую-то пародию, специально используя самый дешевый литературный ход, тем самым еще раз выказывая свое пренебрежительное отношение к моим писательским занятиям. По его глубокому убеждению выходило, что из такой милой пустышки, как его сын, писателя никогда не получится, зря только бумагу марает. Ведь это высокое занятие требует наличия в человеке недюжинного ума, равно большого жизненного опыта, а также солидного образования и обширных знаний в разных областях жизни. И тут папа разумел, наверное, себя, на все сто процентов оснащенного этими качествами. Однако даже он, которому есть что поведать миру, до сих пор не берется за перо, хотя и вышел уже на пенсию...

Мы в то время жили на даче вдвоем, мама умерла, я развелся, два заброшенных ленивых мужика спрятались в большом несурзном доме и пытались вести обычное существование на том уровне, на котором ведет его всякая смиренная земная тварь: птичка, зайчик, баба Ньюша. Последняя была наша многолетняя домашняя работница, жившая в поселке рядом с дачей, но она состарилась, потеряла все зубы, ослабла на ноги и перестала к нам приходить.

Смерть матери, больные ноги и старость бабы Ньюши, мой развод, выход на пенсию папаша — все свелось к тому, что мы с отцом оказались в дачном узилище без женского ухода, страшно опустились и жили, в сущности, в грязи и беспорядке, как свиньи. Целое лето мы жрали одни консервы, грязную посуду не мыли и постепенно всю ее выкинули. Белье не стирали и ходили, пока было тепло, в драном заношенном спортивном трико.

С отцом я на дню почти не встречался, мы обитали в разных углах многокомнатной двухверандной зимней дачи, я целыми днями писал, вернее, пытался писать, папаша не знаю, что делал, — у него был свой, не известный мне, распорядок дня. Лишь время от времени я слышал звуки телевизора, доносившиеся с его половины дачи... И вдруг однажды он появляется — уже под вечер, в сумерках, когда я, приготовив с помощью электрокипятильника чай, прихлебывал его из кружки и читал старый журнал при свете настольной лампы. Отец пришел ко мне, чтобы объявить, как говорится, неожиданную весть.

Я не знал, что мне думать по этому поводу. Поначалу решил: отец разыгрывает меня, но внимательно присмотрелся к нему и понял, что все гораздо серьезнее. Или он из-за смерти супруги и случившейся почти одновременно с этим отставки всего кабинета министров и его собственной слегка тронулся умом, и в отцову поехавшую крышу вселился какой-нибудь фантастический Карлсон из телевизора. Или...

— Ну и куда он делся? — первое, что спросил я.

— Очевидно, его выкрали, — был ответ.

— Кто? Кому это понадобилось?

— Причины так и остались невыясненными. Следствие было проведено самое тщательное, на уровне ЦРУ. Но, кроме самого факта исчезновения ребенка, ничего больше не удалось установить.

— Хорошо... Ну а вам-то зачем понадобилось делать это?

— Не понимаю... Что делать?

— А вот — рождать ребенка через колбу.

— Причин было несколько. Первая — у меня там, в Америке, имелась валюта. Ее все равно надо было использовать, потому что в то время валюта в нашей стране не распространялась. Ты ведь знаешь, держать ее запрещалось, и всю ее надо было сдавать государству. Тогда эмбриональная реституция стоила пятнадцать тысяч долларов, такие деньги у меня имелись. Вторая причина — это здоровье твоей мамы. Некоторые особенности ее конституции вызывали у врачей беспокойство — как она сможет перенести роды. Во всяком случае, мне сказано было, что не просто. И это подтвердилось, когда родился ты.

— Была еще какая-нибудь причина?

— Была... Мне не хотелось, чтобы с кровью, молоком матери ребенку передалось чувство тотальной неполноценности. Поясняю. Я уже тогда понимал, впрочем, как и многие у нас, что цель нашего замечательного общества недостижима. Мы все должны были жить и работать для неосуществимого. А это порождало в нас, в наших генах опасные мутации. Мы никому не верили, не верили самим себе. Надежда в нас умирала первой. У нашего человека не хватало личных сил, чтобы добиваться своей цели, и мы все — всё население нашей страны, все до единого — обречены были стать неудачниками. Что и произошло, ты же видишь...

— Значит, как я понимаю, ты решил вырвать своего будущего ребенка из тоталитарного болота. Так? Дать ему шанс родиться человеком, не обреченным заранее на неудачу...

— Да, сын.

— А я? Я, значит, был изначально обречен?

— Это вышло случайно. Очевидно, все в жизни выходит случайно... Не предполагалось ведь, что еще одно яйцо окажется оплодотворенным. Судьбе было угодно, что выбор пал на твоего брата-близнеца.

— А был ли мальчик, папа?

— Был. Он родился — или как это назвать? — совершенно нормальным и здоровым одновременно с тобой. Решено было на какое-то время оставить его в клинике, чтобы понаблюдать за ним. Это оказался абсолютно полноценный ребенок, он быстро набирал вес и развивался хорошо. Одна только обнаружилась особенность — он никогда не плакал. И самым диким образом сосал свой большой палец на правой руке. Но говорили, что это ничего — проявление орального инстинкта. Ведь грудь-то материнскую ему, бедняжке, не пришлось сосать.

— А я плакал?

— Ужасно. День и ночь — развивал легкие. Молока у мамы не оказалось, для тебя нашли кормилицу, негритянку, потом перевели на искусственное питание и отвезли в Москву вместе с матерью. А я вернулся в Вашингтон и часто навещал того, другого, твоего брата-близнеца. Мне показывали его под прозрачным колпаком, но на руки не давали.

— Он был похож на меня?

— Нет, совсем не похож. Вы же разнаяйцовые.

— Хорошенький был братец-то?

— У младенцев не поймешь... Но мне кажется, красивый был мальчик. Когда вам стало по четыре месяца, вдруг мне сообщают, что *тот* пропал из клиники. Унесли из-под стеклянного колпака. Кому это было нужно, зачем — так и осталось невыясненным. Клиника обязана была возместить все наши издержки плюс страховка и моральная компенсация. Получалась очень серьезная сумма, целое состояние. Деньги должны были выплачиваться, как только будут уста-

новлены «факты смерти или рассечения» нашего ребенка. Если ничего такого не подтвердится, то выплата будет производиться по частям. Первая — через десять лет после заявленного страхового случая: возмещение издержек... Вторая — половина всей суммы — еще через десять лет. Ну и оставшаяся сумма должна была выплачиваться мне, матери или тебе, брату, ровно через двадцать пять лет. Так вот, сынок, эти двадцать пять лет давно уже прошли, как понимаешь.

— И ты получил деньги, папа?

— Нет. Тогда было нельзя и ни к чему. Теперь настали другие времена. Доллар наконец-то пришел и в нашу страну.

— Так за чем же дело стало, папа?

— Ты, в сущности, меня не знаешь. Пожалуй, и я тебя как следует не знаю... Ну и пусть все так и остается теперь. Мне не хочется тебе ничего объяснять. Просто хочу сказать, что, когда я умру, ты сможешь получить эти деньги. Лично мне они не нужны.

— Спасибо, папа. Выходит, я богат за счет своего брата?

— Деньги положены на счет в отделение южнокорейского Банка развития, действовавшего в Америке. С этим банком работала тогда клиника, в которой находился твой брат.

— Но прежде всего было бы неплохо попытаться найти моего брата. Как его зовут, кстати?

— Мы с мамой так и не успели дать ему имя... И тебя-то мы до трех месяцев никак не могли назвать, все спорили и спорили между собой. Уже в Москве назвали. А до Москвы именем твоим было — Немирной Татарин. Так мама называла тебя за буйный характер и за азиатские черты, какие проявились на твоём лице в младенчестве. Впрочем, со временем они совершенно изгладились... А брата твоего найти было невозможно — прошло уже больше тридцати лет, как он исчез.

Этот необычный во всех смыслах разговор состоялся за год до кончины отца и за восемь лет до моей собственной смерти. Из-за особенностей наших отношений, в которых издавна, от самых моих розовых отроческих лет, главным содержанием было взаимное отчуждение, семейный разговор можно посчитать воистину необычным, спокойным, душевным даже. Но после его завершения, когда отец ушел, угрюмо сутулясь, на свою половину дачи, ничто не изменилось в наших отношениях. Мы по-прежнему почти не общались, и пресловутый русский конфликт «отцов-и-детей» ничуть у нас не заржавел.

Потом я уезжал на полгода в Германию, выиграв благотворительный грант и получив возможность поработать в городе Марбурге. Это время и выбрал папа для того, чтобы покинуть наш мир, не особенно устраивавший его. В котором у него не сбылись, очевидно, какие-то лучшие его служебные надежды. И не оставил он мне ни банковской книжки, ни указаний номера счета и реквизитов того корейского банка в Америке, в котором лежали деньги за моего пропавшего брата-близнеца.

Похоронив отца, Василий решил похоронить и саму мысль получить когда-нибудь мистические деньги, о коих говорил отец, посчитав их болезненной телевизионной фантазией старого дипломата, которого на высшем пике служебного восхождения взяли и вышвырнули в отставку. Да и сама идея существования где-то на свете близнеца из стеклянной колбы была отправлена Вас. Немирным в отряд бредовых. Таким образом он похоронил вместе с отцом и своего мифического брата-близнеца — то бишь меня, господи!

Но мы все же встретились, две половинки одной души, два близнеца, рожденные порознь, и это произошло в промежутке времени между двумя смертями: отцовой и моей собственной. К тому времени вдруг выпал редкий успех про-

изведениям Вас. Немирного, их взлет и вознесение на гребень нового литературного вала. Который прокатился сразу же вслед за объявленной свободой слова и отменой цензуры в России. Вас. Немирной вместе сотоварищи счастливо постиг тогда две вещи: что теперь сколько угодно можно пользоваться матерными словами в тексте и что наивысшим критерием художественности становится интрига непонятности. Чем меньше содержания и смысла в тексте и одновременно с этим чем сложнее и загадочнее он составлен, тем больше понравится критикам и будет ими восхвален. Немирному, все хорошо рассчитавшему, сопутствовало еще и везение — его заметили западные друзья русской литературы, которые тем охотнее хотели дружить с ней и покровительствовать, чем больше в ней выражалось реальной грязи и правдивого ничтожества русской жизни. За это они охотно платили небольшие деньги.

И очень скоро он стал в некотором роде культовой фигурой — критики придумали некое словечко, обозначающее новое литературное направление, сами же определили его признаки и вписали туда несколько фамилий — Вас. Немирной оказался среди самых первых, бесконечно повторяемых. Я очень скоро почувствовал, какие выгоды приносило мое новое положение — меня начали печатать в толстых журналах, издавали в самых модных новых издательствах, моя породистая физиономия стала мелькать на экранах телевизоров, меня приглашали в заграничные поездки в разные страны — от «А», как говорится, до «Я»...

Но вот однажды звонок по телефону, я отвечаю вальяжно, сытым голосом вальяжного мандюка, каковой полагает, что никогда не заболает, побираться с сумою не будет, в тюрьму не сядет:

— Слушаю вас.

— С вами говорит подполковник КГБ (такой-то). Я курирую Союз писателей.— Внезапно словно сыпануло на меня угольной крошкой, не сгоревшей до конца в адских топках,— отметило, настигло...

— Понятно. Что от меня требуется? — слишком непринужденным тоном, стараясь не сбиваться с него, отвечал я, выросший в семье дипломата, с молоком матери усвоив необходимость самообладания и особого ведения разговора с представителями «органов».

— Пока что встретиться и поговорить.

— А что я такого сделал, можно узнать? — Это была первая ошибка, за которой традиционно последуют и вторая, и третья... Накатанная миллионами людей дорога неукоснительных ошибок, в конце приводящая под лагерную вышку или к «вышаку» через расстрел.

— Да не бойтесь, ничего вы не сделали,— стали меня успокаивать.

— Мне бояться нечего,— взяв себя в руки, сухо ответил я. Уже были другие времена. Цензуру отменили...

— Правильно. Я повторяю: мне нужно просто с вами встретиться и поговорить.

— Что ж, пришлите повестку, назначьте время,— стал я наглеть.— Пусть все будет так, как это положено.

— Не так, не так, Василий Викторович! — почти что заволновались на том конце провода.— Я предлагаю по-другому. Встретимся завтра в гостинице «Минск», двести одиннадцатый номер, одиннадцать тридцать утра... Сможете?

— Завтра? Дайте соображу... Завтра...— забормотал я, как бы глубоко задумавшись. На самом деле я ни о чем не думал — не мог; я пребывал в оцепенении нутряного ужаса, который тоже был всосан с молоком матери.— Хорошо, завтра у меня время найдется,— дал я согласие, принимая тон снисхождения — что опять было ошибкой; ибо мне уже самому было слышно, что я фальшивлю.

Назавтра в «Минске» в номере 211 мы встретились, и я в гражданском костюме, при галстукe приветствовал крепким рукопожатием самого себя — писателя Вас. Немирного, в кожаной курточке, с маленькой, кожаной же, кепочкой на голове... Из нас двоих один был обычный человек, рожденный матерью и через ее пуповину получивший весь жизненный материал для своего телесного устройства. Другой — подполковник КГБ (такой-то), и в нем я, который ничего такого не получал в зародышевом состоянии, и мое формирование происходило на материале, поставляемом через незримую пуповину напрямик из той суперначальной пустоты, которую древний китаец Лао-цзы обозначал понятием дао.

В московском людском скопе существовал работник госбезопасности (имярек), может быть, благополучно существует и сейчас, господа. Однажды, спускаясь по лестнице в нижний буфет Дома писателей, Василий увидел атлетически сложенного, как говорится, лысоватого, холеной наружности блондина, который стоял в дверях бильярдной, расположенной в полуподвале, курил и как-то по-особенному, *не так, как другие*, внимательно посматривал на него.

И минутой позже прозаик Анатолий Шерстянкин, очкастый бородатый человечек, который в тот раз вслед за мной спускался в буфет, просветил меня: встреченный нами у бильярдной господин есть офицер КГБ, поставленный надзирать над писателями в их московском Союзе. Но в достопамятный день увиделся с Вас. Немирным не этот офицер, а иное существо — это был я, внедренный в гэбэшника, обладающий природными свойствами, каковых не имелось ни у него, ни у моего брата-близнеца.

Что это за свойства, вы узнаете в следующей главе, теперь же хочу вкратце передать начало долгого разговора, что произошел между писателем и подполковником.

— Вы ведь родились в Америке?

— Да. В Вашингтоне.

— У вас имеется брат-близнец. Знаете об этом?

Я ничего не ответил, долго-долго молчал. Я не знал, что отвечать. Мне было страшно. Этот внутриутробный гнусный страх парализовал мою волю и заступорил мозги.

ГЛАВА 3

— Так вот, я и есть этот брат-близнец, а не офицер госбеза,— сообщил я Вас. Немирному, который с бледным лицом, со стиснутыми челюстями стоял посреди гостиничного номера.— Не знаю, почему это произошло, но со вчерашнего вечера я — подполковник (такой-то). И у меня есть очень важное для вас сообщение.

Итак, он был захвачен утробным страхом: значит, *они* обо всем могут узнать, даже о том, что думают люди. Ведь только вчера, сразу после телефонного разговора с подполковником, Василий вдруг стал размышлять-фантазировать в несусветном дичайшем направлении, какое порой возникало в его сознании помимо всякой воли и даже вопреки ей. Такое свойство в себе он называл истерикой фантазии и никогда не мог самопроизвольно выйти из подобного состояния или отключиться от него. И, тихо злясь, досадуя на себя, он вынужден был досматривать кошмарный сон разума до конца...

Накануне вечером, испытывая гнетущий страх перед завтрашней встречей с гэбэшником, моя мысль сперва начала подцарапывать какую-то фальшивку, стирая с некоего документа имя (только что узнанное) подполковника и вписывая туда свое собственное — Василия Викторовича Мирного (Немирного). А потом, с маху сбросив сей шизофренический пассаж, мой мозг за секунду превра-

тил подполковника КГБ в того брата-близнеца, о котором когда-то поведал мне отец... С чего бы это? Может быть, от слабой надежды... Ведь родной брат-гэбэшник, если и узнает что-нибудь про меня, то все равно не выдаст *им*. А что он может узнать? Возможно, ему стало известно о банковском счете... И он знает номер его и реквизиты банка, они записаны в черной записной книжке...

Так он болезненно фантазировал у себя дома, на своей холостяцкой квартире, а назавтра в гостинице «Минск», в номере 211, подполковник госбезопасности, одетый в цивильный костюм, при галстукке от «Кристиана Диора», говорил ему следующее:

— А знаете ли вы, что на ваше имя существует счет в одном южнокорейском банке? Уже много лет находится на депозите крупная сумма в американских долларах. Наросли очень солидные проценты!

— Не знаю,— быстро, слишком быстро ответил Василий, а я рассмеялся и вполне задушевно молвил:

— Знаете, знаете! Ведь отец рассказывал перед смертью...

— Ну если вам все известно, то незачем и расспрашивать! — начал горячиться Василий. Он все еще не понимал, как ему повести себя...

— А я и не спрашиваю. Я передаю информацию. Счет и реквизиты, кстати, можете переписать, мне они ни к чему.

И я протянул Василию черную записную книжку, открытую на развороте, где на правой странице четкими латинскими буквами и крупными цифрами были обозначены реквизиты и номер банковского счета.

Я усадил брата за письменный стол, сам пристроился в креслице рядом, закурил сигарету (оказывается, я курил белый «Marlboro») и с великим любопытством стал разглядывать его.

Все, что ни делал я, выходило у меня уверенно, по-военному четко, неспешно: доставал из внутреннего кармана пиджака записную книжку, придвигал брату стул, вынимал сигареты и закуривал... Но еще за мгновение до каждого из этих действий я не знал, что буду их производить, не ведал, что черная книжечка лежит в левом внутреннем кармане пиджака и что произнесу перед Василием следующие слова весьма торжественным тоном:

— Вот мы и встретились, брат. Мы когда-нибудь должны были встретиться! Хотя бы раз в жизни.

— А вы действительно мой брат? — был задан вопрос.

— Да,— ответил я.— Но с этим одновременно нам нужно усвоить, что я есть ты (давай перейдем на «ты»), а ты есть я. То есть мы одно целое, но существуем разделенными — в двух разных состояниях. Теперь — пересеклись. Но если с тобой все ясно: Василий Викторович Немирной, по паспорту — Мирный,— со мной, брат, все намного сложнее. Многое остается неясным, даже для меня самого.

— В чем неясность?

— Очевидно, я существую в том же виде, в каком существуют призраки. А точнее — подпитываюсь от того вида не известной еще нам энергии, которая обеспечивает некоторым людям способность подвергаться всяким трансам, навядениям и одержимости.

— Не очень-то понятно...

— И мне тоже. Я пытаюсь сейчас объяснить то, что происходит со мной в моей жизни. Мне только одно доподлинно известно: я есть, я существую. Но мне неизвестно, какой я, как на самом деле выгляжу.

— Ты выглядишь вполне прилично.

— Это одна видимость. Я же говорю: одержимый... До вчерашнего вечера мне ничего не было известно о существовании подполковника. А сегодня — вот

я перед тобой, сидим, беседуем. *Он* лишь представляет меня — он одержим мной. Почему, как это происходит во мне, я не могу тебе объяснить, потому что и сам не знаю.

— А что же с ним происходит? — спросил Василий и не без тайного удовольствия фамильярно ткнул указательным пальцем в грудь подполковнику.

— Как видишь, ничего особенного, — ответил тот, добродушно усмехаясь, отчего на разъехавшихся щеках его обозначились симпатичные ямочки. — Я вполне благополучный одержимый.

— Но такое у тебя происходит не первый раз, я полагаю...

— Разумеется. Вся жизнь происходит, сколько помню. И все из-за твоих фантазий, брат. Кем только я не был по твоей милости...

— Но что происходит с теми, в которых ты... как бы это сказать... поселяешься?

— Не знаю. Никогда этим не интересовался. Должно быть, ничего особенного не происходит. Если, конечно, *нас* не убивают или *мы* сами не умираем.

— А что, неужели и такое бывало?

— И такое бывало. Это у кого какая судьба.

— Ну а что с тобой происходило при этом? — Здесь таился главный вопрос для Василия; он снял с головы кожаную кепку, осторожно положил себе на колени, потом закрыл глаза...

— Я словно впадал в забытие на какое-то время, а потом вновь оказывался в чьей-нибудь другой шкуре. — Был мой ответ.

— Значит ли это, товарищ подполковник... — воскликнул Василий.

— Брат, — поправил я его.

— ...значит ли все это, брат, что ты настоящий феномен бессмертия?

— Ну подполковник-то когда-нибудь умрет.

— Это понятно. Бог с ним. Но я о тебе... Ты-то как? Неужели, братец, ты будешь существовать вечно?

— Этого я как раз не знаю, брат.

О многом еще мы тогда говорили с братом, и я открыл ему главное, к чему пришел совершенно самостоятельно, — что у каждого человека есть две жизни, внешняя и внутренняя, и проживание их, как правило, не совпадает, происходит параллельно. А может быть, здесь речь идет о том, что у каждого есть близнец, такой же, как и я. Но иногда параллельные судьбы пересекаются — получается единая жизнь, и тогда говорят: вот великий талант, феноменальная личность, гений.

Я, зарожденный в колбе, не пугаюсь мысли о смерти и в то же время не испытываю благоговейной любви к жизни. К последней я отношусь спокойно, как и к смерти. Имея разнообразные внешние обличия, непрерывно сменяющие друг друга, я все же обладаю одной-единственной внутренней личиной, неким человеческим невидимым лицом, обращенным к свету, — опять-таки к свету!

В ту встречу выяснилось, что у меня с братом существует не только метафизическая связь, но и душа у нас общая и то самое, что является содержанием краткосрочной земной биографии писателя, принадлежит и мне. Моего же собственного душевного достояния, личной страсти, цели или высшего предназначения на Земле нет и не может быть. Я всего лишь призрачный близнец своего брата, кочующий по чужим жизням, по разным странам, временам, камням, деревьям и птицам, но с нашей общей с братцем неповторимой душой.

...*Самое первое в моей жизни перемещение.* Нам обоим по четыре месяца от роду. Я нахожусь в клинике, под стеклянным колпаком, будущий писатель лежит в родительской квартире в Москве, куда перевезли из Америки мать с младенцем — под благонадежное наблюдение и опеку многоопытной тещи дипло-

мата. Сам же дипломат вынужден был вернуться в Америку дослуживать срок до очередной ротации кадров в посольстве. Младенца содержали в спальне тещи, не матери, потому что ночью к нему вставала самоотверженная теща, кормила его из бутылочки, с ласковой воркотней перепеленывала внучонка, если он обделывался.

Тещу из-за ее ночных хлопот над плаксивым внучком вскоре совершенно одолела бессонница, и она частенько читала в постели, включив настенную лампу-бра, висевшую над спинкой кровати. И на этот огонек смотрел, сосредоточенно хмурясь, накормленный, перепеленатый, уже начинающий задремывать младенец Василий. Его темные глазки время от времени закатывались, уходя вверх под дремотные сени сна, но тут же возвращались назад и вновь внимательно смотрели на лампу. В ней Василий — еще не с человеческим, но с космическим восприятием — увидел некий огненный круг, средоточие светящейся материи, которое образовалось для зарождения новой звезды. И младенцу захотелось ухватить эту звезду, родившуюся на его глазах, он очаровательно улыбнулся, на миг показав розовые беззубые десна, взболтнул ручонкой, издал гулькающий звук на выдохе. В тот же миг в клинике, под стеклянным колпаком, я сделал точно такое же движение рукой, издал горловой лепет — и, не замеченный никем из персонала клиники, навсегда покинул ее, свою истинную искусственную родину-мать. Очевидно, я попросту растаял в воздухе и переместился в Москву, в квартиру своего отца, а точнее — в электрическую лампочку мощностью в шестьдесят ватт.

Это был настенный светильник под матовым колпачком — обычное незамысловатое изделие косной отечественной промышленности, с круглым пластиковым основанием для крепления к стене, на обратной стороне которого был наклеен бумажный заводской ярлычок с фиолетовым штампом. Итак, на какое-то неизвестное мне время я стал этой лампочкой, смиренным, безотказным электроприбором времен развитого социализма в России. К свету этой лампы так и рванулась глухая и еще бесчувственная ко всему политическому, человеческому космическая душа младенца Василия. Видимо, она устремилась к тому началу, откуда произошла, и на пути к сему было расположено множество знакомых галактик, звездных систем и туманностей. Они горели сияющими огненными кольцами. Младенческая душа Василия приняла, видимо, свет настенной лампы за сияние вселенной-матери.

После того как мы побывали рядом друг с другом — он в кроватке, я на стене — какое-то недолгое время, нам пришлось расстаться. Ибо устремления быстро развивающейся души младенца Василия были многообразны, неразборчивы, прихотливы и весьма широко распространялись в пространстве и во времени. Не ведая о том, он посылал меня в такие путешествия, откуда порой и выхода никакого не существовало. Так, однажды, уже в отроческом возрасте, он прочитал книгу «Водители фрегатов» и страстно возмечтал стать капитаном Джеймсом Куком — пришлось мне отправляться в другой век, стать этим капитаном и быть съеденным дикарями! Невозможно перечислить все предметы, рукотворные и натуральные, всех людей и животных, птиц, рыб, насекомых, героев книг, в которых внедрялась моя душа по прихоти его фантазии.

В особенности стали многочисленными и непоследовательными — по времени и пространству моих воплощений — «командировки» для меня в тот период, когда мой брат-близнец занялся литературным сочинительством. Какими только мужчинами и женщинами, детьми и взрослыми не побывал я — в большей части почему-то людьми непривлекательными, несчастными, слабодушными. Василий Немирной, этот яркий представитель так называемого русского постсоветского модернизма, не знал, как и всякий безответственный писатель,

что своим сочинительством плодит и множит вполне реальные существа, в том числе и человеческие.

Все эти раскольниковы, сорели, квазимодо на самом деле существуют и после того, как были созданы их авторами, — душа брата-близнеца, каковой есть и у литературных персонажей, вселяется в подходящий объект внешнего мира и паразитирует в нем, пока вконец не изнурит, окончательно не поглотит его. Хорошо, если паразит окажется доброкачественным, как Пьер Безухов, скажем, — пусть себе множатся на земле такие добродушные, толстые богатые молодые люди в очках. Но постсоветский модернизм, коего Вас. Немирной стал ярким представителем, наплодил столько мерзавцев, пьяниц, половых извращенцев и нравственных уродов, что мусорный бак русской литературы заметно пополнился ее новыми отбросами.

Благодаря своему братцу я побывал неким гомосексуалистом, агрессивной половой бандиткой и андрофобкой — и прочая, и прочая... Последним моим литературным воплощением был некто из новых русских, преуспевающий в торговле медицинскими технологиями делец. Особенность его была в том, что он носил полное имя, отчество и фамилию автора, то есть был употреблен такой литературный ход, при котором в книге действует безжалостный мерзавец, торгующий телами эмбрионов от абортированных женщин, и он именуется так же, как и сам автор. Простодушный читатель, попавшийся на крючок мистификации, возмущается и ужасается циничным «признаниям» героя-автора, однако не замечает того, что уже зацеплен в подсознании своем, — больше не сомневается в достоверности происходящих в книге событий. Это и было главной приманкой автора — читатель многое готов ему простить и признает книгу, если в ней содержится *правда*...

Итак, новый русский, носивший имя Василий Немирной, занимался всякими гадостями, богател, матерел — и вдруг узнал о том, что у него где-то должен быть брат-близнец. Жизнь этого близнеца была застрахована в Америке на миллионную сумму — герой повести «Деньги» мог получить страховку за брата в том случае, если предъявит доказательства его смерти. И весь пафос произведения заключался в том, что Василий Немирной решает найти этого брата, затем погибнуть вместо него, быть убитым под его именем и тем самым дать возможность близнецу получить миллион за страховку его собственной жизни. Философия такого решения объясняется у автора неким мировым законом, усвоенным героем повести: *деньги должны найти своего хозяина*. Он говорит при встрече с братом: «Это самый справедливый закон. Деньги ищут своего хозяина. И пусть они найдут его — пусть восторжествует справедливость!»

Я не уверен, знал ли Василий о том, что мое существование в образе человека ли, камня — в любом земном и неземном воплощении полностью зависит от его фантазий. Также не уверен, что ему был известен еще и другой очень важный закон — смерть свою можно сформировать заранее, вылепить ее, так сказать, руками собственного воображения. Иначе не стал бы он воссоздавать на бумаге со столь скрупулезной педантичностью обстоятельства своей гибели. И тем самым не дал бы повода обывателям лишний раз пошептаться о том, что человек, мол, сам накликает свою смерть, — Василия убили на даче, выстрелом в голову из пистолета, так же, как и героя повести «Деньги».

И когда в день похорон, на гражданской панихиде в Доме писателей, я всматривался в неподвижную маску Вас. Немирного, то был под неприятным впечатлением не только от выражения тупости и глупости на этом лице, не только был шокирован видом маленькой зияющей дырочки над ухом, у виска, но и смущен прорывающимся сквозь косную каноническую личину смерти отчаянным призывом о помощи! Словно обманутый и преданный — врасплох, вероломно, са-

мым грубым образом,— мой брат немо вопиял перед всем миром о том страхе, что испытал в мгновение предстания убийцы за его спиной.

Да, по выражению лица усопшего мне было ясно, что человека с пистолетом, направленным ему в затылок, он каким-то образом успел заметить. Может быть, Василий в последний миг увидел отражение убийцы в ночном окне? Затем раздался выстрел — пуля пробила затылок с левой стороны и вышла у виска с правой.

ГЛАВА 4

В повести «Деньги» близнец появляется довольно поздно, почти к финалу, и встреча братьев имеет только сентиментально-патетическое значение. Автор хочет показать, насколько бессильны в мире, где правят деньги и только деньги, всякие попытки братской помощи и сама любовь братская. Утверждая подобную банальную истину, бедный мой Василий не отдавал себе отчета в том, что и на самом деле лишает себя этой помощи. А ведь она была рядом, она могла бы отвести роковую руку убийцы.

В тот августовский вечер он на даче был не один, а с женщиной, у него после развода дамы довольно легко появлялись рядом, и я не знаю, уважаемый мой читатель, считать ли это обстоятельство счастливым для него. Наблюдая изнутри за самыми разными людьми — и мужчинами, и женщинами,— я видел лишь тщетные их попытки наполниться счастьем за счет друг друга, но никакого наполнения не замечал ни разу, сколько бы ни было любовниц у мужчины и сколько любовников ни меняла бы женщина.

И вот наступил довольно поздний час, стало уже далеко за полночь, женщина давно спала после вина и занятия любовью в не очень свежей постели хозяина, на его широком продавленном диване. Он же почему-то уснуть не мог — ни о чем особенном не думалось, ничто насущное не тревожило его,— но ему не спалось. И Василий оставил полную любовницу свою в постели, накинул на себя, голого, старый махровый халат и отправился покурить в «кабинет», верандную комнату, которую раньше занимал его отец.

Широкое окно выходило в густую садовую зелень, в нем, как в черном стекле, отражались освещенная единственной висячей лампочкой комната и он сам, сидящий за столом,— со встрепанными волосами, с набрякшими мешочками под глазами, с голой волосатой грудью, выставленной в распах купального халата. Не без той мужской печали, с которой взирает каждый человек средних лет на самого себя в зеркало, где-нибудь в глухой час ночи, наедине с самим собой — словно на дне океана,— Василий курил и невесело смотрел на свое отражение в ночном окне. Он не знал того, что, написав повесть, вызвал в трехмерное пространство призрак убийцы. Но, еще ни о чем не догадываясь, он ощущал всей своей кожей, волосами на оголенной груди, всей лобастой головой с залысинами, и спиной, и лохматым затылком надвинувшуюся в ночи угрозу. Она выползала из темноты заоконного мира, который предстал как самое глухое дно морское, где он обретался в одиночестве забытого батискафа, тоскливо попыхивая сигаретой с золотым ободком на фильтре.

И в это предопределенное мгновение бедняге Василию пришло в голову, что для убийства лучше было бы использовать в повести другой ход, более сильный — убийцей надо было сделать не наемного киллера, а родного брата-близнеца! В ту же секунду он увидел в зеркале верандного окна некоего худощавого с густыми бровями человека, который возник за его спиной. Глаза его светились, как у ночного зверя, рот был оскален. Он медленно и напряженно вытягивал вперед обе руки, в которых сжимал тускло сверкающий короткоствольный

пистолет. В эту секунду Василию ясно представилось, что пришедший забрать его жизнь — это я, его таинственный брат-близнец.

После нашей встречи в «Минске», продолжавшейся часа два, писатель не раз видел подполковника в Доме писателей. Но тот ничем не давал знать, что они знакомы, и, так сказать, чрезвычайно знакомы, наоборот, весь вид гэбэшника в штатском говорил о полном неведении относительно Вас. Немирного. На которого по-прежнему распространялись, видимо, некоторые его профессиональные интересы, поэтому он и поглядывал на известного постсовмодерниста как-то по-особенному, *не так, как другие*. Но не более того! И Василий снова переполнился в душе своей необыкновенными, чудовищными, безобразными подозрениями и страхами относительно своего мистического брата-близнеца. Ведь звонок по телефону, когда он предложил встретиться, был все-таки от подполковника госбезопасности! И номер банковского счета он ведь передал ему...

О, я очень хорошо понимал состояние брата в то время, после нашей встречи, — понимал, сочувствовал, но ничем не мог помочь ему. Ведь эта встреча, господа, яснее ясного представила Василию, что все, называемое нашей реальной жизнью, есть не что иное, как образы сна. И этот сон видим не мы, а кто-то другой. Даже такая неоспоримая, казалось бы, реальность, как деньги, — и те оказывались образами недоброго, тяжелого, мучительного сна. Так как же ему, бедняге, можно было с этим существовать дальше? Все в жизни поставив на то, чтобы добыть как можно больше денег, вдруг узнать, что их у тебя очень и очень много, они в американских долларах — и все это также образы сна... А тут еще подполковник госбезопасности в штатском, ненароком встретившись где-нибудь в коридорах Союза писателей, продолжает поглядывать на тебя особенным взглядом и ни ухом, ни рылом не ведет, будто и не встречался с тобой и не дал переписать из своей черной записной книжки некие инвалютные банковские реквизиты. И куда же делся виртуальный брат-близнец, якобы сидевший в нем?

Дело в том, что, пожав Василию руку и разойдясь с ним, я в ту же минуту навсегда оставил подполковника и снова переместился... В кого? Не в самого ли брата моего, Василия Викторовича Мирного (Немирного)? О, такое вполне могло быть, господа. Я даже предполагаю, что это бывало довольно часто. Ведь иначе я не могу объяснить ни себе, ни вам, где мне приходилось отбывать то время, пока я отсутствовал в жизни, то есть не осознавал себя ни в предмете, ни в животном, ни в человеке этого мира. А не пребывать в его пределах, где все есть не прекращающаяся ни на миг борьба всех со всеми, я не могу, потому что я послан сюда *быть*. Но когда я ничего не делаю, не несу тягот этой борьбы — что же я делаю, господа? Наверное, соединяюсь со своим близнецом и отдыхаю, сплю, нахожусь в забытии в тихом уголке его души, в которой постепенно вызревает какая-то очередная мечта-химера.

И в слиянии с братом я находился, наверное, все то время, пока Василий задумывал, писал и публиковал свою повесть «Деньги». В которой, отдать должное, он еще не сделал из меня убийцу — он вообще вывел близнеца как романтическую фигуру, классическую жертву, так сказать, мировой коллизии незаконнорожденных детей и общественных законов. Убийцей Вас. Немирного (героя повести) стал некий человек арабо-кавказской внешности, наемный киллер с жесткими звериными глазами и с модной тогда бородой под «трехдневную щетину».

А спустя некоторое время по выходу повести я вдруг оказался каким-то суетливым, страдающим бессонницей, знающим русский, английский и корейский языки человеком. И я ездил в Америку, ездил в Южную Корею, у меня были документы и доверенность от Василия Викторовича Мирного, гражданина России, и я хлопотал о признании его резидентом одного счета в отделении корейского

Банка развития в Вашингтоне. Видимо, у Василия что-то произошло в душе, и он поверил в реальность существования своих американских денег. А поверив в это, начал страстно мечтать о том, что найдется такой человек, юрист, дока в международных банковских делах, который поможет вытащить эти деньги из банка. И такой умелец, видимо, попал в поле зрения моего брата-мечтателя, поэтому я вскоре и оказался внедренным в этого неизвестного мне человека.

А ведь мой брат после нашей встречи постарался в нее не поверить, убедив себя, что это была коварная попытка гэбистов вынудить его начать процедуру вывоза валюты — с дальнейшими планами их государственного изъятия у него. Итак, в реальность положенных на депозит денег он поверил, а реальности моего существования так и не мог допустить. И не то чтобы чувство братства обрести, но и хотя бы попытаться чуть отвлечься от доминирующего в нем чувства безмерного и неодолимого одиночества — семейного наследия, очевидно, — не захотел мой брат-близнец. Несмотря на все мои признания, высказанные, правда, устами подполковника КГБ, Василий вновь отказался поверить в мое существование и, в сущности, второй раз отрекся от меня. И чувство безмерного одиночества обрушилось на него, как настигшая волна-цунами, и этой волной был захвачен и увлечен, собственно говоря, не только он, но и я сам, мой дорогой читатель.

А может, в глубине его сознания все же было местечко для меня? Помните его вопрос — о бессмертии? Посчитав меня бессмертным, несчастный Василий, может быть, сильно позавидовал мне, и от этой зависти до ненависти был всего один маленький шаг — и он сделал его? И, насильно заставляя меня становиться убийцей, тем самым брат в последнюю секунду своей жизни все же признал меня. И моим Каиновым грехом братоубийства пожелал уравновесить ту несправедливость судьбы, по которой одному досталось почти что ничего, так, обычная эфемерная земная жизнь со всеми ее жалкими глупостями, а мне, его близнецу, рожденному в стеклянной колбе, — всемогущество и бессмертие. О, если бы он знал, что все обстоит как раз наоборот — что только через эфемерность жизни человека обретается его бессмертие и, не прожив, не утратив ее, невозможно обрести вечного существования! И поскольку у меня самого, рожденного в стеклянной колбе, вдохновленного лишь пустотой дао, но не построенного на земном материале, не было никакой тревоги бытия, то не могло возникнуть во мне и жажды бессмертия. А не познавшему этой жажды — воды вечности не испить.

Итак, господа, в момент апофеоза моей крючкотворской деятельности, во дни близкого уже завершения процесса вытаскивания денег с депозитного счета и обналочки долларами через одну южнокорейскую фирму в Москве Василий едет с какою-то женщиной на дачу, а на другой день его находят насильственно умерщвленным, павшим грудью на письменный стол, с зияющей пулевой раной в затылке. Ни женщины, ни следов ограбления, ни каких-либо сведений о мотивах убийства.

Произошло это, повторяю, за три дня до того, как я должен был получить наличными первую часть денег, семнадцать тысяч долларов, чтобы отнести их Василию. Таким образом я готовился увидеться с братом во второй раз, прийти к нему с деньгами в зубах, как говорится, но вышло по-другому. Мы встретились с ним на его гражданской панихиде, в Доме писателей, он возлежал в гробу, а я с траурной повязкой на рукаве стоял рядом и с должным, надеюсь, выражением скорби и уныния на лице взирал на него. Его же отчаянное лицо хранило в себе выражение тайной мольбы, проступавшее сквозь косность смерти, и на правой стороне головы, у виска, зияла небольшая запекшаяся, тщательно замазанная гримом дырочка. Таков был смертный портрет моего бедного брата-близнеца.

Моя же собственная последняя внешность, с которой пребывал я в то время, так и осталась для меня весьма неопределенной. Было столько беготни и хлопот во время поездок в Америку, в Корею, оттуда назад в Москву, такое множество международных инстанций, государственных, юридических, банковских, медицинских, которые надо пройти, что я проделывал все это как будто в беспмятстве, и некогда было даже как следует приглядеться к себе. Брился ли я, принимал ли ванну, что ел-пил в продолжение этого суматошного времени — навсегда останется неизвестным. Так уж случилось, дорогой мой читатель, что какую-то из предписанных мне человеческих жизней я прожил, не заметив самого себя. Не случилось ли такое и с тобой — ведомства, канцелярии, денежные хлопоты не поглощали ли твое жизненное время настолько, что ты даже не успевал запомнить, какая у тебя была физиономия?

И когда после похорон Василия я отправился путешествовать в Европу, по-прежнему никак не мог опаматоваться и пребывал в неизвестности, в какого человека воплотился, кем был этот финансовый умелец. И, как уже поведал в первой главе, я совершенно неожиданно выпал из самолета, большого комфортабельного «Боинга», в котором летел экономклассом в Испанию, и оказался торчащим по колена в снегу на одной из белых, как сахарная голова, вершин горного кряжа Швейцарских Альп.

Событие это означало для меня очень многое, объясняло мое натуральное положение в пространственном мире по выходе из виртуального. И явным образом подтверждало, что, хотя Василий умер и похоронен, моя жизнь и мои действия в ней продолжают и носят, похоже, прежний характер исполнения тайной воли того, кто ушел в мир иной, сублимируют некогда распаленные, но не свершившиеся фантазии мечтателя.

Рассыпчатый зернистый снег был глубок, в него до колен проваливались не снабженные лыжами ноги. На них были обычные летние модельные туфли, которые соскакивали в снежных ямках, когда я порывался куда-то идти, выбираясь из сугроба. Это были бессмысленные, конвульсивные движения, которые я производил потому, что вдруг оказалось совершенно невозможным *безо всякой причины быть одному, без людей, на вершине снежной горы*. Поверь мне, мой читатель, что это и на самом деле невозможно. Наступает агония души, как если бы душа умирала, когда повисает где-нибудь в пространстве одна, совсем без людей. И это подобно тому, когда перестает биться сердце в теле, и все в нем прекращает жить, и воздух больше не поступает в грудь, она перестает дышать — испускает дух. Но ведь только после этого душа способна воскреснуть — и совокупность всех возвращающихся чувств, внутренних и внешних, еще отчетливее определяется: *к свету!*

Из его самого яркого средоточия — со стороны слепящего солнечного круга — появился в небе красный предмет, по форме напоминавший бобовый стручок, и стал быстро приближаться ко мне, в своем плавном полете то взмывая над окружающими вершинами, то быстро спускаясь по воздушной горке. И вскоре летящий аппарат, оказавшийся парашютом, приземлился шагах в ста от меня. А тот, кто управлял им, пилот в комбинезоне и кожаном шлеме, пал ногами в глубокий сугроб, не удержался и запрокинулся, но полуарочный купол парашюта перелетел через него, резко накренился и, задев краем землю, благополучно погас, расстилаясь по белому снегу алым лепестком шелка. Поднявшись на ноги и отцепившись от подвески аппарата, пилот в комбинезоне направился в мою сторону.

— А ты, я вижу, мечтатель... Еле нашел тебя, — были его первые слова, когда он приблизился и остановился рядом. — Вершина эта безымянная, на ней до сих пор не побывал, наверное, ни один человек. Славно, правда?

— Так это ты, значит,— отвечал я,— передо мною собственной персоной, брат.

— Да, воспользовался такой же возможностью свободы, какую имел ты, брат, всю свою жизнь.

— Но я никогда ни о чем не мечтал. Мечтал и фантазировал ты, а я был только исполнителем твоих фантазий. Я не жил для себя.

— Тебе грустно, что все так получилось? Ты хотел бы поменяться местами?

— Повторяю: я не жил, как живут обычно. Поэтому я не знаю, что значит грустить.

— Теперь будешь знать.

— Почему так?..

— Сегодня девятый день. Мне можно навестить прежнюю жизнь, и я решил немного побыть с тобой. Скоро ты снова останешься один в этой жизни — и тогда узнаешь грусть. Это чувство одинокое, брат. Остаться наедине со своей совестью — это и есть то самое, что называется грустью. Свиристая штука, скажу тебе.

— А если совесть чиста?

— Такого ни у кого не бывает.

Мы еще немного поговорили, с любопытством приглядываясь друг к другу. Не знаю, каким предстал перед ним я, остающийся «в этой жизни» один, без своего близнеца, он же, предстоящий передо мной в последний раз, прежде чем уйти навсегда,— куда? *мы не знаем этого и никогда не будем знать*,— выглядел на девятый день после своей смерти совершенно неузнаваемым. При встрече в гостинице «Минск» это был сероглазый, с прищуром, настороженный человек, скорее блондин, нежели шатен. Теперь же передо мной находился мужчина средних лет с темными и добрыми глазами, улыбочивый и спокойный. Очевидно, он и на самом деле воспользовался той свободой, которой владел я на протяжении всего существования — не иметь своего обличия и собственного времени жизни, поэтому иметь любое чужое обличие и существовать с ним в любом отрезке времени, если, конечно, само время существует, господа, и располагается в пространстве в виде нескончаемой извилистой линии.

— Итак, девять дней назад ты пришел и застрелил меня, брат.

— Нет. Нет! Сегодня ты должен узнать правду. Нет!

— Тогда кто?

— Этого я не знаю.

Затем тот из нас, который прилетел на параплане и был в красивом летном комбинезоне, в кожаном шлеме, чем-то очень похожий на романтического Антуана де Сент-Экзюпери, остался один на вершине безымянной горы, посреди самого неприступного района Швейцарских Альп. А второй из нас, тот, кто выпал из пролетавшего на высоте 10 000 метров самолета на эту вершину, куда-то исчез, господа, растворился в сиянии горного света, опасного, ослепляющего незащищенные человеческие глаза. И, опасаясь за свои глаза, я натянул на них защитные очки, потом стал собирать в чехол парашют. Я перенес его на новое место, на каменный стол высочайшей, в несколько километров, отвесной скалы, и там вновь развернул и приготовил для полета.

Дождавшись нужного мне потока воздуха, я дал наполниться куполу текущим ветром и, когда ребристый длинный полуарочный парашют взмыл в воздух, туго натягивая стропы, разбежался и прыгнул с утеса в бездонную пустоту. Но меня не сбросило мелким камешком вниз — я взмыл вверх, влекомый мощной, веселой энергией ветра, и полетел на своем аппарате над альпийскими горными долинами, меж величавых седых вершин — на одной с ними высоте, в единой мелодии величественного света, словно равное им поднебесное существо.

ГЛАВА 5

В Испанию он все же попал, вдруг обнаружил себя лежащим на песке маленького пляжа, окруженного стеной охристых известковых скал, с одной стороны, и глыбами упавших в море камней — с другой. Вода и волны морские не были видны отсюда, лишь уханье и шлепанье водяное выдавали их близкое присутствие да иногда в щелку между камнями, в одном месте, с тихим шипением пролезал рукав желтоватой пены — как будто не деталь бушующего вблизи моря, а какое-то самостоятельное вкрадчивое животное вроде змеи.

И вспомнил — утром ему захотелось быть маленьким японцем в панамке, в серых клетчатых шортах, с рюкзачком на спине, который выходил из отеля в компании других японцев, тоже с рюкзачками и без, и при этом вид имел самый уверенный и спокойный. Слово ему было передано тайное знание о полной фикции умирания человека — если даже и сожгут за одно мгновение, сотнями тысяч, одним ядерным ударом, то и это означает полную фиктивность произошедшего: *через тысячу лет подыметесь утром солнце над морем, а ты лежишь, оказываешься, на шелковистом песке, в укромном месте среди желтоватых известняковых глыб...*

Но японцем он не стал, а потому и пришагал на это место мускулистыми, поросшими рыжеватым волосом, длинными ногами некоего полуевропейца, ярославца, русского человека. И так, я на этот раз оказался немолодым русским туристом из Ярославля, который когда-то давно случайно встретился там Василию. Однако ничего случайного, как известно, на свете не бывает.

Много лет назад, когда брату, наверное, особенно не везло в жизни, он бросил на все лето в Москве жену с детьми, не оставив даже им денег, а сам отправился с любовницей в город Ярославль. Там и познакомился с этим человеком, которого впоследствии, после своей смерти, обнаружил стоящим перед зеркальной стенкой в холле гостиницы и не без скромного самодовольства рассматривающим свое отражение. И это происходило в одном из курортных городков Каталонии, на побережье Коста Брава — в отеле средней руки, на нулевом этаже в холле, в проходном тамбуре между двумя прозрачными раздвижными дверями. Стенки в этом проходе представляли собой сплошные громадные зеркала, куда и направили мы скромный самодовольный взгляд. Голова наша была прикрыта желтым кепи с длиннейшим козырьком, сбоку похожим на клюв аиста, сравнение это пришло в голову ярославца, когда он, скосив глаза, посмотрел на себя в сложном ракурсе — отраженным в таком же зеркале за спиной. В ту секунду я и осознал себя воплощенным в этого человека.

У любовницы Василия была в Ярославле родная тетя, одинокая женщина, к ней-то мы и поехали тогда в гости, но по нашему приезду оказалось, что тетя заболела и попала в больницу. Мы пошли навестить ее, это был старый советский госпиталь коллективного пользования, казарменного устройства — длинные амбарные залы на этажах, уставленные рядами бесчисленных коек, меж которых были оставлены проходы для передвижения больных, их посетителей и больничного персонала. И этими узкими проходами, словно запутанными перелучками, мы добрались до тетюшки, седой женщины с заячьей губой, высоко возлежавшей на подушках в белой казенной постели.

Я в палате побывал всего раз, больше не захотел и в последующие посещения предпочитал оставаться на улице, во дворе перед центральным корпусом больницы. И вот там, разгуливая по больничной дорожке, я впервые встретился с этим человеком. Он подошел ко мне, худой, высокий, молодой еще, но с ранними залысынами над висками, — попросил закурить. Это был один из ходячих больных, в коричневой больничной пижаме.

Разговорились — и оказалось, что мы ягоды одного поля, оба тяготеем к искусству, только он к живописи, а я к литературе. И у обоих тогда была полочка невезения, искусство не шло, не кормило, а у художника обнаружилась к тому же язва двенадцатиперстной кишки. Знакомство наше продолжалось недолго, не более часу, затем мы разошлись, не предполагая в дальнейшем когда-нибудь встретиться.

Был он тогда как-то постоянно, тягуче элегически-печален, с застывшей на устах и в блестящих глазах невнятной улыбкой — улыбочиво меланхоличен с ярославским, должно быть, оттенком меланхолии... Остался таким и по сей день... Повезло ему с заказами на реставрацию икон, на восстановление алтарей в церквях Ярославщины, заработал немало и впервые поехал путешествовать за границу. И первой страной выбрал Испанию — его почему-то всегда тянуло туда.

Как я мог обо всем этом узнать? Ответа нет и, вероятно, не может быть, господ. Никогда никто из нас не узнает, почему он жил и отчего происходило то, что произошло с ним. Мы только можем, словно со стороны, наблюдать за жизненными действиями своих земных близнецов. Ярославец целыми днями ходил с альбомом по улочкам городка, по светлому песчаному пляжу, наконец-то чувствуя себя совершенно одиноким, никому из близрасположенных в пространстве людей неизвестным, как ему этого давно хотелось. Пожалуй, всю жизнь хотелось. Он представлял, что если вдруг оказаться среди совершенно незнакомых тебе и не интересующихся тобою людей, то наконец-то убедительным образом определится, какое ты есть на самом деле существо, — завершится твоя наука самопознания. Но, достигнув желаемого и очутившись в другой стране, где люди не говорят на русском языке и не понимают его, а он их тоже не понимает, — действительно став совершенно одиноким, человек никакого самораскрытия не достиг, а, наоборот, почувствовал себя глубоко неудовлетворенным, тоскующим по чему-то неизвестному и потерянным.

Что-то давно пережитое, но уже почти незнакомое, забрезжило в душе — из далекого прошлого, с того самого дня, когда мы встречались на больничной дорожке, познакомились и оставались знакомыми в продолжение часа. Он тогда сильно захотел курить, а сигарет не было, ему по болезни запрещено было курить, и он сдал початую пачку дешевых сигарет «Прима» медицинской сестре, а на следующий день отправился по двору, выискивая на земле брошенные окурки. И тут увидел Василия, подошел к нему и попросил у него сигарету. Когда он брал ее из чужих рук, доставая из протянутой ему вскрытой пачки, то увидел свои бледные вздрагивающие пальцы и через их жалкий вид вдруг постиг свой собственный вселенский образ. И я об этом догадался, лишь мельком взглянув на его унылое, испитое лицо. Однако в следующее мгновение на этом лице, в васильковых глазах язвенника вспыхнуло чувство величайшей озаренности. В ее свете он увидел, что, будучи таким же неловким, бледным и трясущимся, как его собственные пальцы, вытягивающие сигарету из чужой надорванной пачки «Явы», неуверенным в себе существом, он все равно когда-нибудь умрет, но не упадет при этом в черную бездну, а взлетит узким пучком света и устремится вдаль.

И вот теперь, медленным шагом прогуливаясь вдоль пляжа по широкой пальмовой аллее и присматриваясь к пестрой россыпи зонтов, палаточек, пледов и ярких костюмов на купальщиках, художник, когда-то встретившийся мне в Ярославле, выбирал себе место, где бы ему остановиться, устроиться и приступить к рисованию. Я благодушествовал изнутри, *из души его*, наблюдая за ним, человеком, который после некоторой растерянности вдруг наконец-то постепенно стал обретать равновесие в своей земной юдоли, покой и широту чувств, далеких от счастья или несчастья, справедливости или несправедливости. О, на-

до было многому совпасть, чтобы именно на каталонском побережье Коста Брава я снова встретился с этим ярославским художником — пусть и многие годы спустя и уже после безвременной смерти Василия, моего экзистенциального брата-близнеца. Ведь я снова встретился с тем, которым когда-то побывал в течение нескольких минут этой странной штуки, что называют временем, подышал прогорклым, подтравленным табачной горечью воздухом неудач и ранних болезней ярославского художника... А теперь он жив и здоров и дыхание его свежо и ароматно, чуть отдает букетом местной мальвазии.

Мне понравилась уединенная каменная скамейка, с которой можно было обозревать лодочное становье, тесно набитое разноцветными яхтами, катерами, вельботами, вытасченными на белый песок пляжа,— художник присел на нее, положил на колени раскрытый альбом. Рисовать все это обыкновенным чернильным пером было для него равносильно тому, чтобы творцу миров, демиургу, начертать в космическом пространстве пути планет какой-нибудь небесной системы и внедрить круглое солнце в середине, затем по начертаниям траекторий запустить крутящиеся шарики разновеликих планет... Я видел движения тех же бледных пальцев, много лет назад вытягивавших сигарету из протянутой ему пачки, а теперь державших особенным манером, легко и непринужденно, изящным трехперстием, блестящую авторучку белого металла... Рисунок, выходящий из-под мечущегося над бумагой пера, был столь похож на внутреннего близнеца этого просторного стойбища катеров и яхт, столь жив в переданном характере оригинала, что я был восхищен и глубоко благодарен художнику за его вдохновение. Оно возвышало и меня, зрителя, поднимало до уровня творца-демиурга.

Мне было уютно, спокойно в чувствах этого смиренного художника; видимо, он уже давно излечился от своей язвы, испытал жизненную удачу и обрел замечательное созерцательное спокойствие. Некое равновесие между жизнью и смертью. И, рассматривая готовый рисунок — всего десятка три-четыре неровных чернильных штрихов и пятен, из которых складывалась полная картина песчаного берега с лодками, я постепенно выходил из внутреннего пространства его созерцающих глаз, выбирался на его трепещущие ресницы — неожиданно густые и длинные, изящно загнутые, как у девушки,— и с этих трепетно-чувствительных ресниц слетел в совершенно иное пространственное размещение жизни.

Я устремился в холодно-синюю прозрачность морского простора скачущим полетом бабочки — быстро, почти мгновенно оказался в другом времени, на противоположном краю Земли. Огромная черная бабочка порхала в стеклянно застывшем воздухе над плывущим в Японию морским лайнером. Черная бабочка-махаон с синеватым отблеском крыл.

Тогда отца направили — по ротации кадров МИДа — русским консулом в город Осака. Воздушного сообщения из Москвы в Японию еще не было, и семья дипломата добиралась туда морским путем из Владивостока. Черная бабочка невиданных размеров опустилась на такелаж судна у самых берегов бухты Золотой Рог и выплыла на корабле в открытое море. Настал яркий, звонкий день под стеклянными небесами, с густой неистойвой синевой всего обозреваемого морского простора — одинакового по силе цвета и вблизи, под самым судном, и вдаль, у ровного, как линейка, отчетливого горизонта. Черная бабочка-махаон поверила тому, что она уже существует, может летать и пребывать в том образе, в котором замыслена, и весело вспорхнула в воздух, отцепившись от толстого лебедочного каната.

Она вначале полетела к носу судна, но ощутила упругое сопротивление встречного ветра, который рождался при быстром ходе огромного корабля, и,

на миг приостановившись в воздухе, слепив за спиною крылышки, крутнулась в воздухе, как слетевший с дерева палый лист, перевернулась и поменяла направление полета. Ее тут же подхватило вихревым потоком и потащило назад, она едва успела опомниться, как длинное судно проскочило под нею, и бабочка оказалась уже одна над плотной водяной пустыней. В которой на этом месте, в русле прямого и бесконечно длинного следа от прочь уплывающего корабля, еще вскипали, всплывали вверх, с тихим шорохом лопались неисчислимы пузырки воздуха. Из-за них и представлялся след промелькнувшего, будто громадное видение, океанского судна белым как молоко.

Неизвестно, сколько людей еще, помимо маленького Василия, заметило краткий полет черного, с синими всплесками в крылах, большого махаона над верхней палубой комфортабельного лайнера. Но Василий настолько был зачарован внезапным и мгновенным пролетом бабочки, что, пробежав вслед за нею до самой кормы судна и более не увидев ее, даже усомнился в том, а была ли на самом деле бабочка. И спросил у первого же подвернувшегося взрослого человека, лысого толстяка в пестром свитере, под которым бугрилось здоровенное брюхо,— видел ли он только что большую, очень большую черную бабочку. Толстяк ничего не ответил Василию, пошел дальше своей дорогой, а мальчик примолк и, глядя на белеющий след корабля, ровно уходящий к горизонту, на мгновение словно воссоединился с той изначальной пустотой, откуда произошли и он сам, и черная бабочка, и толстяк в свитере, и этот одноцветный огромный океанический пустырь вокруг... Слияние человеческой души с дао-пустотой длится мгновенно, однако успевают она и за такое краткое время наполнить эту пустоту предельным содержанием.

От той прощелкнувшей на часах мира секунды затерянного времени идет дальнейший отсчет судьбы черного махаона, который отстал, сброшенный потоком встречного воздуха с океанского корабля, и долго еще летел в сторону оставленного сутки назад дальневосточного побережья России, удивительным образом точно и безошибочно выбирая направление своего полета. Но вот наступила мускульная усталость крыльев — и бабочка безо всякого страха или сомнения опустилась отдохнуть на гладкую морскую волну. Вначале ее крылышки были приподняты над мохнатым тельцем, которое легко поплыло по воде, мелко вздрагивая, и от этого вокруг махаона пошли частые концентрические морщинки. Затем, ни о чем не тревожась, бабочка распластала свои крыла веером по сторонам, и они тотчас прилипли к водяной поверхности. И удивительно емкие по информации пошли сигналы от распластанной на воде бабочки-махаона, сигналы о том, что в пустоту возвращается, проходя через смерть, обольстительное чудо одной жизни, имевшее два черных крыла с лазурными проблесками в глубине своей черноты и веселый, танцующий характер полета.

Когда частая вибрация концентрических морщинок вокруг упавшей в море бабочки прекратилась, вдруг из глубины моря выплыла пучеглазая и большеротая рыба. Дивясь на незнакомую, пробуемую в первый раз пищу, рыба проглотила черного махаона, а вместе с ним и меня, мой дорогой читатель, ибо я, как ты уже давно догадался, был помещен в черную бабочку волею моего брата-близнеца. Произошла обычная вещь — жизнь была поглощена другой жизнью, которая тоже, когда настал час, оказалась использованной третьей: большеротую рыбу с ходу перехватила зубами огромная черно-белая касатка и торопливо проглотила добычу.

Касатка была могучим хищником, но и ее время истаяло, растворилось в соленой воде Тихого океана. На большой глубине у кита-убийцы, гнавшегося за очередной добычей, разорвалось и остановилось сердце. И, постепенно распадаясь, растаскиваемое на мелкие части другими обитателями моря, исчезло тело

огромной касатки, когда-то проглотившей пучеглазую рыбу, которая съела черного махаона, — сей удивительный и сложный замысел, осуществленный вначале на земле, продолжился затем, как видите, под водой в океане.

И хотя по истечении вселенского времени уже не было там ни кита-касатки, ни той морской рыбы, которая проглотила бабочку, ни бабочки и ни меня самого, и все в пучине морской было обновленным в составе своих обитателей, — протянулась некая путеводная нить между тем мгновением, когда маленький брат-близнец мой увидел неимоверно большую черную бабочку над кораблем в открытом море, и той минутой, когда некий ярославский художник оказался в укромном местечке испанского побережья, на шелковистом песке, меж желтых глыб известняка. И услышал вблизи себя тихий шорох и шипение. Море же ухало и тяжело роняло оземь свои волны совсем близко, но невидимо за скальными обломками, окружавшими пяточок уютного пространства... И вот, просочившись тайными расселинами, вытекла туда обогащенная временем морская вода. Она выдавилась из каменной скважины в виде длинного рукава, покрытого шипучей пеной, и подползла, извиваясь, к человеку, лежавшему на песке. Словно желтовато-серая медлительная змея, истлевающая прямо на глазах. И эта распадающаяся в тихом шорохе змея являла собой связующую нить между детством Василия, который умер, и мною — свидетельством того, что все равно сохраняется власть его снов и фантазий над моими дальнейшими воплощениями в жизни. Однако в этом наметились и некоторые видоизменения.

ГЛАВА 6

Судите сами. В испанских рисунках художника из Ярославля неоднократно повторяется мотив четырехугольной приземистой башни, стоящей на плоской вершине горы в окружении зонтичных сосен. Они в ландшафте кажутся совсем маленькими рядом со средневековым сооружением, но на самом деле это могучие раскидистые реликтовые деревья. И мне вдруг захотелось воплотиться в эту башню — стоять на самой высокой точке горы и, день и ночь овеваемому свежим бризом, обозревать морские дали. Такое желание не могло возникнуть у моего брата-близнеца прежде, при его земном существовании, потому что он никогда не бывал в Испании и не видел квадратной башни на горе, — видел ее ярославский художник и запечатлел в своих рисунках. А я, выйдя из виртуальности этих рисунков и из самого художника, вселился на какое-то время невидимым жильцом в это полуразрушенное рыцарское сооружение. И, кажется, сполна испытал чью-то давно истлевшую в веках горделивую радость, что живу выше других на побережье Коста Брава и обозреваю морские просторы дальше всех. Вместе с этим я осознал, мой читатель, что подобное чувство гордости, свойственное всем строителям башен на вершинах скал, не могло исходить от моего брата-близнеца, и потому, стало быть, импульс воли стать башней связывался не с ним.

Значило ли это, что у меня стали появляться собственные желания и я могу реализовать их тем же способом, что и прижизненные химерические вожделения моего брата? Он умер; правда, его отдаленные грезы и фантазмы достигали меня по-прежнему, но как было понимать, господа, появление никак не связанных с его существованием *новых* желаний? Означало ли это, что я, рожденный стеклянной колбой, продолжал существовать на Земле во исполнение какого-то замысла, исходящего напрямую из пустоты дао? И одним из фрагментов этого замысла является, очевидно, моя способность выходить в жизненную конкретность от какой-то посторонней воли — не только от нашей с Василием общей, близнецовой.

Кому-то ведь приходило в голову, что стоять на этой плоской скалистой вершине, поросшей реликтовыми соснами, и на протяжении веков озирать морские дали — дело, может быть, славное и почетное, но невероятно тяжелое и скучное в силу своего однообразия. Из-за чего, кстати, даже деревья устают жить и отмирают, постепенно иссыхая с вершины и продвигаясь в смерти к корням, глубоко уходящим в землю. А ведь вся причина — в роковой неизменности, в вынужденном однолюбстве земли, которое воспринимается теми, кто на ней стоит недвижимо, на одном месте — деревьями, башнями — как навязанная любовь, сильно смахивающая на семейное взаимное рабство!

О, кому же, кому в голову приходили подобные мысли? Ведь я сам, будучи четырехгранной башней, сложенной из красного песчаника, не мог нести в себе, внутри своей каменной кладки, скрепленной известью, ничего подобного — скука однообразного существования на одном и том же пятчке пространства не была изначально заложена во мне. Мой характер, заранее предопределенный в кубическую форму моим строителем, архитектором из вольных каменщиков, был свободен от рефлексий существа, в чем-то недовольного судьбой. Я, красноватая полуразрушенная башня, простоявшая на месте семь веков, вовсе и не думала сетовать на свою судьбу. Но какой-то могущественный и знатный сеньор, который и заказал строителям возвести крепость с башней, и прожил в ней многие годы, от черных как смоль волос до белоснежных седин, вдруг однажды пришел к мысли, что, заранее определяя свою мечту, а потом упорным трудом и ратным боем достигая ее, можно прожить очень скучную жизнь...

Но, промелькнув поначалу неясной тенью в памяти семивековой башни, тот скучающий ее хозяин, рефлексирующий сеньор рыцарь, не успел проявиться для меня в более выпуклом, конкретном образе, ибо я вынужден был вдруг расстаться с ним и немедленно покинуть гористое побережье Каталонии. Однажды я увидел над бирюзовым морским пространством ясного дня, в голубовато-жемчужной размытости воздуха низко летящий над горизонтом серебристый длинный самолет.

Далее произошло вот что. Этот самолет держался в воздухе как-то неуверенно, необычно, то замедляя скорость полета и при этом задирая нос и порываясь набрать высоту, то вдруг срываясь вниз, как-то опасно кренясь набок и являя взору наблюдающих с берега свои скошенные назад серебристые крылья. И следить за этим было жутко и тревожно. Самолет словно метался в небе в тоске смертного предчувствия. В другое мгновение представлялось, что огромный металлический лайнер разыгрался, словно малая пташка, и хочет слететь к воде, чиркнуть об нее грудью и снова взмыть в небеса. И вдруг самолет превратился в продолговатое огненное облако. Оно промчалось вперед еще на довольно большое расстояние, клубясь, сверкая желваками более мелких взрывов и разбрызгивая клочья пламени по воде. Через несколько секунд от этого промелькнувшего в небе самолета и от его огненного призрака уже ничего не осталось. Лишь кое-где по пути следования дымилась на морской поверхности гирляндами вытянутые догорающие ошметки огня.

Оказалось, эта катастрофа, произошедшая с самолетом швейцарской авиакомпании в виду испанских берегов, унесла около трехсот человеческих жизней. А меня самого, наблюдавшего за нею с высоты одной из прибрежных гор, каким-то образом выбросило за пределы того времени и вновь вернуло в стеклянную колбу, в мою истинную родительницу. Кто знает — может, в погибшем самолете находился человек, очень близкий моему брату при его жизни, и в миг катастрофы, сгорая дотла, он успел вспомнить про Василия? А сила этого гибнущего воспоминания была настолько велика, что оказалась способной перечеркнуть собой все другие воспоминания и душевные связи того, кто погибал. И

мгновенно втягиваясь в черную дыру инобытия, все вещество жизни моего брата разом провалилось туда и потянуло меня за собой. И я вновь оказался отброшенным к самым своим изначалам, загнанным в состояние внутриутробного развития. Тогда ведь между нами, близнецами, еще не было никакой связи, и мы, уже существуя, находились врозь, хотя были оплодотворены в лоне одной и той же матушки семенем нашего общего отца.

И, находясь в полном одиночестве, я уже тогда понимал, что промелькнуть на свету жизни каким-нибудь существом, животным или человеком, мне вовсе не хочется. Жить — это было чье-то постороннее желание, не мое, я вовсе не стремился познать самого себя, но меня обозначили и еще как бы подставили зеркало — близнеца — и сказали: *вот, полюбуйся на себя*. Вытаскивая меня из пустоты — для того чтобы я пробежался по жизни, а затем, закончив бег на отметке смерти, снова вернулся в пустоту, — надо мной совершили вероломное насилие. Но при наличии близнеца вероломство это делилось пополам, и вселенское одиночество моей души было бы, очевидно, облегчено и утешено ровно наполовину. Все это утешение я получил бы, если бы был выношен нормально, как все, питаюсь вместе с братом через зеленовато-бурую пуповину матушки. И стал бы вполне послушным обывателем жизни, преданным, запроданным конформизму со всеми своими потрохами — если бы не особенные обстоятельства моего появления на свет.

Итак, находясь еще в стадии внутриутробного развития, я имел возможность — в отличие от моего брата-близнеца — самым кратким путем, напрямую, вернуться обратно в пустоту, не проходя через всю длинную и запутанную канитель жизни. Но, уже брошенный в материю для осуществления чьей-то воли, никуда из колбы деться не мог и вынужден был на глазах у многочисленных свидетелей — сотрудников клиники — развиваться, расти, позевывать, почесывать кулачком нос, сучить ножками — искусно делать видимость того, что все у меня в порядке и я абсолютно такой же по всем параметрам, как и другие эмбрионы, благополучно выращенные в условиях клиники. Еще не родившись, я уже понимал, что надо изо всех сил притворяться, что ты такой же, как и все, иначе тебя постараются уничтожить.

И вот я снова повис в мировом пространстве, смиренно скорчившись, обхватив ручками свои рахитичные коленки, уткнувшись в них лобастой головой, и думаю, думаю, плотно сомкнув глаза, вернее, напрягая те места, где под прозрачной пленкой начинают формироваться мои будущие глаза. Я углубленно размышляю: кто же был тот человек, который застрелил Василия? И рассматриваю то, что возникает перед моим космическим внутренним взором: худощавый человек с плохо выбритыми щеками, со взглядом ночного зверя. Неужели там, откуда берет начало весь грандиозный исход материальной Вселенной, в великой пустоте, возможна *идея бандита с плохо выбритой физиономией?*

Как писатель Вас. Немирной оказался мелким, неинтересным, хотя и широко известным на очень короткое время. Он сделал свои небольшие деньги на волне вседозволенности и никому не мешал. Кто бы стал заказывать дорого киллера для такого ничтожного объекта? Он ни у кого не способен был отнять деньги — он их только выпрашивал у своих заграничных покровителей. А выпросить много денег никогда не получится. Бандиты должны были знать об этом... За что его надо было убивать?

Прежде, чем каждому из нас, одушевленных тварей или минеральных тел, механических изделий или простых звезд средней величины, явиться на свет — кому-то в дао-пустоте должны прийти в соображение и наша внутренняя суть, и наш внешний облик. Мы никогда не узнаем, кто нас замыслил и потом отправлял на свет жизни, подбрасывая туда, словно птиц в воздух. И мы пролетаем

сквозь жизнь, как птицы сквозь пламя светового пожара, а затем снова влетаем назад в темноту. В которой вопросы не задаются. Значит, ответ на мучающий меня вопрос: *кто же это был?* — я могу получить только там, где он и возникал, на свету жизни. И если в космических сновидениях мне представлялась земная жизнь, еще не увиденная и не испытанная мной, то это значило, что, прежде чем она возникла, ее замыслили, — и я, скорчившись в своей стеклянной колбе, *видел* частичку этого замысла. Я видел человека с небритой физиономией, со светящимися демоническими глазами — кто-то уже придумал и послал его в мой внутриутробный сон.

Итак, кто же это был? Впервые в моих дожитических снах он явился в виде спящего младенца, который сосал далеко отгибающийся большой палец своего сжатого кулачка, и это был тот самый палец, которым он — через многие годы — оттянет курок перед тем, как выстрелить в Василия. Но я видел этого человека и безусым юношей, спящим теплой южной ночью на крыше дома, и во сне он посасывал все тот же большой палец. Также мне приснилось, что он изображен на полотне великого художника Возрождения в образе одного из апостолов «Тайной вечери», который в порывистом движении устремился к Спасителю, вперив в Него горящий преданностью взгляд. Но на откинутой руке его, на сжатом кулаке как-то не очень апостольски, скорее даже мошеннически торчал отогнутый большой палец, указуя куда-то, кому-то, словно подавая тайный воровской знак... Наверное, это было изображение предателя — на картине гения Ренессанса, которая мне приснилась, но которую он никогда не создавал.

Впрочем, во внутриутробных снах близнеца образ этого человека, убийцы Василия, не только варьировался в самых разных, порой причудливых, обликах грядущих или прошлых людей, но вполне убедительно, грубо, натуралистично предстал и в виде какого-нибудь животного, отправляющего естественную надобность, или даже просто в виде части тела этого животного. Уже было известно, и я видел это во сне — для своего усталого Учителя ученики нашли молодого ослика. Копыто ослика, на котором ввозили Пророка в город, было окаймлено светлым ободком — серое чистенькое копытце, снизу наполовину розовое. Это обнаружилось, когда невинное животное, неожиданно затруднившись, почувствовало необходимость облегчиться и на ходу помочилось себе на ноги. И в этой полоске розового на копыте значился тайный знак, что и Спасителя преследует по пятам рок, что путь его к предстоящей Голгофе неотвратим и что даже розово-серые копыта белого ослика, на котором еще никто не ездил, неотвратимо топали по пыли дорог в направлении Его гибели. Даже в копыте ослика мог таиться, оказывается, дух грядущего убийцы.

Он гулял в моих космических снах по всем временам и странам, как вольный ветер, этот разбойник с лютыми глазами ночного хищника. Еще не родившись, я боялся его и ненавидел, мне не хотелось являться на свет из-за него — чтобы вовсе не встречаться с ним. Еще не родившись, я знал, что он сильнее меня и что он будет меня мучить. Потому что он достанет себе орудие убийства и начнет действовать именем денег. Он окажется прав, потому что в одной руке будет сжимать оружие, в другой — держать деньги. И я не хотел жить, чтобы не признавать его правоту. Плавая в стеклянной колбе, я знал, что жизнь, в которой правят оружие умерщвления и магические деньги, не будет хороша для меня — никогда, никогда. Что именем насильственной смерти и властью денег невозможно сделать меня счастливым и хорошим. А буду я несчастным, буду мучиться и буду нехорошим.

Тогда и пришло ко мне решение — не послушаться, воспротивиться, взбунтоваться и не появляться на свет, а сразу же вернуться назад в пустоту. И это было решено, повторяю, еще до моего рождения. Не знаю, как все происходило у

вас, но в моем случае — из-за особенностей моего зарождения через колбу — мой внутриутробный бунт против жизни обернулся лишь суровым изгнанием меня из нее в самом начале моего появления в ней. И теперь само собой возникает главный вопрос, философский вопрос вопросов: *кому все это понадобилось там, в пустоте?* Но на это сразу не ответишь, да и вряд ли можно надеяться нам когда-нибудь получить правдивый ответ. Об этом мы будем размышлять в последующих главах, а теперь нам пора переходить к главе седьмой.

ГЛАВА 7

В том, что кто-то замышляет каждого из нас, прежде чем мы появляемся на свет такими, какие мы есть, не может быть никакого сомнения. Но в чем здесь смысл для тех, кто это делает, то есть заранее обдумывает нас, нашу судьбу, — отсылать свой проект из пустоты в наполненность жизни? Оттуда воспроизведенная по всем проектным параметрам вещь мироздания снова возвращается в пустоту — правда, вся изношенная, изломанная, покореженная насмерть... Заниматься подобной работой мне лично было бы скучновато, я не демиург-строитель, а всего лишь космический близнец одного жившего человека, и не мое это дело — обсуждать неясность целей или неадекватность действий высших инстанций. Слишком расходятся наши с ними интересы, и мы вправе сказать самим себе: многое из того, что заботит демиургов на небесах, нас совершенно не волнует. Равным образом и наоборот — творцам совсем неинтересны многие наши мелкие дела. И я нахожу это вполне справедливым.

Несомненно, кто-то вначале видит, словно во сне, всю нашу предстоящую жизнь, а потом появляемся на свет мы и въявь демонстрируем это видение от начала и до конца. Так кто же этот автор, мой загадочный *личный* благодетель в пустоте? Которая не есть тьма, а матерь тьмы. Тьма же есть всего лишь пространство, в котором нет света. Пустота порождает из себя и тьму, и свет, и беспощадное их борение между собой, которое и является временем.словно два хищных коршуненка в одном гнезде, тьма и свет — близнецы — клюют брат брата и стараются выбросить друг друга из гнезда.

Вот ясно представляется мне гладкая и блестящая, смуглая, как кокосовый орех, большая грудь кормилицы-негритянки, выпростанная из расстегнутой блузки, — тычется в нос младенцу темно-лиловый бугристый сосок, раздвоенный на конце, словно перемятый тугой ниткой. Младенцу не нравится этот сосок, ему более по душе другой, тот, что на соседней груди, который красив и не перемят ниткой, и молочные каналы в нем широкие, щедрые, и еда оттуда льется могучим потоком, пробуждая в душе младенца чувство надежности, довольства и полноты жизни. Но, улыбаясь через далекое золотистое марево материнской теплоты (у негритянки был свой маленький ребенок), кормилица ласково забавляется мной, водит по моему носу огромным, мягким соском... Я хмурюсь и неодобрительно, почти враждебно взираю на ее грудь, на тонущие в смешливых бликах большие глаза с выпуклыми белками, словно вываливающимися из мохнатого обрамления черных ресниц... Затем, когда тыканье мне в нос становится вовсе несносным, я беру этот перемятый пополам большой сосок в рот и кусаю его голыми деснами. Кормилица морщится, тихо шипит и затыкает мне нос — накладывает на него свою мягкую грудь.

Затем, во время его поездки на Таити, в гостиничном тростниковом бунгало его посетила одна женщина — не таитянка с лазоревым цветком в волосах, а мускулистая, жопастая негритянка с темными губами и розовым, словно светящимся, подвижным языком, с такими же ярко-розовыми недрами ее поистине

адского черного лона. Когда она перевернулась на спину и раскрылась перед ним, он испытал, пожалуй, сильнейший в своей жизни сексуальный шок и очень нехорошо, чрезвычайно нервно возбудился. Но эта проститутка (или вовсе не проститутка, а просто искательница приключений?... — правда, деньги потом взяла... но как-то неординарно: пересчитала пачку мелких долларовых купюр, небрежно брошенных ей Василием, нашла, что это слишком много, половину бросила обратно на стол, а остальные сунула себе в чулок и быстро поправила юбку), дрожа от возбуждения, сорвала с себя легчайшую блузку, стянула трусики и, представ перед Василием в звериной наготе, выгнулась перед ним и поднесла к его лицу коричневые вздрагивающие груди. И соски были темные, почти черные, и запах пота, рванувшийся из-под вскинутых рук, от кудрявых подмышек негритянки, был поистине звериным. Но именно эта грудь и темные большие соски привели Василия в норму чувств, он смог ощутить в негритянке не какую-то дьяволицу, а обычную сильно возбудимую женщину, искренне похотливую, очень по вкусу ему. И он мог быть с нею по-настоящему страстен, честен по-мужски. И она, видимо, это почувствовала и оценила, а потому и не захотела брать лишние деньги.

Встречи человеческие — их тоже кто-нибудь из вышних благодетелей наблюдает, сначала про себя, в пустоте и темноте, потом запускает на свет жизни? В сновидениях — демиургических, космических, предрождественских, внутриутробных — неужели мы видим тех, которых обязательно встретим потом? Но кто же все это устраивает, придумывает каждого по отдельности, а потом сводит нас вместе, кто там прячется в темноте, сзади, за нашей спиной? И человек с горящими глазами, с густыми темными бровями, со ржавой щетиной на лице прошел в одном из тех сновидений, быстро прошагал через какое-то узкое небольшое пространство, может через комнату, узкий коридорчик, и подошел к телефону. И, прежде чем взять трубку, он машинально взглянул на себя в зеркало трюмо — густые нахмуренные брови, из-под них сверкают, светятся, как у ночного зверя, сумрачно-темные глаза.

...А произошло в самолете — осенило меня! — в том самом суперлайнере швейцарской авиакомпании, который взорвался и упал в море у меня на глазах,— знакомство двух людей, соседей по креслам в бизнес-классе. Одним из этих двух случайных попугачиков оказался импресарио Штурман, другим — тот самый человек, который взглянул на себя в зеркало трюмо. Импресарио Штурман, гражданин Америки, был когда-то хорошо знаком с Вас. Немирным, организовывал для него литературные турне по некоторым штатам. Человек со звериными глазами говорил здоровенному, гладкому американцу, что через... *он посмотрел на часы...* через одну минуту и шесть секунд в самолете произойдет взрыв, что американцы самые отвратительные безбожники на свете, но перед смертью все люди равны, поэтому им двоим надо познакомиться, прежде чем умереть, а заодно и попрощаться друг с другом. Штурман этим ужасным словам сразу же поверил. Он был человеком умным, расчетливым и холодным, но свои миллионы сделал благодаря не столько этим качествам, сколько внутреннему чутью, сиречь интуиции,— он мгновенно понял, что все это чистая правда и уже через несколько секунд он умрет. И, невольно отвернувшись к окну, посмотрел вниз, на землю... Гористый берег. На плоской вершине горы — прямоугольная башня. (*В то мгновение мы с ним и встретились взглядами, господи!*) «Боже мой, да это же... Спаси меня!» — мелькнуло в его голове. И тут же он понял, что никто не спасет его.

Перед ним был боец джихада, мусульманский фанатик, ищущий статуса святого. Штурман вновь повернулся к нему лицом, с растерянным видом пожал протянутую ему холодную руку с удивительно нежной, шелковистой кожей на

ладони и назвал свое имя в ответ на произнесенное хриплым горловым голосом арабское. Затем, ничего не предпринимая, поднял левую руку и стал смотреть на свои десяти тысячные швейцарские часы, в платине и алмазах...

Недаром, видеть, в последнее время с ним происходило что-то неладное. По утрам, очнувшись от сна, он не хотел жить, и ему долго, трудно приходилось бороться с этим чувством... Женатый на правнучке князя Дурасова, эмигранта, имеющий дом на Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе, эмигрант из Советского Союза, наживший за пятнадцать лет неустанных трудов миллионов пять... он вдруг стал впадать в непонятную тоску...

Какая же ерунда все на свете! Штурман вспомнил, что он обычно потел от возбуждения — каждый раз, например, когда заключалась удачная сделка, подписывался контракт, — почему-то перед смертью вспомнил и устыдился именно этой ерунды. А стрелка на часах все так же неумолимо скакала по кругу циферблата... до какой точки? И вдруг стало ему понятно, что у очень большого страха или у невыносимых мучений нет слов для самовыражения. У смерти тоже нет слов... Она пришла, и сказать нечего. Слов нет. Нет...

На каком языке разговаривал Змей-искуситель, свернувшись на древе, с соблазняемой Евой? Последние мысли погибающего Штурмана смогли каким-то образом выплеснуться из пламени горящего швейцарского самолета и перекинуться ко мне — прямоугольной, кубической башне. Из башни же, сопровождаемый увлекательной мыслью об изначальном праязыке, на котором мог изъясняться даже Змей, я незаметным образом очутился в своей родной стеклянной колбе.

Оттуда меня вновь выбросило в жизнь через расстояние столь же огромное — я оказался в Корее и внедрен был в человека, гражданская и национальная принадлежность которого долгое время оставалась для меня неизвестной. Ибо это был потерявший документы молодой бродяга, давно приехавший на заработки в Южную Корею и нелегально оставшийся там после окончания визы. Первая встреча с ним произошла у меня в то время, когда Василий был еще жив, а я хлопотал по государственным правовым инстанциям Республики Корея, стараясь вытащить для него из Банка развития лежавшие там на депозите деньги. А этот малый, наркоман, безобразно заросший и растрепанный, как дикобраз, однажды подошел ко мне сзади, когда я, только что выйдя из здания аэропорта, направлялся к стоянке такси. Он тронул меня скрюченными, как на птичьей лапке, жесткими пальцами за плечо, и я сквозь тонкую ткань рубашки почувствовал его острые нестриженные ногти.

Неужели и этого корейского бомжа кто-то замыслил там, в великой дао-пустоте? А после выпустил бродить по трущобам Сеула, вблизи аэропорта Кимпо? Заторможенный взгляд, мертвенная бледность, жалкая одежда молодого бродяги сразу же вызвали во мне реакцию отчуждения, я хотел молча вернуться и отойти... Но раздался ровно журчащий, какой-то неправдоподобный по тембру голос, произносивший *на русском языке*:

— Закурить найдется, земляк?

Я не знаю, в какого человека я тогда воплотился, но бродяга явно признал во мне лицо русской национальности, потому и обратился по-русски. Сам же корейский люмпен выглядел совершенно корейцем — он и был, я думаю, корейцем, приехавшим из России или из Казахстана, таких тогда было много в Корее. Должно быть, въехал в страну с временной визой, по кабальному договору на какую-нибудь тяжелую работу, затем сбежал от хозяина, просрочил визу и стал нелегалом. Так подумал я — сам неизвестно кто, но знавший английский, корейский языки и думавший по-русски. Я даже ни о чем расспрашивать его не стал, а просто вынул из кармана и протянул ему только что купленную в киоске пачку местных сигарет «88».

...Вот в этого-то бродяжку я и перелетел, переметнулся с американского континента и, еще не освоившись, не осознав даже, где нахожусь, продолжил размышление, которое почему-то пришло в голову одному человеку в последнее мгновение его жизни. *Адам, Ева и Змей-искуситель вообще не умели разговаривать так, как разговариваем мы, грешные люди; Адам и Ева представлялись бы нам сейчас глухонемыми: оба лишь переглядывались самым выразительным — богатейшим, я сказал бы, — образом, и мысль от одного к другому передавалась на незвучащем праязыке...* Значит ли это, что, подобно тому как у небытия нет *своих слов* (о чем догадался гибнущий Штурман), у бытия, даже высшего, тоже нет надобности в собственной речи, в своих словах? И все, что озвучивает через слова великое и несчастное человечество, — все это ни к чему...

Но постепенно в моих глазах стало вырисовываться длинное здание с высокой башней посередине, и знакомые очертания сеульского аэропорта Кимпо предстали за широкой бетонированной пустошью, на которой закручивались и раскручивались многочисленные автомобильные развязки. По ним ползли, как быстроходные муравьи, потоки блестящих автомобилей. Я стоял, оказывается, на склоне горы, что напротив аэропорта, и на этом склоне громоздились наспех построенные многоэтажные здания. Среди них, между ними и окружая этот бесчеловечный квартал жутких билдингов пестрели разноцветными крышами поселки когда-то мирных малоэтажных домиков, многие из которых теперь были заброшены, стояли полуразрушенные. Земля была продана строительным фирмам для возведения новых чудовищных небоскребов, и я нашел себе прибежище, оказывается, в полуразрушенном покинутом поселке. И теперь стоял на крутом повороте узкой улочки, с которого открывался вид на широкий хаотичский простор аэропорта Кимпо.

Моя отвлеченная мысль об утраченном праязыке всего человечества, когда-то жившего в раю, вмиг была сметена той бурей беспокойных, неопределенных, тяжких чувств, теми болями в затылке и в суставах плеч, что одолевали недавно впавшего в «ломку» моего наркомана. И мне кажется, что когда-то, готовясь появиться на свет, я и его видел в своих космических сновидениях, поэтому, наверное, мы вновь встретились здесь. И с ним были связаны следующие мысли. Вся беда моя в том, что я, подобно идиоту или уродливому верблюду, которые не знают о своем идиотизме и уродстве, никогда не мог понять, в чем прелесть жизни — той самой жизни людей и животных на земле, что выглядит такой прекрасной. Но зачем появляться в позоре и уходить в гниль? Проклятые родители — совокуплялись, должно быть, с ненавистью друг к другу, отвернув в сторону свои лица, и породили меня, тем самым совершив гнусное преступление. Зачем я нужен *здесь*, и мне — зачем нужно все это? Не нужно... Я хочу уйти обратно *туда*... Я хочу, чтобы меня никогда не было. О, если бы кто знал, насколько мне отвратительны все, все, что попадались мне на глаза! Мухи, новорожденные летучие мыши, черви в сортирной яме, львы и гиены, жадные люди, старики и старухи. Я так сильно ненавижу жизнь, что этой силе может быть равной только ненависть самой жизни ко мне. И я с радостью ощущаю на себе, на своих синих костях и сгнивших мышцах, в кишках, в башке, в суставных сумках, в горле, на ободранных коленях, меж сопрелыми пальцами ног эту взаимную ненависть ко мне. Чего бы я только не смог содеять, какое злодеяние не смог бы совершить, если бы только дана была мне сила, а не дряблое бессилие. Доза белого порошка, которую я втягиваю в ноздри, подменяет мне эту силу, и я уже могу справиться с проклятой жизнью. Я ее подвергаю изнасилованию и наблюдаю при этом, как она, вопреки своему отвращению к насильнику, испытывает свое грязное удовольствие.

Внедрившись в бедолагу-наркомана, заросшего, косматого, как дикобраз, я вынужден был наблюдать ту сторону бытия человека, которая никогда словами не записывается и поэтому во внимание грядущих поколений не попадает. При отсутствии *своего* сердца, этого нравственного компаса для каждого из гомо сапиенс, я, близнец Вас. Немирного, возвращенный в стеклянном сосуде, никак не могу определить: к чему движется все накопленное человеческое страдание, куда это накопление изольется? Искупило ли оно хоть что-нибудь собою? И, наоборот, блаженство, наслаждение, оргазм, ода к радости, любовь земная — это куда держит путь? Что за непонятные спутники даны человеку в его странном путешествии во днях и ночах прекрасной земли — желание блаженств и нежелание страданий — два веселых жулика, два бессовестных обманщика, сопровождают каждого из нас в нашем одиноком путешествии.

Наркоман-бродяга жаждал блаженства, поэтому вынужден был работать на оптовиков и контрабандистов в злочной округе аэропорта Кимпо. А те, твердо следуя священному закону денег, хотели их получать больше, чем вложили, поэтому под угрозой жуткого изуродования или насильственной смерти заставляли розничных торговцев продавать товар дорого, а за работу платили мало. Денег на героин или кокаин, даже на грубый опий-сырец никак не хватало, поэтому мой бомж научился копить будущее блаженство микроскопическими частичками, отделяя по несколько кристалликов от каждой товарной дозы, которая была уже предварительно как следует выдоена оптовиками. И все же чудесным свойством розничной торговли было то, что, отделяя толику от доз, затем еще раз отделяя, можно было что-то отделить еще. И в этом случае деньги, переходившие из рук в руки, раскрывались в своей магической сущности. Они росли за счет уменьшения товара! Они, как проститутки, обслуживали тем более клиентов, чем сильнее свирепствовал сутенер, отнимая у своих подопечных почти всю их выручку. А клиент покупал и прощал все.

Там, в заброшенном пригородном поселке, среди пыли, мусора и разбитой штукатурки, ночуя то в одном пустом доме, то в другом, я набрел на существо женского пола, с которым мог бы общаться, наверное, на древнем незвучащем праязыке, известном в блаженные времена Адама и Евы, а также соблазнившего их Змия. Теперь ему нечего было бы делать, ибо перед ним предстала бы уже Ева соблазненная — конечный продукт его успешной прошлой деятельности. С одутловатым, разбитым лицом, со свинцовыми синяками под глазами-щелками, в грязных порванных джинсах, косматая, как дикарка, со спутанными прядями черных, жестких, как у лошади, грязных волос. Ни слова не молвив ни на каком человеческом языке, появилась она однажды в сумерках на пороге заброшенного дома, который я облюбовал на тот вечер. Бесшумно прошла через разломанную дверь в комнату, постояла, адаптируясь в сырой и вонючей полумгле, увидела тот продавленный диван, на котором я лежал, но меня словно не заметила на нем, подошла, прихрамывая на одну ногу, тяжело опустилась на край дивана и тут же прилегла, перед тем отбросив назад, за спину, гриву своих волос. Которые упали мне на лицо и перемешались с моими собственными.

Едва ли тот, у которого отняли бессмертие, а взамен вручили смерть и выгнали из вечного рая, был бы рад существовать на земле, трудясь в поте лица своего, а затем сдохнуть, как скотина. Знать, изначально человек земли был предрасположен к мрачному восприятию жизни. А к изменнице, жене своей, вряд ли испытывал иные возвышенные чувства, кроме тяжелой и жестокой тяги к ее плоти. Я понял, пребывая рядом с нею в молчании, мысленно перебирая все наши никудышные возможности земного бытия, что любовь — что и любовь — между мужчиной и женщиной также изначально заражена бактериями

одиночества, отчуждения и взаимной враждебности. Как же можно было бы их преодолеть, эти болезни?

Отдав дань природе своих тел и после этого отдыхая в темноте, каждый из двоих получал возможность, глядя в свою сторону тьмы, погрузиться в глубочайшую медитацию, посредством которой только и возможно открыть путь освобождения от жизни, еще оставаясь в ней живым. Наркотики и плотская любовь — вот чему я был обязан своим встречам с главным угнетателем моей души, невятной и грозной тенью, которая велела мне быть.

Зачем нужно было этой тени, чтобы я обязательно мучился, а только потом умер, для чего любовь, могучую тягу одной души к другой, она опутала столькими уловками, что воистину превратила любовь в ненависть? А то и попросту извела ее, то есть уничтожила, и адамам с евами не о чем стало разговаривать друг с другом — ни на каком из земных наречий, ни даже на изначальном незвучащем языке пращуров из великой пустоты. Может быть, смерть, которая шалит над нами, угнетает и душит, хоронит, обрушивая на нас всю массу вселенского вещества, и тень из пустоты — это одно и то же? И оно откроет наконец смысл и причину того, почему мы все, все до единого, *задуманные и посланные на землю*, никнем к бездне и безнадежно падаем туда. В то время как любой из нас, пусть даже в прошлом самый последний вонючий, весь засранный бомж или окончательно засатаневшая, полусумасшедшая, избитая в кровь бомжиха — каждый нес в душе, господя, знание своего бессмертия и был изначальным, бесконечно, радостно устремлен к свету.

ГЛАВА 8

В этом заброшенном квартале водилось много и другого отпетого народу, прошмыгивавшего через открытые пространства разоренных дворов, засыпанных битой штукатуркой и обломками кирпичей. У всех этих человек, бегавших по городской разрухе с оглядкой, словно крысы, в их судьбе однажды произошло *что-то*, некое малозаметное для других изменение, после чего жизнь каждого покатила по крутой наклонной плоскости. Но тот, кто в неведомой дао-пустоте сочинял подобные судьбы, мог быть довольным, что мировая закономерность на земле соблюдается, что заранее намеченные быть жертвами человеки строго идут в отход и что по-прежнему безукоризненно действует простой древний механизм совершения греха и наказания за него.

Как было в самом начале. Так и осталось до сего дня. Кто-то почувствовал первым скуку однообразия вечности. Все стало для него плохо в бесконечности своего повторения. В особенности то, что было хорошим и очень хорошим. От постоянства хорошего его стало мутить, в особенности от незыблемости бессмертия. Несмотря на полное благополучие, славу и фанфары в честь верховного правительства, некоторые граждане государственного рая начали роптать по углам, по пещерным закоулкам. Там они собирались и в открытую выступали друг перед другом о невыносимости скуки вечножительства. И впервые заговорили о необходимости введения смерти. Без нее, дескать, и жизни нету. А с нею и самая отвратительная, мучительная, дикая жизнь вдруг обретает невероятную ценность... Таким образом и назревал бунт, господя.

Милое и спокойное бессмертие надоело, стало быть, и стали искать способов избавления от него. Причем бунтари искали это не столько для себя, сколько для других — ради общественного блага, так сказать. И тогда те, что вдали от нашей суеты, от *Миросвета*, несуетно сочиняли нас, — авторы наши решили сами выйти к нам, побыть в наших городах и всяях, похлевать нашего житейско-

го супу и заодно проверить на себе, правду ли говорят бунтовщики о скуке вечного бытия, собираясь на свои тайные митинги и по пещерам. Однажды авторы пробрались на одно из самых таинственных сборищ и там, у ступеней амвона, столкнулись лицом к лицу с зачинщиками бунта. Они посмотрели друг на друга и поняли, что не только равны, но и представляют одно и то же — они явились близнецами. Кто-то из них сочинил кого-то и отослал его в свет, тайно от самого себя. Значит, каждый сочинитель из дао-пустоты, может стать, сочинил, *клонировал* самого себя. Или, по другой версии, от постоянного одиночества автор сошел с ума и у него началось раздвоение личности.

Они решили оставаться в разных мирах, вернее, быть и в пустоте, и не в пустоте, и во тьме, и на свету, сочиняя и отправляя друг другу людские судьбы, словно письма. В одном случае это должны быть письма о великой тоске по утраченной родине, по утраченному раю. В другом случае это должны быть сочинения, полные ожесточения и злобы, гневные, похабные, зовущие к самоуничтожению и призывающие безо всяких колебаний убивать, убивать и еще раз убивать себе подобных. Таким образом, в виде переписки с самим собою, убегая от великой скуки и великого одиночества, кто-то сочиняющий нас двойками, полными противоречий, пытается избыть в себе, потратить то, что навсегда непоколебимо, неисчерпаемо, неизбежно — бесконечное вселенское время.

Косматый, как дикобраз, бродяга и его не менее косматая подруга долго удерживали меня в невольном плену, открывая мне шаг за шагом суть того, что называется полным неблагополучием человеческого существования. Я никогда раньше не сталкивался с необходимостью касаться этого вопроса и, пока был жив брат-близнец, обходился лишь тем, что осуществлял его немислимые фантазии. Тем самым, я полагал, мне удастся восполнить недостачу радости в земном бытии человека и делать его жизнь более благополучной. И пусть не все люди имеют таких чудесных близнецов, как я, но все-таки можно надеяться, что многие мечтания человечества не пусты и они обязательно сбудутся! Жаль, что Василий прожил, так и не узнав, что многие его тайные вожеления и страсти осуществились через меня.

После его смерти мне больше не надо было вроде бы осваивать какие-то его неосуществленные желания, но что-то со мною продолжало происходить... Вот и этот корейский бродяга-наркоман — сколько времени: месяцы, год, два, — провел я в нем, проходя и усваивая через него свирепую школу бескомпромиссного самоуничтожения? Для чего это нужно было мне, никогда не имевшему собственного теплого сердца и своего отношения к жизни?

Итак, свободный от необходимости быть сердечным, то есть добрым и любящим, существом, я постепенно пришел к пониманию важных вещей, и это без воздействия гуманистических предубеждений. Предтечей этих откровений явился лохматый корейский бомж, профессиональный наркоман-самоубийца, который мог говорить по-русски («*Закурить найдется, земляк?*»). Его западения в наркотический приход давали ему не облегчение от каких-нибудь душевных страданий — их у молодого человека постепенно не стало, а тихий и неслышный переход, минуя немедленную смерть, в состояние антисуществования. В пределы вечности наоборот. Там улетало в пустоту и свободу все человеческое, навязанное ему судьбой, и с невероятной быстротой уничтожалось вселенское время, набевашшее и скопившееся со дня творения.

Но для того, чтобы уходить в обратный путь от вечного блаженства, все равно надо было жить, для этого ежедневно где-то доставать еду, пусть и самую плохую, от которой даже собаки отворачиваются. Надо было добывать порошок. И жить было трудно и с каждым днем трудней. Лохматая подруга, которую я обнаруживал время от времени рядом с собою, отнюдь не добавляла тяжести

к бремени моего существования: с бомжихой бомж никогда не заговаривал и, насколько помню, ни разу даже не поинтересовался, как ее зовут. С нею, значит, он никак не был связан, хотя временами они и совокуплялись во мгле и глухоте ночи, и не от нее протягивалась к нему какая-то живая еще, мучительная нить жизни.

Однажды он раздобыл денег, купил карточку для телефонных переговоров, вставил ее в уличный автомат и набрал номер с международным кодом 017. Он разговаривал по-русски с какой-то пожилой усталой женщиной.

— Мама, ты только не плачь. Я ведь живой, чего тебе еще?..

— Я не плачу, сына... Это ты не плачь.

— А я и не плачу! У меня все хорошо. Я работаю.

— Когда думаешь вернуться домой?

— Зачем, мама? Чего я там потерял?

— Но у тебя, сына, виза давно кончилась. Что будешь делать?

— Таких здесь много. Из Филиппин, из Китая. Из Вьетнама есть...

— В тюрьму же посадят.

— Всех не посадишь, мама.

— Дядю там найди. Слышишь? Дядя поможет.

— Ну его к черту! Не помог. Закурить только дал. Сволочи они тут все.

— Ну что ты будешь делать, что?

— Ничего... Все у меня хорошо, мама.

— Чего тогда плачешь?

— Не плачу я...

Так разговаривал мой корейский бомж со своей матерью, уставясь помутневшими от слез глазами в небо над широкой, заставленной предметами цивилизации пустошью аэродрома Кимпо. И что-то нарушилось в моих глазах, заливаемых бегущими потоками слез, отчего одинокий, только что взлетевший над землей самолет вдруг как бы раздвоился, и в прозрачном просторе неба повисло два одинаковых самолета — друг над другом, один чуть впереди,— медленно удалявшихся к дальнему зубчатому горизонту. И мое внимание невольно устремилось вослед этим отлетающим близнецам, в то же мгновение я оставил плачущего бродягу и взмыл в поднебесье. И там я снова обнаружил всего один самолет — не два,— который отважно устремлялся, косо забирая вверх, в сторону монументальных, казавшихся незыблемыми, очень далеких серебристо-белых слоистых туч.

Уже не первый раз я прогуливался по небесам, парил — свободный, свободный — высоко над землей в свободном пространстве. Плавно и стремительно перемещался к его отступающей окраине, размытой в голубовато-жемчужном сгущении отдаленных воздушных масс, западающих за округлый край планеты. И на своем пути оказывался то сверху, то далеко в стороне от летящего в наивном и трогательном одиночестве самолета...

И всегда, если он летел навстречу мне, бросая на меня быстрые взоры мигающего пульсара, удивляла меня безрассудная скорость, с которой он просекал воздушное пространство, оставляя за собою ровный, словно натянутый шнур, белый тающий след через все видимое небо. Но в том случае, если пути наши совпадали и я следовал даже чуть быстрее самолетика,— о, каким беспомощно медлительным и безнадежным в своем устремлении вперед, куда-то, представлял он, почти на месте повисший посреди темно-синих бездн!

Моему брату-близнецу часто приходилось летать на самолетах — и в раннем детстве, когда его перевозили вместе с родителями в разные далекие страны, к местам службы отца, и в пору человеческой зрелости, когда Василий стал известным писателем и мог ездить за границу по приглашениям. Неизвестно,

когда это произошло, но, должно быть, с первых же его воздушных путешествий — в заоблачном мире Василию открылась мистическая страна небесных жителей. Это не были сонмы ангелов, традиционно толпившихся у престола Господня, в белоснежных одеждах, окрыленных, со светящимися ободочками нимбов вокруг головы. Воображение брата пробудилось намного раньше, чем он образовался и узнал о канонических иконографиях христианского небесного воинства... Перед братом моим возникали полупрозрачные великаны, и лица, и одежды которых оказывались одного цвета, белого, а огромные размеры тел вполне соответствовали бескрайним просторам облачных равнин, по которым они шествовали.

В одном из своих фантастических рассказов брат поведал миру о некоем заоблачном жителе по имени Савватей, который испытал холодную, иссиня-черную страсть к Эфирее, жемчужного цвета великанше из рода перистых облаков. Горняя страсть в конце концов разрешилась страшным грозовым разрядом — молнией длиной в несколько тысяч километров. Возникнув над Сибирью, она пала на землю северного Сахалина и обернулась грандиозным лесным пожаром, в котором сгорело множество деревьев, зверей, людей, диких птиц. Птицы не могли пролететь сквозь угарный дым, вставший над лесом, задохнулись в нем и падали темными комочками в бушующий адский пламень.

Если бы писатели знали, что их безответственные фантазии и рискованные измышления вполне осуществимы — и часто осуществляются, то многие из них не осмеливались бы марать бумагу. На Сахалине на самом деле вскоре вспыхнул грандиозный пожар от удара молнии, лес горел целый месяц, сгорело несколько поселков... После этого лесного пожара я вдруг оказался на некоторое время независимым от воли своего брата-близнеца и полностью предоставленным самому себе! Это произошло в первый раз, и я даже несколько растерялся.

Не знаю, почему такое произошло, но я оказался одиноко стоящим на краю огромного лесного пожарища, до самого горизонта черного и утыканного редкими обгорелыми останками деревьев. Шел дождь, потушивший, видимо, этот огромный многодневный пожар, виновником которого все же был я; еще дымилась в разных местах его последние догорающие очаги. А за освободившимся от лесного массива пространством вдаль виднелась темно-серая полоса моря. Туда и направился я по расползающейся от дождевой воды широкой прямой просеке, которую проделала, очевидно, валившая деревья тяжелая техника, бульдозеры и тралеры лесорубов. И по обе стороны от просеки тянулось, насколько хватало глаз, скорбное пространство черной лесной гари.

Оглядевшись окрест, я стал оглядывать и себя — то на себе, что было доступно моим глазам. Все тело мое было глухо накрыто намокшим темным брезентовым плащом, мне видны были мои ноги, торчавшие из-под плаща, обутые в резиновые сапоги, на которые налипла тяжелая глина развороченной гусеничными тракторами дороги.

Может быть, земной брательник мой в ту же самую минуту на время лишился сознания — то ли заболел и пребывал в глубоком беспомыслии, то ли, не дай бог, попал в автомобильную катастрофу и находился в реанимации... Словом, господа, никакой угрюмой молниеносной страсти больше не было, никакой громадной, словно континент, поднебесной красавицы Эфирей! Тогда и постиг впервые, что даже для такого бессмертного существа, как я, никогда не станут известны причины того, почему оно появилось на свет. И вот теперь идет по вязкой глиняной дороге. Под проливным дождем. Отмеривает шаги усталыми ногами, обутыми в блестящие от воды резиновые сапоги.

Пока я добирался до моря, может быть, прошло часа полтора-два — за это время дождь прекратился, небо быстро очистилось. И, как это часто бывает на

Сахалине, на смену беспросветно серому стариковскому дню внезапно пришел день юный, ясный, яркий, под нежно-голубым небом, по которому бежали веселые белые облака небольшого размера. Еще примерно час я шел к морскому берегу, и тяжелый плащ мой под лучами солнца стал быстро высыхать, мне стало жарко, я снял его с себя, свернул и перекинул через руку. Оказалось, что я одет в серый свитерок мягкой вязки, в потертые добела на коленях чистые джинсы.

Полностью свободный от прошлого, я шагал вперед, к темно-синей полосе воды, стенкой встающей над белой просторной пустыней песчаной косы. Отлогие длинные дюны предваряли эту пустыню и бежали передо мною наперегонки — одна за другой, одна за другой.

Все, что встречалось мне на пути, чего я раньше не знал, не видел, становилось для меня приобщением к беспредельности, прикосновением к вечности. Я увидел наконец песчаное лукоморье, на краю которого лепились несколько серых деревянных домиков.

Ровно-серый, везде одинаковый, словно застеленный сплошной громадной мешковиной, песчаный берег был лишь кое-где нарушен темными стволами пригнанного морем и выброшенного на берег плавника. Долго поскитавшись по соленым просторам, выглаженные водою, как кость, стволы деревьев теперь упокоились и прикорнули в песке на задумчивом тихом берегу. Но кроме этих лежавших лесин виднелось на сером побережье и несколько вертикальных черных черточек — это были фигурки людей, что-то делавших на путях своей вечности. И еще, сосредоточившись возле костра, вокруг голубого дымка, кудрявым султаном качавшегося над огнем, сидело несколько маленьких детских фигурок; среди них выделялась одна большая, взрослая.

Я оказался вблизи и, свернув в сторону, подошел к ним. Это были дети из детского сада, с ними воспитательница — все из неизвестного мне пространства будущего, куда я устремлялся. Я поздоровался с ними, найдя в своем сердце чувство огромной, светлой радости и приязни к ним. Дети веселым возгласом ответили мне, а воспитательница, полная, красивая, цветущая женщина, чудесно посмотрела на меня серыми большими глазами.

Я спросил у детей, поют ли они в детском саду какие-нибудь песни. Они дружно ответили, что да, поют, а воспитательница широко улыбнулась. «Дядя просит, чтобы мы спели. Спойте, дети?» — сказала она. И дети звонко прокричали: «Спойте!» И тотчас начали... О, это была прелестная песня — все о том же, о вечности и бессмертии, которым мы все владеем. Об осенних грядках на огороде, на которых краснеют два последних помидора. О псе Трезоре, которого надо было погладить, чтобы он не скучал до весны.

Среди поющих детских голосов выделялся один — звонче всех и красивее, музыкально намного богаче и увереннее, чем остальные. Эта певунья была смуглолицей миловидной девочкой-корейкой. Мое сердце так и рванулось к ней. В недалеком будущем я узнаю, что ее мать — моя возлюбленная (не зная своего прошлого, я не знал и того, что было в прошлом у нее), и теплыми июльскими ночами, черными, в проблесках желтых звезд неба, отраженных в невидимой воде моря, мы будем гулять по берегу, обняв друг друга. И когда настанет в том божественная необходимость, опустимся на шелковистое прохладное ложе песка.

Это было райское, по составу счастья и радости, время жизни, которая была не моей, я так и не знаю — *чьей?* — и в этом незнании — *кто?* — таилось самое сладкое обольщение для меня. С удовольствием, трудно описуемым, я следил по утрам, как этот *кто-то* бреется, глядя в настенное зеркало, выдавливая языком на щеке, изнутри, некую шишку, чтобы успешно подхватить с нее бритвой клоч мыльной пены со срезанной щетиной. Лицо у этого человека было за-

горело-смуглым, упругим и чистым, безо всякого излишества морщин или плотского переизбытка. Брови длинные, пшеничные, красивого рисунка, глаза светлые, веселые, с четкими, внимательными, вмятыми кружочками зрачков. По утрам, очнувшись от сна, он вовсе не испытывал желания не жить этот день, а, наоборот, хотел скорее выбежать ему навстречу. Под сень светоносного неба. Особенно любимого, когда оно было попросту голубым, с самыми бесхитростными белыми облаками.

Тот промежуток жизненного времени, когда я по неизвестной причине был свободен, как будто даже позабыт создателем и далеко отвлечен от всех моих невеселых, беспросветных судьбоносных обязательств,— для меня тот короткий сахалинский фрагмент вечности явился, пожалуй, первой школой постижения бессмертия. Оно постигалось человеком тогда, когда он переставал знать все о своем прошлом и одновременно устремлялся только вперед — навстречу тому, что он любил. И на пути к этому любимому, будь то Бог, ребенок, невеста или мать, смерть попросту исчезала из природы вещей и явлений.

Неизвестный мне человек, я целый летний день проводил, праздно гуляя у моря в ожидании вечера, когда после работы и ужина, переодевшись, уложив дочурку спать, прекрасная кореянка придет на свидание. И уже в густой мгле, когда за сотню шагов ничего не видно, она появлялась на повороте железной дороги, бесшумно шагая по шпалам. О приближении любимой я узнавал не потому, что видел или слышал, но всегда по внезапному и жаркому ветерку, как бы изнутри овевавшему мои выбритые щеки, и по особенному, внезапному, неистовому стуку сердца. Наконец она появлялась передо мной, мягко и постепенно рождаясь из ночи — вначале невнятным светлым пятнышком, плывущим, словно дух, над тускло блестящими рельсами. Это пятно было полоской ее белой шелковой блузки, видневшейся в распахе черного пиджачка, и вскоре я обнимал это душистое, лавандой пахнущее божество моей любви, мое обретенное во плоти бессмертие. И знает тот, кто меня сочинил, что я предпочел бы лучше отказаться от своего высшего предназначения в жизни — если оно имеется — и навечно остался бы, замер в том сладостном объятии, если бы такое оказалось возможным. Но подобной возможности не было, к сожалению, и об этом — в следующей главе.

ГЛАВА 9

На Сахалине близнец впервые испытал желание сойтись, перемешаться, стать единым с душой того человека, о прошлом которого ничего не знал. Этот человек недолго, но так страстно и сильно любил небольшого роста молодую, чудесно пахнущую лавандой кореянку, однако я так и не разглядел ее лица при сиянии дня и солнца, а видел его лишь при неясном лунном освещении. Потому что они встречались по ночам, часами гуляли вдвоем вдоль моря, ложились на текучий песок где-нибудь в укромной выемке, под боком у затянутого наполовину в песок массивного бревна-плавника, а то и опускались на землю прямо на открытом непотаенном месте, когда ему уже было невмоготу быть терпеливым, ласковым, бережно прислушиваться к ее тихим: *ну не надо... не сейчас... не здесь... не сходи с ума* — и он решительно валил ее на землю. Она покорно все это сносила, не сопротивлялась и только однообразно повторяла непонятную для меня мольбу: *не надо... не сейчас...*

А чего не надо, почему не сейчас? Если он уже входил туда, куда она сама же охотно, нежно призывала, впускала, и где я ничего не обнаруживал, кроме неистового безнадежного одиночества. Ибо я все-таки был дух, а не тело — чу-

жая душа, вселенная в чужое тело. Куда же девалась на то время *своя* душа этого человека, который содрогался от великого неистовства телесного наслаждения? Я этого не знаю — не знал и тогда, накрывая собой раскинувшую по земле руки женщину, близко заглядывая в ее лицо, освещенное сиянием далекой в космическом пространстве Луны. До чего же она была покорна властной силе мужчины, насколько алчно и томительно сладострастна, чутка и послушна в каждом своем встречном движении, словно в танце. Мужское вторжение, его нетерпеливость и прямую грубость она переводила в этот танец. Эта неизвестная мне восточная женщина боялась зачать и в приближении мгновения, когда все уже станет неотвратимым, запускала мне в шею свои острые ногти и лепетала, закрыв глаза, сквозь стиснутые зубы: «А-а... Не хочу... Не надо... Не хочу...»

Я не знаю, каким образом мне пришлось выйти из судьбы и жизни ясноглазого ее возлюбленного. Видимо, каникулы мои закончились и я вновь был призван к своим судьбоносным обязанностям космического близнеца Вас. Немирного. Я оставил сахалинского счастливица, но вместе с этим пришлось навсегда уйти от ночных свиданий у моря, удалиться на бесконечные расстояния от мерных, тяжких ударов невидимых волн о невидимую землю, от тихого шипения гаснущей на песке пены, всплеска каких-то больших рыб, играющих недалеко от берега. Мне вовсе не хотелось покидать эту женщину, уходить из теплой сахалинской ночи, и, хотя у меня не было собственного сердца, чтобы уметь любить, я понимал любовь душой.

Подобно отравленному Гераклу, в мучениях своих пожелавшему для себя смерти, я пожелал бы себе того же в блаженстве любовного наслаждения. Но на мои пожелания никогда не бывало никакого ответа, а вскоре после сахалинского отпуска я был отправлен куда-то очень далеко для дальнейшего исполнения своей службы...

Итак, его уже не было на свете, а мои перемещения по всему миру и воплощения в самые разные предметы, явления и существа продолжались. И если раньше мне казалось, что моя судьба является лишь невидимым продолжением, повторением — метафизическим негативом (позитивом?) судьбы Василия, то по его смерти стало ясно, что мною правит мой собственный рок.

Дело в том, что во всех моих дальнейших воплощениях что-то продолжало присутствовать от жизненной воли брата Василия. Я сам никогда не жил для себя и не умирал, поэтому не могу с уверенностью утверждать, но мне кажется, что и после смерти человеческая душа, где бы она ни оказывалась, носит с собой некую картотеку — набор карточек самых горьких сожалений. Туда вписаны все случаи неудач, невозвратных потерь, неотмщенных обид и оскорблений, безутешных любовных отвержений и тяжких измен, а также неутоленная жажда славы и зависть к чужой доле.

Но могут быть и карточки совсем ничтожного содержания, как-то, например, что когда-то в детстве у тебя был перочинный ножик с голубой пластмассовой рукояткой и ты, недотепа, однажды попытался забить гвоздик в доску, отчего уголок пластмассовой накладки скололся от рукоятки и безупречная красота голубого ножика была безнадежно нарушена. А ко всему этому перочинный ножик был вскоре попросту утерян...

Представьте себе — сработала однажды именно эта картотека, и мне пришлось, господа, внедриться бог знает в какое время, нырять в чудовищно сложные пространства, такие, как чей-то дырявый карман в пиджаке, и сама дырка в кармане, сквозь которую провалился этот ножик, и мешок за подкладкой пиджака, где я долго, долго полеживал. А также, в конечном итоге — неизвестный новый мой хозяин как-то переходил однажды через канаву по широкой доске, используемой вместо мостика, и в это самое мгновение ножик и вывалился в

прореху — уже в подкладке пиджака,— упал в канаву и юркнул в песочек, никем не замеченный. Потом на дно канавы положили канализационную трубу, засыпали ее землей, и мне уже не сосчитать, сколько времени в образе этого несчастного ножика я пролежал в земле, пока полностью не истлело во ржавчину его железо. Голубая пластмасса накладки, очевидно, не истлела...

Неужели в посмертии, куда удаляется вечная душа человека, она способна оставаться привязанной к таким мелочам и подобному ничтожеству земных дел? И, находясь, может быть, вблизи величайшего престола *Миросвета*, предстая в сонме белоснежных небожителей, потихоньку перебирать свои жалкие карточки поздних сожалений.

Находясь там, где он сейчас находится, мой брат шлет мне поручения иногда такого порядка, что выполнить их бывает весьма мудрено, оставаясь в пределах земной действительности. И я думал порой: ну как могла такая дичь приходиться в голову человеку, пока он был жив? Ведь это ему сначала приходило в голову — а потом мне: *стать башней и с высокого обрыва любоваться на проходящие в море корабли*. А он не мог видеть ту квадратную башню на вершине горы, у побережья Коста-Брава в Испании, потому что никогда не бывал там... Неужели этому слабенькому писателю был открыт все же доступ к высшим знаниям, которые предполагают единство всего живого и неживого, неотличие чего-нибудь одного от всего остального, звезды Кессиль от торнадо Джеки, башни на скале от проходящего в море корабля?

Но все эти сюрреалистические кванты бытия не шли в сравнение с одной постоянной жалобой, засылаемой мне моим близнецом с того света, — с неотвязным требованием даже! Он требовал найти человека, который застрелил его на старой отцовской даче. И я изнемогал, я никак не мог понять, для чего тому, кто уже благополучно избавился от такой мороки, как запутанная жизнь, обязательно заканчивающаяся смертью, непременно надо узнать, кто его пристрелил и тем самым избавил от чудовищных мучений в ожидании последней. А это ожидание, в общем-то, и является главным содержанием любого *живого существования*.

А может быть, и *неживое существование* полно мук и страданий и юдолия для неодушевленных предметов полна не менее, чем у человеков, — скрытых слез и горестных вздохов? Только все это изливается и исходит по-другому, растянуто во времени намного дольше, чем у нас. И нам, человекам, а также другим подвижным земным жителям, животным, невозможно восчувствовать жалобы и стенания неподвижных — камней, цветов, деревьев, старинных башен.

Но как же я мог найти его убийцу, если Василий в бытность свою человеком последний миг своей жизни осквернил гнусным подозрением, что это я, его близнец, решил застрелить своего брата. И мне пришлось в долю секунды, пока убийца еще не нажал пальцем на спусковой крючок, разобраться в том, что происходит, и тут же выскочить из него, в смятении умчаться на другой край света, в другое время... Да, несмотря на мое прямое признание в том, что это не я, я *успел выскочить из убийцы, прежде чем он нажал на спусковой крючок пистолета*, — дух близнеца на том свете (или в той пустоте), куда он удалился, продолжает не верить мне. И непонятно мне, почему столь сильна и едка загробная мука Василия, отчего так устойчива, что и на том свете ему никак не уймется и он буквально вопиет со своим требованием ко мне. Не все ли равно ему теперь?

Лично я, его безымянный брат-близнец, охотно умер бы, в особенности был бы рад, если б меня неожиданно застрелили. Но этого мне не дано. Тому, кто не жил, как живет всякая одушевленная тварь на земле, нет и смерти в качестве награды за муки существования или компенсации за наслаждения. И все эти перочинные ножики, испанские гранды, башни, корейские наркоманы, еврейские

эмигранты и прочая, и прочая — все, которые исчезли, как будто их никогда и не было, каждый в своей изначальной дао-пустоте, *они* так и не научили меня умирать. Я не знаю, что это такое и как оно должно происходить. Чужая смерть ничему не учит. Равно, как и бесконечная череда самых разных жизненных воплощений. И только вызывает во мне острое чувство зависти ко всем, кто уже сумел с этим справиться.

Хорошо было бы, конечно, отыскать этого убийцу и добиться от него признания, но ведь мне стало известно, что он погиб, когда взрывал самолет швейцарской авиакомпании с тремястами его пассажирами. И один из них, импресарио Штурман, свободно говоривший и мысливший по-русски, успел передать на испанский берег, бросив свой мимолетный последний взгляд в сторону квадратной башни на макушке горы, мысль о том, что у смерти, когда она приходит, нет собственной речи, нет своих слов. Ну а я, перехватив мысль в ту же минуту, свободно развил ее, начиная с Адама и Евы... Еще успел Штурман передать мне информацию: некий мусульманский фанатик, смертник, вечный боец джихада, только что сообщил ему, что через минуту в самолете произойдет взрыв бомбы с часовым механизмом. Этот переброс информации в мою сторону произошел в ту самую минуту, когда террорист озвучил на плохом английском свою страшную весть, Штурман, замирая в ужасе, машинально выглянул через иллюминатор самолета в уходящий мир и увидел гористый берег, излучину изумрудного залива, коробочки домов какого-то курортного городка, квадратную башню на плоской вершине горы.

Впоследствии, когда уже не было ни Василия, ни Штурмана, ни их общего убийцы, я не раз пытался связать нити, соединяющие всех троих, и каждый раз оставлял свои попытки, ибо до конца увязать не получалось. Импресарио Штурман, правда, когда-то возил Вас. Немирного в США, и тот, свободно говоривший по-английски (учился в школах Америки, в британском колледже в Японии), успешно выступал в университетах перед студентами. Так потекли первые струйки долларов в карман постсоветского модерниста... Может, здесь все же и надо искать причину смерти моего брата-близнеца. Ибо так же верно, как закон всемирного тяготения объясняет падение предметов с высоты вниз, что насильственная смерть через убийство чаще всего совершается там, где появляются деньги.

Однако почему именно я оказался в поле зрения Штурмана на последней минуте его существования, почему мне был передан его отчаянный SOS и пришлось мгновенно воплотиться в него, бросившего на меня свой последний взгляд, и успеть услышать от соседа по креслу слова о том, что американцы грязные свиньи, безбожники, но перед смертью все люди равны, поэтому мы должны, прежде чем умереть, познакомиться друг с другом и попрощаться — *почему именно я?*

И какая нить связывала террориста с зятем князя Дурасова — их встреча и соседство в бизнес-классе самолета швейцарской авиакомпании были случайными или же за действиями смертника таилась не только изуверская цель фанатика джихада? Тогда какая? Чтобы ответить на эти вопросы, мне надо бы вновь воплотиться в импресарио Штурмана или внедриться в самого экстремиста. Но оба они погибли и навсегда ушли в будущее — и мне их не догнать. Существовала, правда, у меня одна возможность — вернуться к их прошлому, но для этого мне необходимо было знать хоть что-нибудь об этом прошлом... Обязательно нужен был временной адресат моего воплощения, тот, в кого желает превратиться душа Василия.

А она довольно долго молчала — как относительно Штурмана, так и насчет террориста. Последний был для меня почти недостижим, потому что брат о нем

ничего не знал — видел его всего одну-две секунды отраженным в ночном окне дачной веранды. Но к Штурману я отсылался моим близнецом дважды. После того, как первый раз побывал им в продолжение одной минуты и шести секунд, во второй раз неисповедимый каприз потусторонней воли бросил меня на двухспальную широчайшую кровать в московском отеле «Савой», где Штурман полеживал в постели один. Было десять часов утра, но проснулся он давно, часов в восемь, и уже работал с секретарем. Тот звонил, разговаривал спокойным, вежливым тоном, иногда подносил трубку к постели шефа, и шеф разговаривал; секретарь вел бумаги, делал в них необходимые пометки, снова звонил, разговаривал, заказывал кофе, подавал его шефу в постель. И в десять часов в номер зашел мой брат Вас. Немирной.

О, я с любопытством смотрел на него глазами импресарио Штурмана, который был в самом расцвете своих жизненных сил и на вершине преуспевания. Он уже сделал свои первоначальные миллионы; в рыжих глазах его, рассматривавших визитера, на мордастом белом лице, в движениях крупного, упитанного тела выражалась уверенность человека, которому подвластны большие деньги. К нему пришел человек, которому тоже хотелось денег, и тем самым он уже добровольно становился подвластным ему. И мне было любопытно смотреть глазами миллионера на осторожно и робко подступающего к деньгам, *к американским деньгам*, добровольца Вас. Немирного.

Мой брат-близнец выглядел, конечно, не столь уверенным, как импресарио Штурман, брату недоставало весомости. И по его не дебелому, а просто бледному лицу расплзалась вздрагивающая, заискивающая улыбочка. И я увидел глазами Штурмана, что Василий мой пропал... На этой долгой, бесконечной войне он будет убит так же, как и все другие волонтеры,— нейтронным оружием денег. И не успеет даже понять, что с ним произошло, что те, которые посылали его в свет жизни, отправляли его вовсе не за деньгами.

Секретарь Штурмана, человек примерно одного с ним возраста, одетый в исполосованный яркими вставками спортивный костюм, был, оказывается, московским жителем и, как выяснилось, другом детства своего шефа. Они когда-то учились в одной школе, где-то в районе Марьиной Рощи. Теперь при каждом приезде миллионера в Москву его друг бросал все свои дела и помогал Штурману... С небольшой лысиной на макушке, с круглыми внимательными глазами умной обезьяны секретарь молча, сочувственно смотрел на Василия, который пришел к шефу, чтобы тот поддержал начинающего входить в моду русского писателя и помог ему заработать в Америке. Секретарь хорошо знал своего школьного друга, который никому не позволит заработать слишком много, но к внушительному шуму потоков собственного капитала охотно даст прислушаться. И каждого, кто будет заморожен этим шумом, постарается вовлечь в товарно-денежные отношения с собой...

Но я слишком отвлекся, кажется, на ничего не значащего секретаря и слегка отпустил нить повествования. Итак, в сторону секретаря — и я снова возвращаюсь к деньгам, к этим потокам шизофренической энергии человечества, которые залили все его жизненное пространство и вымыли из него почти весь гений высших возможностей, перевели добро на говно и по вонючим стокам последней цивилизации вынесли ее отходы на бескрайние поля орошения — отстаиваться. И в тишине зловонных полей, спокойно вглядываясь в то, что отстоялось, каждый из нас, господа, может увидеть конечный продукт великой денежно-вещевой цивилизации...

Такие мысли не могли прийти в голову ни Василию, ни международному импресарио Штурману, ни тем более его секретарю, приносившему кофе в постель шефу. Подобным образом мог мыслить я, свободный от зарождающегося

тогда в России, во всех «новых русских», широкого энтузиазма к созиданию частного капитала. А таковой никак не мог возникнуть без того, чтобы не задавить своего ближнего, самым беспощадным образом подчинить себе или продать его за деньги. Но все немыслимое зло, посланное в тварный мир земли через деньги, когда-нибудь должно ведь исчерпаться, подумал я тогда, глядя в глаза родному брату, которого скоро прикончат выстрелом в голову. И Штурмана тоже убьют, мы уже знаем, — его также постигнет насильственная смерть, которая свободно гуляет там, где вдруг напрягается и яростно вспыхивает какой-нибудь отдельно взятый очаг современной всемирной эпидемии.

ГЛАВА 10

Перед всесильным натиском зеленого вируса никто не мог устоять — от великих царей арабских до темного таджикского крестьянина, который вынужден был, когда настали лихие времена, отбросить прочь свой кетмень и схватиться за автомат Калашникова. Вначале я был здоров, молод, жил в кишлаке, учился в школе и наблюдал со стороны, как постепенно зеленеет окружающее нас геополитическое пространство. Василий тоже был молод, учился в школе, потом в университете. По окончании которого работать нигде не стал и начал писать художественную прозу. А мне в те же годы стало ясно, что автомат или пистолет гораздо удобнее для рук и только с ними можно добыть зеленые доллары во имя Аллаха и ради всемирного священного джихада. Таким образом, я принял причастие доллара намного раньше, чем Василий, хотя мы были, кажется, почти ровесниками. А когда, каким образом, по какой причине я был внедрен в кишлачного мальчика, который летом в хорошую погоду спал на плоской крыше родительского дома, во сне сладко посасывая свой далеко отгибющийся на кулаке большой палец, того я не знаю.

Не знаю и того, почему я однажды утром проснулся человеком, в котором чугунной тяжестью давило душу угрюмое нежелание просыпаться, снова входить с утра раннего в эту жизнь, открывать глаза и видеть ее свет. Мне было 72 года, я был лысым стариком, дряблое брюхо покоилось на моих коленях, я сидел в трусах и майке на краю кровати, свесив с нее сизые зябнувшие ноги. Почему-то возле меня никого не было, ни жены, ни детей, моя жизнь к старости оказалась одинокой. Не знаю, потерял ли я жену, были дети или их никогда у меня не рождалось — моего прошлого нет как нет, остается одно только будущее! То бишь перспектива моего существования безнадежно тонет в дрожащем мареве вечности. И хотя мне известно, что принявшее меня старое тело вскоре умрет, моя душа, обретающаяся в нем теперь, не перестанет изнывать в унылой меланхолии своего бессмертия. С каким глубоким удовлетворением я ушел бы вместе с этим никому не нужным старцем — умер бы в нем и вернулся туда, откуда был послан. Но такой милости пока нет для меня, а есть лишь суровый гнет бесконечного повторения пройденного. Все, что предстоит мне испытать — в любом новом воплощении, — то уже было, было! И этот старый человек со своим угрюмым утренним отчаянием, с пустотой в прошлом, напрочь отсеченном от него беспомощностью болезни Альцгеймера, также является многомиллионным повтором одного и того же эпизода из всеобщего спектакля под названием *«Хочу жить вечно на земле»*.

Зачем это, спросите вы; ответчу — чтобы бесконечное число раз умирать. Боюсь, господа, что желание вечной жизни — это бесконечное перетекание через пороги и уступы смерти. Перевалив через очередной уступ, водопад жизни словно бы устремляется к бездне, летит прямо туда! Но дно все-таки достигает-

ся, и, побушевав в свирепом аду клокочущей пены, желание жить выносятся уже на спокойные просторы нового существования. Потому и так завораживает, притягивает моего старика явственно слышимый по утрам шум близящегося водопада. И проснувшегося человеку отчаянно не хочется просыпаться. Его одолевает ложная надежда: вот если бы сейчас не проснуться, то как-нибудь можно и проскочить водопад... Но вот он сидит, в трусах и майке, на краю своего одинокого ложа, и законный грохот утренних рабочих машин, подобный шуму гигантского водопада, едва не оглушает семидесятилетнего старика. Который никак не сообразит, кто он такой, где находится — в своей городской квартире или в больнице, и кто сейчас должен подойти к нему, а то и никто не подойдет...

Недавно с ним встречался уже вошедший в моду писатель Вас. Немирной — этакий новорусский Мартин Иден на востоке своей славы. Вы мой учитель, с приятностью для себя говорил он тогда старцу, ваши книги помогли мне разобраться в самом себе, на ваших книгах я вырос, можно сказать... И Василий полагал, что литературному реликту будет приятно услышать такие слова.

— Я хотел спросить у вас... Как писателю распорядиться своим жизненным временем, чтобы не растерять, а полностью осуществить свои возможности? — солидно-ханжеским тоном, усвоенным совсем недавно, молвил далее Вас. Немирной.

В ответ он услышал нечто совершенно неожиданное:

— Да вы, судя по вашему виду, уже давно исчерпали все свои возможности, молодой человек! Но это ничего, по этому поводу расстраиваться не стоит. Вот я перед вами — у меня было возможностей в тысячу раз больше, чем у вас, и многие из них мне удалось осуществить. И что же, какая теперь разница между нами? А никакой. Я со своими громадными осуществленными и упущенными возможностями и вы, успешно освоивший все свои малые, — мы сидим рядышком, мирно разговариваем, как равные. Мы и есть равные. Ведь нас уже давно сожрало некое огромное чудовище, зверь. Сожрало и переварило, и теперь мы не что иное, как его благополучное и самое убедительное говно, дорогой мой. Которое в наше время — и в нашем государстве также — обрело сейчас зеленоватый оттенок. Вот мы с вами и стали этим зеленым говном, товарищ писатель.

— Вы имеете в виду, наверное, американский доллар, — чувствуя, что криво усмехается, промолвил «товарищ писатель». — Или что-нибудь другое?

— Разумеется, доллар, — был ответ. — А что еще? В более общем смысле, конечно же, деньги. Как только мы напечатаем где-нибудь в журнале первую свою строчку, зверь уже ждет нас, широко раскрыв свою пасть. И никуда нам от него не деться.

— Мне кажется, не очень оригинальная у вас получилась метафора...

— Не очень согласен.

— И что же, вы считаете, нечисты все без исключения? Все в дерьме?

— Все. Разве что два-три человека за всю историю. Вы сами догадываетесь, о ком я...

— А Ван-Гог? Он ведь был чист — за всю жизнь ни одной картины не продал.

— Зато после его смерти чудовище проглотило его картины и переварило по тридцать семь миллионов долларов штука... Ничего себе, а?

Василий был огорчен получившим столь неожиданный оборот разговором; он сидел перед старым писателем со смущенным видом; та встреча происходила в Переделкине, на писательской даче.

— Признаться, я шел к вам вовсе за другим... — тихо и трусливо пробормотал Вас. Немирной, и только я, его невидимый близнец, мог угадать, какая темная и едкая смута поднимается в его душе.

— С чем же,— был вопрос,— вы пришли ко мне?

— С тем, во-первых, чтобы поблагодарить. Об этом я уже говорил. Много лет с трепетом читал ваши книги.

— Мне очень приятно это слышать. Я тоже благодарю вас. А что дальше?

— В одном своем романе вы сказали, что человек не видит, но знает: позади него остались день его рождения и — до этого дня — вечность времени. Поэтому можно предполагать с уверенностью, что впереди у него будет день смерти, а за ним — все та же неминуемая вечность.

— Вполне возможно, я что-нибудь подобное и написал. Так что же? В чем ваш вопрос?

— А в этом слове — «неминуемая». В каком смысле вы употребляете его — как что-то *обязательное* или в том смысле, что *невозможно миновать* — «непреодолимое»?

— Не помню. Да это и неважно. Забыл — значит, какая-нибудь ерундистика. Я всю свою прожитую жизнь забыл, товарищ, а вы толкуете о смысле какого-то слова. Давайте лучше поговорим о другом. Например, о вас.

— И о чем же... обо мне? — вновь растерялся Василий.

— Проклятый вопрос о смерти остался для вас неразрешимым, так ведь? Впрочем, как и для всех, включая сюда и тех двоих-троих, о которых уже шла речь. И дело вовсе не в том, чтобы решить эту задачу, она, видимо, нерешаема. А в том дело, к какой группе крови относится каждый из нас, к какой категории жильцов на свете относится. Вот мы с вами относимся к той, которая исповедует главный лагерный закон: ты умри сегодня, а я умру завтра. Мы с вами, молодой человек, одной крови — вы и я.

— Но это, по-вашему, хорошо или плохо? — несколько ироничным, минорным тоном спросил Вас. Немирной, как никогда уверенно чувствуя себя представителем постсоветского модернизма.

— Хорошо, хорошо,— успокаивающе махнул на него восковой ленинско-мавзолейной рукой собеседник. — Да вы и сами знаете, поэтому и пришли ко мне. Скоро к вам доллары потекут. Ждите. А потом вы умрете внезапной смертью — скорее всего вас убьют.

— Спасибо за пророчество, конечно... Но при чем тут доллары? Вы что, прямо связываете их с моей прискорбной гибелью?

— Не обижайтесь, скажите лучше спасибо. Ведь я напророчил вам внезапную смерть, лучшую из всех возможных. Хотел бы я оказаться на вашем месте. А насчет долларов — так ведь это, товарищ, общее место. Там, где они текут, обычно убивают.

Если иначе нельзя их отобрать и присвоить. Все можно присвоить, всякое имущество, даже кусок территории на Луне и даже пространство другой человеческой личности — да, да, молодой человек: став каннибалом и сожрав труп этой личности. Однако нельзя ни присвоить, ни украсть время чужой жизни! Это чужое время никогда не станет твоим, убей ты хоть миллион других людей. И безумие — не понимать этого. И этим безумием охвачены девяносто девять целых, девятьсот девяносто девять тысячных процента людей на Земле — со дня их творения, если, конечно, они были сотворены, а не произошли от лохматых обезьян.

Вы что думаете, вы пришли ко мне за советом или какой-нибудь премудростью? Нет, вы пришли, дорогой мой, сами того не ведая, в надежде присвоить мое жизненное время. Однако это невозможно. Чужое время непожираемо. И пусть вас не сердят эти мои слова — все мы, бедные, испытываем голод чудовищного недостатка собственного жизненного времени. От этого голода, как от дистрофии, и подыхаем. Умираем голодной смертью времени. Его так мало, и

оно принадлежит только каждому из нас. И никакого эквивалента ему нету. Так что напрасно смотрите на меня тоскливыми глазами — не только присвоить, но и получить его от меня, если я вдруг захочу отдать свое время в дар, вы не сможете! Это действительно невозможно. Не было придумано такого способа присвоения, сколько бы ни старались.

...И тогда появились деньги. Их придумали прагматики человечества. Они смеялись над теми, которые считали, что главные ценности жизни откроются для них на том свете, после смерти, а не на этом. (На этом свете получаем, мол, лишь то самое, что не годится для будущего вечного существования.) Прагматики решили все ценное, что должно открываться на этом свете, оформить во что-то существенное, материальное. И появились деньги, придуманные как эквивалент самого ценного — жизненного времени. Деньги стали солью, консервантом этого жизненного времени. В прямом смысле звучит лозунг новейшего времени: *время — деньги*.

Общечеловеческая шизофрения началась и поехала именно с того момента, как были придуманы деньги. То есть с незапамятных времен. Но сумасшедший определяется не только тем, что он утверждает, будто у алжирского бая шишка под самым носом, но и тем, что будет утверждать: время — деньги. Однако ни один сумасшедший не признает себя за такового... Вот обратитесь к себе, обратитесь к самому искреннему и самому умному началу своей души: *болен я или притворился больным?* И вы услышите в ответ: да, притворился слегка... И тогда ни в чем не сомневайтесь, делайте свое дело и смело загребайте столько денег, сколько сможете. И покупайте тренажеры для укрепления мышц, покупайте самые дорогие туристические путевки на экзотические острова.

— А если душа ответит «нет»? — прервал старого писателя молодой.

— Тогда тренажер не покупайте, за удовольствиями туристическими не гонитесь. Живите где-нибудь в деревне или на даче.

— Как вы, например?

— Да, как я, например.

— И что же, будет все хорошо?

— Нет, молодой человек, вовсе не хорошо.

— Тогда как же быть?

— Если бы я знал... Если бы хоть кто-нибудь знал... Вот вы, молодой товарищ, не видите ли во сне, что вас душат?

— Нет, к счастью, пока не вижу таких снов.

— Скоро увидите. По лицу вашему заметно, что это будет скоро. Тогда вспомните меня и произнесите следующее заклинание. Запомните его, пожалуйста, или запишите. «Доллар, доллар, пошел бы ты на хер. Как жил без тебя, так и проживу дальше». И постарайтесь немедленно бежать из тех мест, где вас настигла эта зеленая зараза. Ни на миг не задумывайтесь и бегите, иначе вы пропали. Однажды ночью приснится кошмар, что подкрадется к вам некий бандит со зверскими глазами и станет душить, схватив вас за шею. И вы посмотрите ему в глаза и увидите, что это ваш потусторонний близнец, что это вы сами.

На душе у Василия, вынужденного слушать всю эту бредятину, стало совсем скверно, и, как всегда это у него бывало, фантазия мгновенно унесла его за тридевять земель, на этот раз почему-то в памирский горный кишлак на плоскую крышу деревенского дома. Была ночь — необыкновенно яркие, отчетливые, словно светящиеся кристаллы, висели звезды над самой крышей, на которой я лежал, укрытый тяжелым ватным одеялом. Уютно пригревшись всем телом, но с лица овеваемый холодным ночным воздухом высокогорья, я бросил последний бездумный взгляд на сверкавшее в звездах небо — Вселенский Единый Кристалл, — и глаза мои сонно закатились, правая рука привычно поднесла

ко рту большой палец, который после многих лет дурной привычки стал выглядеть заметно тоньше, чем такой же палец на левой руке...

ГЛАВА 11

Пророчество или предупреждение, высказанное старым писателем, не показалось Василию ни достаточно серьезным, ни окончательно глупым. Разочарованный встречей, он постарался выкинуть из головы весь нудный разговор с известным литературным реликтом, которого постсоветский модернист в самом деле когда-то почитывал и кое в чем даже одобрял. Но, посетив его в Переделкине, Вас. Немирной потерял всякий интерес к нему — не ожидал, что старый мастер, в последние годы резко отличавшийся по литературному слогу от всех своих сверстников и даже от себя самого, раннего советского периода, окажется столь банально философствующим ворчуном. Философия которого сводилась к рабьей мудрости зашибленных обывателей: все зло от денег, не в деньгах счастье — и тому подобное.

Но когда за несколько секунд до своей гибели увидел в отражении ночного окна своего убийцу, уже умирая, но еще не понимая, что умирает, в какую-то тысячную долю секунды брат признал правоту старого писателя. Действительно — никаким другим способом, кроме убийства, нельзя было пытаться присвоить себе чужое время жизни. Подобно пороху — изобретению китайцев или динамиту — изобретению А. Нобеля, деньги способны только взрывать и разрушать то, что было создано творчеством человека.

Старый писатель, переживший молодого, так никогда и не узнал о гибели последнего, вполне возможно, что даже ни разу не вспомнил про их единственную встречу в Переделкине. Но я, близнец Василия, однажды обнаруживший себя в старике, который сидел на краю кровати, свесив с нее сизые ноги в куриных пупырышках, и рассматривал собственное брюхо, покоившееся на его коленях, я также ничего не помнил о его прошлом, но зато прозорливо и остро предвидел будущее.

Мое близнецовское человеческое естество было двузначным и обладало взаимоисключающими возможностями. С одной стороны, я не знал и никогда бы не мог узнать, кто плюнул мною в этот прекрасный мир, и сверкнувшее, словно бриллиант, проворно шмыгнувшее в мировое пространство плюновение сие мало чего могло объяснить про намерения тех, что отправили его существовать — энергичным толчком своего дыхания, из благоухающих уст своих. С другой стороны — не было ничего более спокойного, величавого, медлительно-громадного, неспешного, чем я со своей невидимой душой, намного превосходящей чувством собственного достоинства даже колоссальных размеров тучу, наполняющую собою три четверти обозреваемых небес — розовобокую, высочайшую, пышную, словно императрица небес, высоко вознесшую свою завитую главу в синее небо. Я смотрел на эту самодержавную тучу благосклонно, добродушно, словно сытый лев на какое-нибудь небольшое пушистое животное, которое он вовсе не собирается обидеть. В моей душе обретался титанический покой художника, который совсем недавно завершил свою лучшую работу. И чувству моей уверенности, значительности во Вселенной не было никаких границ, мерил, пределов.

Да, это я, Господи, — тот семидесятилетний старец, и более чем вдвое молодой Василий — это я. Какая же во мне свирепствует яростная демиургическая сила, и как это я умудрился прожить на свете семьдесят лет, ни разу не выложившись в полноте этой силы! Но теперь подобному неразумию и такой нелепости

конец — проморгавший жизнь Василий и зря растративший свои дни старик пусть умрут, их похоронят, а вместо них продолжу я, неопалимый в смертном пламени близнец Василия Немирного.

Теперь я понимаю, что все те неизвестные люди, в которых я воплощался, в большинстве своем оставшиеся безымянными для меня — это такие же мои близнецы-братья, как и Василий. Иногда, в силу, может быть, своего сверхъестественного одиночества, я вижу всеобщее наше дело и судьбу следующим образом. Подобно тому, как звездные кристаллики в ночном небе однажды вдруг предстанут пред тобой единым и единственным горящим Кристаллом Вселенной, незримое тепло наших отдельных душ представляется мне жаром какого-то цельного глобального пламени. Его неугасимость очевидна, поэтому бессмертие наше обеспечено высшей закономерностью. О, кажется, я открыл закон бессмертия, как однажды Ньютон открыл земное тяготение!

Но вот люди, в которых я вселялся, никак не воспринимали моего открытия! Даже мой брат Василий, кому я первому поведал при встрече в гостинице об этом, и тот не поверил мне, а все воспринял таким образом, что бессмертием обладаю я, рожденный в стеклянной колбе, не имеющий собственной плоти. А все остальные, такие, как он, имеющие эту плоть, обладают не бессмертием, а как раз наоборот... Узнав о моем существовании, Василий позавидовал мне великой завистью от имени, так сказать, всего смертного человечества. И обвинил меня во лжи — будто бы я пытаюсь уверить это человечество в том, что оно может жить совершенно спокойно, что оно никогда не умрет. И это есть, мол, величайшая ложь, потому что на самом-то деле человечество обязательно умрет.

И вот близнец умер — да здравствует близнец! Я-то жив, я пишу эти строки, я мыслю — значит, существую! Мое открытие ведь было гениально простым: через собственную судьбу я разгадал судьбу всего человеческого рода. Цельный земной мир имеет своего цельного невидимого близнеца. Так же и любой гражданин этого мира, хоть один раз вдохнувший и выдохнувший его живой воздух, имеет брата-близнеца, существующего в духовном теле. И я не знаю — никто не знает, — какую протяженность времени будет существовать такое тело, но я уже знаю и говорю: не будет подвержено смерти. Потому что смерть — явление материального порядка, а не духовного. Это я и имел в виду, открывая близнецу и другим, всем, в кого вселялся, свое ясное представление о человеческом бессмертии. За это бывал и осмеян, и выруган, и даже бит теми, которым доносил радостную весть.

И книгу эту пишу, как могу, старательно выверяя каждое слово, с одной только целью: доказать, что мы, люди, бессмертны. Доказательство налицо: умер мой брат-близнец, Союз писателей его похоронил, отгоревала по нем семья, — но я-то продолжаю жить! Идет время — уже без Василия Немирного, — принадлежащее не ему, а тем людям, в которых, может быть, я однажды просыпаюсь утром, не имея в душе ни малейшего желания просыпаться. Ничего не помнящий из того, что было в прошлом, я все-таки поднимаюсь с одра тяжелых, уже забытых снов и начинаю жить новым днем. Прохожу в ванную, разглядываю свое лицо в зеркале, дивясь таким случайным, но необъяснимо родным чертам этого лица. Словно, прежде чем его носителю появиться на свет, он успел каким-то образом стакнуться со своим жизнеустроителем и заказать именно такое лицо!

Но я все-таки склоняюсь к мысли, что вид случайности и мучительной неуверенности каждой человеческой физиономии, разглядываемой в зеркало поутру, исходит не от первоначального авторского замысла, а действительно от случайности. Нет никаких матриц, с которых распечатываются человеческие лица, они все появляются разными — фантастический факт! — и за всю судьбу человечества даже двух одинаковых фасадов личностей не предвидится!

Вот я иду по набережной Волги в маленьком городке Духов, на мне легкое длинное платье свободного покроя, собранное из ярких кусочков заморского батиста. Проходя мимо магазина, витринная внутренность которого темна и хорошо отражает картину залитого светом дня, я с любопытством вглядываюсь в свое отражение. На этот раз я с особенным удовлетворением воспринимаю свое новое воплощение, ибо оно молодо и благоухает, — это юная девушка, красивая и цветущая жительница городка Духова. И мне радостно благоухание молодости, здоровья, чистоты, исходящее от моего тела. Мне комфортно и волнительно пребывать в этой девушке, хотя я ничего о ней не знаю.

Я шагаю в одиночестве по бетонированной дорожке набережной в направлении уже недалекой речной пристани, опять привычно и почти невосприимчиво оглядываю новые, невиданные доселе ландшафты: широчайший волжский плес, на другом берегу реки, среди крутых холмов, покрытых садовой темной зеленью, виднеются светлые коробочки домов другого заволжского городка. Это городок Хованск. Итак, я иду вдоль Волги и пока не знаю, почему столь внимательно, подолгу задерживаясь туманным взглядом, смотрю на далекие домики инобережного населенного пункта. И почему иду одна-одинешенька к речной пристани. Может быть, я собираюсь сесть на речной теплоход с подводными крыльями и уехать в Саратов, навсегда оставив пыльный, безрадостно плоский, на степном берегу расположенный городок Духов. Но тогда почему иду одна и никто не провожает меня? Это очень грустно, когда ты еще очень молода, красива и собираешься навсегда уехать, а тебя никто даже не пришел провожать... И, может быть, на другом берегу великой реки, уходящей в две противоположные стороны горизонта, вправо и влево, в городочке среди темно-зеленых садовых холмов, в Хованске, остался некий молодой человек, который и должен был провожать меня, но так и не пришел...

... Такой как-то однажды представилась Василию некая Марина М. — в день своего отъезда, почти бегства, из родного городка Духова. После которого было в ее жизни много других городов, больших и малых: Саратов, Архангельск, Мурманск и Североморск, Мезень, Петрозаводск и Москва. Далее идет сплошная граница... Когда произошла встреча Василия с Мариной М., она уже прибыла в Москву из Североморска со вторым мужем — морским офицером. В Москве развелась с ним и поначалу оказалась буквально на улице, изгнанная со служебной жилплощади из военного общежития.

...У меня к тому времени в прошлом осталась, помимо двух разводов, смерть годовалого ребенка. Это при первом замужестве за монтажником Толей. Который после похорон младенца, по прошествии сороковин, выгнал меня из дома, предварительно жестоко, хладнокровно избив теми самыми руками, которыми смастерил и гробик, и крест маленький металлический сварил из стальных труб, и могилку выкопал в мерзлой земле, и гроб младенческий снес на своем плече до кладбища. А я была виновницей смерти ребенка — классически заспала его, напившись водки со своей подругой-соседкой. Оказавшись первый раз выгнанной из дома в темноту полярной ночи, я отправилась пешком по зимней дороге в город Мезень, куда благополучно добралась, но довольно сильно подморозила руки, отправившись в путь без варежек... (Они у Марины М. с тех пор остались красными, облезлыми, с грубой шероховатой кожей.)

Я в то время, когда Василий встретился с Мариной, находился неведомо где, неизвестно в ком или в чем — полный провал памяти. Но поскольку рассказываю все, связанное с Мариной М., его словами, то могу сделать предположение, что я в тот недолгий промежуток жизни был в слиянии с ним. То есть я мог быть в нем, сам того не ведая. Точно так же, как он сейчас, сию минуту, присутствует во мне, сам о том не догадываясь. У близнецов-братьев, земных и небесных, в

общем-то разные существования и несовпадающие жизненные дороги, но иногда их пути пересекаются в какой-нибудь точке пространства. И тогда получается какая-то странная, щемящая, беспокойная история, господая...

Не я жил, безымянный близнец, забыв свое начало и не ведая о собственном конце, все-таки существовал на свете я, Вас. Немирной (Мирный). Пройдут годы, падет пелена забвения на всех нас — многих уже не будет в игре пространственных координат, размещенных во времени, а попросту — умрем и мы. Но ведь останется эта история, записанная — кем же, чьей рукой? Неизвестно. Однако кто-то сидит сейчас за столом, дома, и пишет историю о том, что у меня появилась любовница, ее звали Мариной М., у нее были красные, шершавые некрасивые руки, которые она обморозила на Крайнем Севере. Странная, щемящая, беспокойная история. Невразумительная, насмешливая судьба неродовитой советской женщины, коих были миллионы на Руси...

Первый раз насмешка судьбы проявилась в том, что Марина никогда не пила много, водку вообще не любила, но вот каким-то образом умудрилась однажды так надраться со своей соседкой по бараку, что ничего уже не помнила и очнулась только утром, когда муж вернулся с ночной смены и, к ужасу своему, обнаружил ее мертвецки пьяной, лежащей поперек кровати на задохнувшемся под нею ребенке... Второй раз насмешка судьбы проявила себя не столь дико и жестоко, однако скверная усмешка и низкое глумление над ни в чем не повинной девушкой из города Духова чувствуются и здесь.

Судите сами. Второй муж оказался еще лучше, чем первый, — морской офицер, красавец, который стараниями высокопоставленного родственника был переведен с Северного флота на службу в Москву, в министерство. И вот муж-офицер однажды повез жену на электричке в подмосковный поселок, к своему родственнику и покровителю на дачу. Оттуда большой компанией отправились в лес по грибы. Но постепенно все разбрелись по парочкам — я рассказываю вам весьма странную историю, странность которой обнаруживается, однако, сквозь самую обыденную, грубую, рутинную житейскую материю.

Что было написано на роду у Марины М.? Неужели ничего, как это иногда представлялось Василию, когда он вдруг задумывался о миллиардах заурядных женских судеб, остающихся заурядными на земле и ныне, и присно, и во веки веков? Кто бы мог подумать, что в ту минуту, когда Марина протягивала руку к ягодам черники, она выдавала себя с головою, словно потерявший бдительность разведчик в знаменитом шпионском киносериале... Эти темные с сизым налетом ягоды она увидела чуть погодя, после того, как открыла глаза и осторожно стала озираться, поводя головой, что елозилась затылком на неудобной сыроватой кочке, поросшей осокой. В порыве нетерпения муж уложил ее на разостланную по земле офицерскую плащ-палатку как-то не особенно удачно, отчего голова ее уехала за край брезентовой подстилки и оказалась затылком на земле. И вот, терпеливо дождавшись того момента, когда у мужа все получилось, как он хотел, она открыла глаза, увидела, что у него они закрыты, успокоилась и стала озираться, подумывая, как бы голову-то пристроить поудобнее. И тут заметила эти ягоды черники на кустике, соблазнилась ими и стала осторожно обрывать их по одной и отправлять в рот. Муж внезапно что-то почувствовал и, не прекращая своих воинственных движений, открыл глаза. С этого момента муж, офицер при штабе ВМС, начал относиться подозрительно к Марине, стал усиленно расспрашивать о ее прошлом, однажды прямо назвал ее шпионкой и вскоре окончательно порвал с ней — от греха подальше...

И Василий полагал, что Марина из Духова на самом-то деле была послана в нашу жизнь не из этого приволжского городка, и ее задание состояло вовсе не в том, чтобы выходить замуж и любить — сначала монтажника Толю, потом мор-

ского офицера М. Но тоска тайная для Марины М. (фамилия по последнему мужу) была в том, что никто ей не открывал, в чем именно состоит ее шпионское задание, которое она должна была выполнить. Да, она чувствовала, что мы все запущены в эту жизнь в качестве разведчиков. И там, откуда мы посланы, ждут всяких сведений и разных наших успешных диверсий, способных делу избличения или, может быть, полного уничтожения противной стороны. И наш долг — высматривать, запоминать творимое вокруг безобразия, самим потихоньку творить то же самое, но не попадаться при этом. И секретным образом осведомлять закордонных хозяев о своих успешных действиях.

Господа, если бы Марина М. не чувствовала себя тайным соглядатаем сначала советской, затем и постсоветской жизни, лишь ее сторонним наблюдателем, то как бы она могла вынести всю эту гадость Содомы и Гоморры? Литературное течение, к коему принадлежал я, Вас. Немирной, называемое постсоветским модернизмом, объединяло в своих рядах подобных шпионов жизни, диверсантов зла по отношению к добру. И судьба Марины М., такая, какая прошла передо мной, может быть названа программной судьбой для нашего литературного течения. В следующей главе я подробнее разовью эту мысль.

ГЛАВА 12

Я написал повесть «Деньги», где героем вывел самого себя под собственным именем. Но это была мистификация — ничего того, что описывалось в повести, не происходило в моей жизни. Если, конечно, не считать «происходившим» такие эфемерности, как воображение ребенка, чистый художественный вымысел или полет нескольких призрачных снежинок, промелькнувших за окном в сером воздухе поздней осени — когда-то давно, еще в пору моей студенческой юности. Литературный прием и мистификация окончательно прояснились к финалу повести, когда меня, то есть Василия Немирного, убивал наемный киллер. Таким образом, наворотив гору ужасов, как это было положено, и высказав через своего героя немало злых и горьких истин относительно человеческой природы, автор в конце повествования снимал излишнее напряжение и сглаживал неприятное впечатление демонстрацией литературного «саморазоблачения».

Итак, всем становилось ясно, что я таким бизнесом, как покупка в больницах абортированных эмбрионов и дальнейшая их переправка за границу, не занимался. И меня никто из криминальных структур не приговаривал к уничтожению. Все это вытекало само собой из повести «Деньги» по ее прочтении.

Является ли декларируемый постсоветскими модернистами воинственный нонконформизм таковым на самом деле? Чёрта с два! Да какой же это «нонконформизм», если за их продукцию — всякого рода лингвистические шарады, недобрые пародии с матюгами и бляение козлом перед микрофоном, — за всю эту ерунду они загребли недурные деньги, да еще в твердой конвертируемой валюте? Еще раз спрашиваю тебя: столь ловко выдавая марки и доллары из мировой капиталистической коровы, являлись ли русские постсоветские модернисты знаменосцами нонконформизма? Но все же должен признать, что трагедия валютно-нейтронного распада души, а также картина заражения зеленым долларовым поносом *нового русского* человека переданы были в повести с потрясающей убедительностью! Все же талант писательский был у сукиного сына, скажу я вам... Те, что отправляли в мир человеческий Вас. Немирного (Мирного), возлагали на него немало добрых надежд. И пусть они далеко не все оправдались, но не кажется ли интересной сама эта неведомая задумка моих авторов из великой дао-пустоты?

Но неужели они не знали, что все таланты и дарования, гениальность сама, посылаемые ими в нашу эпоху, — все это обязательно будет покрыто Финансовым Быком, сиречь мировым Аписом в долларовом выражении? И только после его мощного валютного осеменения современные гении и таланты дают свои плоды... Не придуман ли был такой план самими творцами? Тогда и только тогда можно объяснить шампанское веселие и радиоактивную проникновенность бычьего семени, оплодотворяющего все начинания человеческие. Сколько человек вы знали, господа, которые великие свои дела вершили без денежного вознаграждения? Я не знал ни одного. А вы говорите — алчные «новые русские», корыстные постсоветские модернисты. Все суки, и мы тоже!

Если время отсчитывать по библейскому календарю — на какой день Творения были созданы деньги? Вопрос опасный и темный, признаюсь, но и ответ, коли он существует, ничуть не светлее. Ибо что может быть беспросветнее самого этого предположения... Коли смерть и деньги правят миром, а не свет и доброта, зачем призывать людей любить друг друга? Зачем мне произносить ложь, утверждая, что смерть и деньги — это плохо? Зачем возводить хулу на «новых русских», обвиняя их в говноедстве, когда они ничуть не хуже других людей в своей искренней любви к чарующей зелени доллара?

И вот Марина М. благодаря постсоветскому модернизму взошла к вершинам этой любви, где всё вокруг зелено и где этой любовью непрерывно занимаются. Наше случайное знакомство, полное самой банальной рутины, произошло прямо на улице, потом мы стали любовниками, и через какое-то время кому-то из нас показалось, что он любит другого. Скорее всего так показалось Марине, которая по разводе с морским офицером, перейдя жить из воинского общежития в строительное, при тресте «Мосфундаментстрой-2», куда устроилась работать, однажды увидела меня, переходящего улицу... После двух разводов, когда оба мужа грубо прогнали ее от себя, Марине М. показалось, что наконец-то ей встретился человек, который понимает ее. А я действительно понимал ее — что она является шпионкой, засланной в наш мир из другого, параллельного.

Впрочем, я и себя понимал так. Что и сблизало нас в жизненном танце намного теснее, чем обычное притяжение полов под мутную музыку секса. Меня притягивала к Марине ее горьковато-насмешливая уверенность в том, что она всем чужая и что никому не нужна на этом свете. Даже отдаваясь, вся покорно раскрывшись, она смотрела снизу на тебя, словно извиняясь: ну зачем я тебе такая нужна?.. Но меня притягивали ее красота и телесная грация именно выражением своей неуверенности, ненужности своей...

Наступает такой момент в жизни, когда вы вдруг почувствуете, глядя на что угодно вокруг себя: все это не ваше и не имеет к вам никакого отношения. У Марины после всех приключений и больших перемещений через пространства России стройное и текучее волжское тело ее перестало радоваться встречам с мужчинами. Тело Марины М. почувствовало, что стало глубоко безразличным и для мужчин, несмотря на то, что они то и дело овладевали им. Возможно, что-нибудь произошло с нею, а возможно, у Марины наступило прозрение и она окончательно поняла, что является в этом мире заброшенным сюда соглядатаем.

И глубокая печаль, что на этом свете ничегошеньки нельзя ни взять, ни отдать, заставляла Марину неожиданно для самой себя выпивать целую бутылку водки, которую она терпеть не могла, или соблазниться сизыми ягодами черники, что висели на кустике над самой ее головой... Короче, свое понимание беспредельного одиночества и никчемности этой женщины я принял за любовь к ней. А что было у нее ко мне, того не знаю. Но какое-то время нам вместе было неплохо. Читатель, не нужно недооценивать и подобные слабые вспышки

межчеловеческой любви или даже ее паллиатива в виде старательно выполняемых сексуальных формальностей случайными любовниками. Велика и необозрима та пустыня, через которую нам предстоит брести Бог знает сколько времени — может быть, и на самом деле вечность.

Они, разумеется, довольно скоро расстались, Вас. Немирной в судорожных усилиях строил свою литературную карьеру, в семье были нелады, на любовниц не хватало времени и денег — прошло года три после нашего окончательного расставания. И вот как-то в неделовую лирическую минуту, общаясь с американским импресарио Штурманом, Василий вскользь поведал о ней, о своей мимолетной связи с женщиной, у которой были красные, шершавые, обмороженные руки. Разговор на нее вышел потому, что перед этим импресарио высказал следующее:

— Нет, кто бы что ни говорил мне, я предпочитаю наших девчонок. Какую ни возьми, будь она испанкой, француженкой, мулаткой, таитянской, не идет она в сравнение с нашей девчонкой, вот в чем дело. Понятно, что и эта деньги берет, как все, и делает она не лучше, чем другие. Но зато сколько отдает за эти деньги! Как благодарна, понимаешь, какую душу вдруг может выложить за эти сраные деньги! Она же, дурочка, готова дать любовь, а не отмеренный кусок секса, как это делается на западе и на востоке. Пусть на один вечер, на один день — даже продаваясь, наша отдает всю душу и сама верит, что любит.

— Понимаю, о чем ты говоришь, — с глубокомысленным видом отвечал Василий. И рассказал Штурману о своей давней истории с Мариной М., лимитчицей из общежития строителей, что находилось рядом с тем домом, в котором когда-то, до развода, жил начинающий постсоветский модернист.

— Как ее звали? — неожиданно заинтересовался импресарио.

— Мариной, — машинально ответил я.

— А где этот дом находится?

— Какой?

— Дом, в котором ты жил.

Я назвал адрес, всегда вызывавший в моем сердце глухой толчок, сбой, если приходилось упоминать его. В доме по тому адресу прошла, может быть, моя настоящая жизнь, еще совершенно чистая от долларовой зависимости. Доверху наполненная такими быстротечными глупостями, как супружеское счастье, семейные дразги, рождение детей, свирепая нужда, тревожное отцовство... И постоянное, ежедневное чувство, что скоро все будет кончено... Называя адрес, я настолько глубоко ушел в провал своего утраченного прошлого, что даже не обратил внимания на непонятность штурмановского интереса к тому, где, в каком доме я жил когда-то...

Значение этого выяснилось через два года, когда Вас. Немирной попал-таки в Америку благодаря содействию Штурмана. Его фирма пригласила группу писателей из России и отправила их в турне по разным штатам, с лекциями и выступлениями в университетах. И координатором сей международной культурной акции, менеджером, встречавшим в Нью-Йорке группу русских писателей, была Марина М.

Конечно, в первую минуту я не узнал ее, но это было чисто визуальное неузнавание, физическое, — в дальнейшем, когда мы немного пообщались, неузнавание стало метафизическим. Словно умерла и воскресла — передо мной была совсем другая женщина, иная душа, незнакомое жизненное наполнение в глазах. То есть эти зеркала души отражали что-то совершенно доселе мне неизвестное в человеке с именем Марина М. И хотя сама она отнеслась ко мне с шумной радостью, при встрече даже повисла на моей шее и завизжала, болтая в воздухе согнутыми в коленках ногами, все это происходило уже чисто *по-американски*, по-

тому и, наверное, непостижимо для меня. Между нами простерлось невидимое колоссальное пространство, совершенно непреодолимое, и я полагаю, господа, что это то самое космическое пространство, которое образуется между теми, у кого совсем мало долларов, и теми, кто купается в них.

Штурман при встрече поведал Василию, что после его рассказа вызвал своего секретаря, школьного друга из Марьиной Рощи, и поручил ему во что бы то ни стало найти Марину М. И секретарь довольно легко нашел ее — все в том же строительном общежитии, в той же комнате на первом этаже, из окна которой она увидела когда-то меня, перебежавшего через улицу... Так Штурман объяснил мне, каким образом Марина очутилась в Америке. Но он не считал нужным говорить о причинах, почему это сделал. Капризы миллионеров не обсуждаются, они немедленно исполняются.

Перевезя московскую лимитчицу за океан, американский дядя что-то сделал с нею такое, отчего та как будто бы перестала существовать, а вместо нее стала существовать некая другая тетя. Могла ли теперь эта другая Марина устроить задушевно-требовательного импресарио? Вопрос... Но что бы там ни было, какой бы ни представлялась она Штурману сегодня, я-то едва не сошел с ума, воочию увидев перед собою образ подлинного воплощения американской мечты в призраке русской Золушки. Ибо это и был самый настоящий призрак девушки из Духова, которую я когда-то хоть и недолго, но искренне любил. Вот так биография!

И вдруг Василия осенило — я понял, что и меня как писателя может постигнуть такое же мистическое преобразование, коли за нас взялся сам импресарио Штурман! И все мы, новорусские постсоветские модернисты, скоро с головою окунемся в зеленые долларовые Миссисипи, и будет нам хорошо. Сердце мое сладко заныло в предчувствии воробья, который хочет, чтобы его поймала кошка. Моя Марина М. — не Бог весть какой воробей, а ведь позарился на нее Штурман... А чем мы-то хуже? И нас, основных постсовмодернистов, не так уж и много, от силы пять-шесть человек на всю Россию. Что ему стоит всех забрать в Америку, как эту Марину М.

Как она изменилась! Даже и не охватишь до конца — в чем... Но теперь точно не скажешь по ней, что она какая-нибудь шпионка других миров, разведчица, тайный соглядатай, — скорее я сам себе представляюсь агентом, посланным с иной звезды на нашу планету — и в ее Соединенные Штаты... О, если бы вы знали, как мне тоже хотелось хоть чем-нибудь сильно понравиться Штурману, чтобы он заключил со мной какой-нибудь хитрый контракт, хотя бы на год, и забрал к себе в Калифорнию!

Словом, я рассказываю вам о том периоде жизни и творчества писателя Вас. Немирного, когда он вполне созрел, готов был запродаться и очень хотел, чтобы его купили — уже не за дойчмарки, а именно за американские доллары. Поверьте, что я и сам понимаю, чувствую сейчас всю неуместность и суетную мелочность сарказма, который подпускаю в свой текст, говоря о делах столь очевидных, неотвратимых, фатальных, общеизвестных, общечеловеческих. Но что мне делать — не в силах я повелеть своей руке писать об этом по-другому, без сарказма и бессильной иронии. Ибо при жизни своей Вас. Немирной не хотел — особенно в ранней молодости, — чтобы творчество заказывалось оптовиками, исполнялось по заданной технологии и оплачивалось по законам рынка.

В начале своей писательской жизни я почему-то полагал, что творчество свободно от денег и в жилах творчества не бежит мутно-зеленая кровь дьявола. Но куриная слепота юности не является постоянным пороком, она со временем проходит, и то, чего я не видел наивным юношей, обдумывающим жизнь, постепенно открылось моим глазам. И я восхитился всему, что могут дать деньги, вол-

шебные деньги, взамен того, что беспощадно и неукоснительно отнимается у всех нас. Будучи на вид такими примитивными, пошлыми, вульгарными, как лубочные картинки, современные денежные купюры, в особенности долларовые, смогли вытеснить с арены общечеловеческого внимания самые прекрасные шедевры художников мира. Их картины нам уже не кажутся такими красивыми, как раньше, при тоталитарном режиме, когда валюта у нас была запрещена, — не то что сейчас! По крайней мере серой краской тиснутый FRANKLIN на стодолларовой прямоугольной бумажке или INDEPENDENCE HALL на ее обратной стороне — мутно-зеленый дом с башенными часами, окруженный чахлыми деревьями, — представляются прекраснее портретов Рембрандта или пейзажей Моне. С прогрессом резко переменились наши художественные вкусы, господа...

Вот и поведал я вам, мои уважаемые читатели, в несколько аллегорической форме историю своего писательского становления и попытался охарактеризовать то литературное направление, к которому принадлежал — если верить неким критикам, некогда существовавшим на белом свете. А Марина М., своей судьбой символизирующая цель и путь этого направления, еще раз появится перед нами — в самом конце романа, снова в Москве...

Но пора! Прочь от всей этой несусветной скукотищи давно несуществующего прошлого! Разве зря мне дана свобода, абсолютная свобода — наконец-то! — которую я почувствовал в Швейцарских Альпах на девятый день по своей смерти?

И ко мне прилетел на красном парплане мой усопший братан-близнец, принявший обличие романтического воздухоплователя, похожего на Антуана де Сент-Экзюпери... Наконец-то мы снова могли открыто посмотреть друг другу в глаза. И между нами произошел тот важный для нас разговор, свидетелем которого вы были в одной из первоначальных глав романа. Содержание той главы я не помню, господа, и вряд ли вспомню. Потому что меня подмывает — мне уже пора, пора! — скорее воспользоваться предоставленной мне свободой и устремиться вперед — к новым главам романа, к новым неожиданным, непредсказуемым встречам и воплощениям.

ГЛАВА 13

В самом начале которой расскажу, что произошло с парпланеристом после того, как он прыгнул со скалы и плавно слетел со снежной вершины безымянной горы. Но это для него она была безымянной! Не могло быть того, чтобы столь заметная вершина, прекрасно открывшаяся сейчас со стороны, когда я отделился от нее, не имела бы названия! Она была так красива и величественна, и весь облик горы от ее седой вершины до подошвы был настолько самобытен и значителен, что само собой напрашивалось имя какой-нибудь героической личности — *тик Экзюпери...*

Размышляя об этом, я направил полет своего бесшумного аппарата в сторону темнеющей зеленым альпийских лугов глубокой долины. Выход к ней наметился в створе двух других остроконечных вершин, чуть пониже той, с которой я только что улетел. Я должен был проскользнуть к долине между ними, как между Сциллой и Харибдой: обе вершины по мере моего неровного, виляющего продвижения к ним то как бы сходились друг с другом, то расходились — словно и на самом деле два пресловутых гомеровских утеса.

Когда я благополучно проплыл по воздуху между ними и, оставив позади под собой каменистую седловину, вырвался из горних теснин на широчайший простор долины, передо мной словно раскрылось пространство всей европей-

ской цивилизации. О, что она там хранит в себе, эта цивилизованная земля — какие изобретения художников, гениальные поэмы банкиров и промышленников, мистику физиков и математиков, мировые рекорды отцов церквей? Подо мною была Швейцария с ее горами, озерами, уютными городами, демократией и нейтралитетом, со всеми мировыми деньгами, накопленными старательными гномами в ее подземных сейфах.

Сверху мне было видно, как стекаются суетливые темно-синие ручейки в какую-нибудь речку потолще, поразмашистее на своих змеиных извилах, а та вливается, в числе других таких же змеек, в бок чудовищной неповоротливой анаконды, невидимая голова которой уходит под синевато-зеленую воду тучного, как раскормленная свиноматка, огромного бирюзового озера. Уж не Женевское ли это, гадаю я, и тут же понимаю, что никакого значения не имеет, как назовет озеро, гору, страну, то или иное дерево, былинку человек. И то, какое имя у самого человека, и даже то, есть ли оно у Господа.

Сверху очень хорошо видно, что человек, Божие творение, окончательно превращен в денежный знак, в прямоугольную бумажную купюру, на которой изображена его удивленная, немного испуганная физиономия. Удивление, испуг оттого, что человек полагал — он Бенджамин Франклин или Хасан Второй, а его взяли и растворили в краске, потом размазали по бумаге... Отсюда, с высоты швейцарского поднебесья, на которую вознес меня планирующий парашют, я отлично вижу, целиком от начала и до конца, всю эволюцию человечества — начиная с его чудесного сотворения от обезьяны и до превращения в плоский денежный знак.

Мой летательный аппарат внезапно попал в турбулентную зону на месте столкновения двух мощных воздушных потоков. Полуарочный купол параплана резко потащило в сторону, затем обратно, меня стало сильно раскачивать на стропах. И вдруг стропы перекрутило надо мной, купол свернулся с одного края, беспомощно захлопал, с другого — надулся крутым желваком, но вслед за этим враз опал, утратил форму. Параплан стал падать. Вернее, это я стал падать, а потерявший управление аппарат тащился за мною в воздухе, как хвост воздушного змея, шумел, мотался на заплетенных стропах. Мне надо было немедленно отстегиваться от него и, освободившись, раскрывать аварийный парашют. Я отстегнулся от лямок — и камнем ушел вниз, резво обгоняя вяло падающий аппарат.

Но странно — когда я отделился от него и понесся вниз в режиме свободного падения, то мне стало казаться, что мое продвижение вниз стало намного медленнее, чем до этого, вместе с падающим парапланом. Перейдя в невесомость, я словно опять парил над землей, но уже без поддержки искусственных крыльев. И только рев воздуха в моих ушах, глазах, в измятых воздушным потоком щеках, в бездыханных ноздрях и во рту — тугой и жесткий воздушный натиск напоминал о том, что ты не паришь, как птица, а страшно, стремительно несешься к земле. И быстро увеличивались на глазах размеры прямоугольного зеленого поля и бурых каменных пустырей вокруг него — место моего падения на землю.

Как это бывало во сне, я парил, раскинув руки, надо всеми мелочными тревогами жизни, заканчивающимися смертью. И не было никакого страха высоты, одиночества, неизвестности. Если на такой скорости сближения столкнуться с землей — не будет страшно. При ударе такой силы и быстроты не будет даже одиночества и смерти — будет что-то другое. И нет никакой неизвестности, а есть полная ясность: метеоритом вмазаться в твердокаменную землю — не страшно и не больно... Давно пора было дернуть за кольцо аварийного парашюта, и я завел руку за спину, ухватил кольцо, но темно-зеленый квадрат поля, на который я падал, издали казавшийся маленьким, с носовой платок, надвинулся

так близко, что развел свои края уже необозримо для меня. И я понял, что не успею раскрыть запасной парашют. Но это ничего, товарищи! Я вспомнил, что настал девятый день по смерти близнеца — настал и прошел, и теперь, значит, душе его после земной побывки надо возвращаться туда, откуда он был отпущен на время.

И я очутился в той гостинице курортного городка, на испанском побережье Коста-Брава, и воплотился в русского туриста, художника, прибывшего в Испанию из города Ярославля.

Много лет назад этот человек встретился Василию во дворе городской больницы в старинном приволжском Ярославле, — теперь я, расположившись в нем, разгуливал по улицам испанского городка, поросшим большими щетинистыми соснами, не по-русски кривоствольными и раскидистыми, полузасохшими, замученными пальмами и страшноватыми колючими кактусами и агавами. Я ходил по городу и зарисовывал в альбом эти пальмы, выставявшие свои полузасохшие папуасовые перья листья из каких-то толстых, похожих на кедровые шишки, стволовых образований. Также рисовал я сосны, агавы, испанские дворики, увитые цветами, виноградником, украшенные кактусами. Стоял один дом, островерхий, трехэтажный, весь фасад которого был декорирован живыми огромными кактусами, плоскими, сплошь утыканными чудовищными иглами. О, это очень было похоже на болезненные придумки сюрреалиста Дали!

Я посиживал где-нибудь на скамейке, на придорожном камне или на приступочке ограды и, склонив голову, вглядывался в то, что рождалось на бумаге у меня под рукой. Как мне нравилось все это, происходящее на моих глазах! Какое я испытывал умиротворение и доброе согласие с жизнью! Оказывалось, что счастье действительно не в деньгах, а в этих простеньких черных следах от пера авторучки, которое шустро бегало по бумаге. Вдруг возникала на ней, собрав воедино все каракули, могучая зонтичная сосна с тугой, как капуста, развесистой кроной. Или складывалось из неровной вязи каких-то арабских букв нечто ошеломительное — зыбь волн широчайшего открытого моря с несколькими маленькими парусниками у самого горизонта.

Счастье жизни действительно составляли не сложные, дорогие вещи, не великие идеи и деньги, а самые обычные доступные дела. Спокойная прогулка по узенькой улочке, сплошь состоящей из магазинчиков, лавочек, кафе и ресторанов. Неторопливое прохождение по дороге, на которой ничто тебе не угрожает. Сесть на скамью в пальмовой аллее, если тебе захотелось сесть или ноги устали, — сел, положил альбом рядом, посмотрел внимательно направо и налево, и вдруг, ни с того ни с сего, сам того не ожидая, широко раскрыл свою обезьяноподобную пасть и сладко так, сладко зевнул!

Тот ярославский художник, которого я оставил на испанском берегу — отдыхать, рисовать, наслаждаться жизнью, — научил меня больше, чем кто бы то ни было, что никакого высшего смысла существования человечества нет, равно как и смысла жизни отдельно взятого человека. Разумеется, сам художник ни о чем подобном никому никогда не говорил, даже не уверен, философствовал ли он когда-нибудь подобным образом. Я воспринимал его философию лишь по тем действиям, что совершали его руки, ноги, голова, глаза, язык, художническое наитие, его вкус, нравственность, воля. Ничего не зная о прошлом этого человека, я полагался только на сегодняшние, сиюминутные устремления и действия безымянного ярославца — они-то и раскрыли мне сущность и своеобразие его варианта бессмертия. И оно было глубоко симпатично мне.

Пройдя под автострадой по низкому пешеходному тоннелю, затем поднявшись влево по бетонным ступеням, оказывался на небольшой смотровой площадке, со стороны моря огражденной каменным парапетом с балясинами. Не-

сколько лохматых пальмочек — на толстых стволах-шишках — пытались осесть своими разлапистыми кронами несколько же массивных каменных лавок.

На одной из них сидел скромно одетый некурортного вида человек, видимо, местный житель, и у его ног возилась на песке симпатичная лохматая собачка кремового цвета — почти такого же, как местный камень-песчаник, из которого были выстроены все старые дома в округе. С острыми стоячими ушками, с загнутым в кольцо пушистым хвостом, с черными смысленными глазами, которые она время от времени поднимала на хозяина, собачка была хороша, и сразу же ясно представлялось, что это очень значительная личность этих мест. Поглядывая снизу вверх на хозяина, тоже черноглазого, чернобрового, с седой головой, песик словно безмолвно спрашивал человека о чем-то, что давно занимало обоих, не раз было обсуждено ими. И каждый, сейчас занятый своим: испанец — покойным сидением на каменной скамье, собака — деловитым ковырянием двумя передними лапами в песчаной ямке, — каждый из них глубокомысленно раздумывал об этом невыясненном деле, крутил его в уме и так, и этак.

Ярославский художник сразу же обратил внимание на эту мирную парочку местных обывателей и, усевшись на каменную лавку с противоположной стороны площадки, положил на колени альбом и стал рисовать собаку. Я понял чувства и мысли ярославца, и полностью одобрил их, и согласился с ними. Перед нами явила себя любовь, про которую так много было сказано на земле и о которой ходило так много противоречивых мнений. То она существует, то ее вовсе нет. А тут между простоватым на вид испанцем и светлой лохматой собачкой с острыми стоячими ушами, в кольцо загнутым хвостом, вставало такое убедительное магнетическое поле любви, что ярославец подумал: *это же на самом деле искрящееся поле, и по краям его стоят пальмы, и я мог бы сейчас нарисовать в альбоме это световое поле!*

Напрасно мой близнец Василий проклинал жизнь, обвиняя ее в полной продажности, во всеобщей похотливости, в беспричинности, бесцельности, бессмысленности, безбожии — и прочая, и прочая. Дожил бы он до этого дня, когда я гуляю по Испании в образе одинокого, смиренного художника в изумрудного цвета шортах, с голыми волосатыми ногами и наблюдаю за парочкой местных обывателей, седым мужчиной и его кремовой собачкой, которые, видимо, никаких великих целей не ставят себе в жизни и самым откровенным образом попросту копят небо! Какая причина, какая там цель! Я пересаживаюсь на лавку к испанцу, тот кивает мне и дружелюбно приподнимает свои черные как смоль густые брови, но смотрит на меня без улыбки, вполне сохраняя достоинство во взгляде, в неторопливых движениях рук. Жестами учтиво просит показать то, что нарисовано в альбоме. Я охотно ему показываю. Он смотрит и одобрительно покачивает головой. А его собачка не обращает на нас внимания, роет передними лапами, отбрасывая песок резкими гребками себе под брюхо. И, любуясь на нее вместе с ее хозяином, я задаю ему вопрос — по-русски, ибо не знаю испанского:

— Какой породы собачка?

И ответ получаю как будто тоже на русском, звучит что-то вроде:

— Самоедина лайка.

— Самоедская лайка? — уточняю на всякий случай, хотя уже все ясно мне. — Очень хороший песик.

Очень хороший песик понял, очевидно, что речь идет о нем, вытянул голову из ямки, куда уже зарылся по самые уши, оглянулся и посмотрел — не на меня, а на своего хозяина — тем же внимательным вопрошающим взглядом: *ну что, ты по-прежнему думаешь?..* И в его черных, блестящих, как мокрые маслины, глазах было столько света, который и называется жизнью, что я был за-

чарован и окончательно прельщен им, хотя он вовсе и не предназначался мне. Ответ на вечный вопрос, который мучил заурядного Василия да и не только его одного на свете: *зачем сегодня жить, если завтра все равно умирать?* — был дан здесь самый исчерпывающий. Ответ содержался в глазах собаки и выражался во встречном вопросе: *а если никогда не умирать, стоит жить?* На что хозяин самоедской лайки, немного подумав, отвечал своим просветленным взором: *тогда, наверное, стоит...* И, получив такой ответ, вполне устраивающий на данный момент самоедскую лаечку, она живо повернулась к оставленной ямке, засунула туда голову по самые уши, невежливо выставила к небу бубликом загнутый хвост и розовый кружочек под самым его основанием, чтобы вновь передними лапами выгребать влажный песок из норы, а задними, резко отлягиваясь, эвакуировать его дальше назад.

Что ж, для Василия при его жизни ответ скромного испанца своей выдающейся собаке мало бы что значил. Василий воспринял бы все это как благостную риторику, конформистскую идеологию старых гуманитарных реликтов. Но после своей смерти наш яростный неконформист многое отдал бы, я думаю, за одно только то, чтобы хоть на минуту вернуть себе простую возможность: сесть на уличную скамью, неспешно посмотреть вправо, влево — и вдруг произвольно широко разинуть рот и сладко, сладко зевнуть. Ах, зря Василий насмеялся в своих многочисленных пародиях над старыми гуманитариями, положительно расценивавшими жизнь и прославлявшими любовь и благородство человеков. Несмотря на все проклятия тех, что ссорились с жизнью, после их смерти эта же самая жизнь обретала для них цену невероятную. И благородный сеньор с белоснежной седой головой, с черными густыми бровями любил ее в каждом мгновении, на самом малом пространстве, в неприятельности каждого движения, в простейших явлениях, таких, как легкий ветер-бриз, полуденный сон, поворот головы и взгляд в ту сторону, откуда донесся густой нежный звук глиняной окарины... И любимая квадратная башня, которую построил он из красноватого песчаника, через века превратилась в лохматую собачку кремового цвета, села у ног хозяина и преданно посмотрела на него.

ГЛАВА 14

После того как я увидел на вершине горы эту плоскую квадратную башню и ярославский художник несколько раз зарисовал ее, а рядом на соседней странице альбома нарисовал лохматую самоедскую лайку, мне стало ясно, что они суть одно произведение Бога, Испании, Ярославля, Лапландии и в этом смысле все мы одно, и живем друг в друге, и переходим один в другого, и этому непрерывному хождению в гости нет конца. И мне захотелось самому превратиться в эту башню и постоять век-другой на каменной вершине, глядя в ошеломительную бирюзовую даль, открывающуюся отсюда, с высоты. И я перевоплотился в каменную башню, которую когда-то построил один знатный, богатый сеньор.

Он предстал впервые перед башней в тот день, когда ее освящали, и я запомнил, в каком великолепном камзоле, выложенном золотым позументом, с высокими обшлагами, шитыми гранатовым бисером, появился он передо мной. Торжественно и горделиво подняв голову мне навстречу, он так смотрел снизу вверх на мои зубцы и бойницы, словно происходило все наоборот и это он разглядывал меня сверху вниз.

Но мои многовековые руины запомнили его не только таким славным и горделивым — они помнят его уже совсем старым, больным и беспомощным, принимающим пищу из чужих рук и не владеющим речью — в результате ли пе-

ренесенного инсульта или вследствие болезни Альцгеймера. Целыми днями летом просиживал он на свежем воздухе в кресле, поднятый слугами на квадратную площадку башни, и с увлеченностью азартного игрока следил за возней и драками воробьев, прилетавших на вершину башни поклевать крошек, которые подбрасывал им длинноволосый, сутулый, почти горбатый слуга Хулио каждый раз по совершении трапезы хозяином.

Когда воробьи улетали, всегда внезапно и все разом, дружно фырча крыльями, старый сеньор переключал свое внимание на другие непритязательные сценки нашей жизни. Слушал, как играл на окарине отдыхающий горбун Хулио. Наблюдал, как между каменными зубцами, над ложем бойницы, с которой должно палить вниз из аркебузов и мушкетов, паучок развесил свое великолепное изделие из серебристых ниток, и туда попало много мух, оводов, слепней, и они стали мутными шариками, скатанными проворным и умелым пауком. А вот и со всего маху влетела бабочка в тенета — не черная и громадная, а маленькая и белая, — и мелькание ее в воздухе вмиг прервалось и замерло на одном месте. Она влипла в паутину сначала одним крылом, потом, слегка встряхнув ловчую снасть, распласталась на ней и вторым белым крылышком.

Старый хозяин башни хотел близко посмотреть на то, как сейчас выскочит из своей засады шустрый паучок и начнет хлопотать — подготавливать свою огромную по сравнению с ним гостью к смерти. Что и делает любой палач перед совершением казни: вяжет, опутывает, словно ласкает, стягивает, укладывает — всячески лишает жертву возможности двигаться самостоятельно. И это для того, чтобы казнимый с математической точностью и только предназначенной частью тела принял свое умерщвление. Старик когда-то мог оценить умелую работу палачей, он и сейчас хотел все рассмотреть подробнее и даже требовательно замычал и что-то невнятное залопотал, обеспокоившись в кресле. Однако слуга Хулио, игравший на окарине, человек серьезный и тоже старый, не мог даже и предположить, что сеньор рыцарь — даже больной и расслабленный — станет интересоваться делами ничтожного паука. И к досаде сеньора слуга не придвинул кресла ближе к бойнице, как того хотелось хозяину, а отложил в сторону музыкальный инструмент и молча уставился на больного, причем безо всякого стеснения сунул себе в рот далеко отогнутый от кулака большой палец и стал его посасывать. Так он с детства выражал свое неудовольствие и досаду.

Когда она прошла, слуга взял господина на руки и понес его к середине башенной площадки, переместил из тени на солнышко. Больше света, больше жизни, бормотал Хулио. Он и любил, и ненавидел своего господина. Тот давал ему жить, но и отнимал его жизнь. Хулио же готов был всю ее без остатка отдать господину — и уничтожить всякого, на кого только укажет хозяин. Слуга перетащил высохшее тело рыцаря на плоский деревянный помост, застеленный мавританским ковром, уложил больного ровненько на спину, чтобы у того выпрямились, упорядочились и растянулись позвоночные диски. Так было предписано врачами. Мол, пусть освобождаются зажатые дисками нервные волокна, через которые идут все приказы от центра телесной жизни к ее периферии, от правящего мозга ко всем внутренним и внешним органам человека. И любое нарушение, торможение беспрепятственного прохода этих приказов приводит, мол, организм человеческий к порче и болезням.

Тогда еще не знали о происхождении видов по Дарвину, однако старый рыцарь, лежа на ковре и искоса поглядывая на слугу Хулио, как тот ползает на четвереньках и что-то ищет на полу, уже тогда размышлял о том, что человек, возможно, не был вылеплен из глины Богом, а произошел от червя и обезьяны. Уж больно похож и на того, и на другого. Старый рыцарь хоть и выглядел слабым и неразумным, однако на самом деле — внутри своего пространства — не утра-

тил силы и острого разума. В нем к концу жизни, как и у всякого, начал более активно проявляться внутренний человек, то есть его невидимый близнец.

Вечный стрелец будущего, вечный бомж прошлого — этот близнец хозяина башни нашел некоторое ироническое утешение в том, что человек произошел от обезьяны. Ведь тем самым абсолютно просто, хотя и несколько по-дурачки, решался болезненный для нас вопрос об отцовстве: шимпанзе со здоровенными яйцами был наш папа — и баста. Некого больше и незачем допрашивать с пристрастием о нашем прошлом — лучше выкинуть этот вопрос на помойку и забыть о нем.

Что и делает каждый невидимый близнец, будущего стрелец, то есть мы с вами, господа. Наконец-то я добрался в этом сочинении до того места, где могу дать пояснение, для чего и для кого пишу этот роман. Я его пишу для вас, уважаемые близнецы человек, чтобы как-нибудь скрасить ваше безостановочное, унылое, вечное продвижение вперед. Я глубоко сочувствую всем нам по причине того, что мы бессмертны и потому не можем любить жизнь. Оказывается, невозможно полюбить то, чего никогда не потеряешь, и то, о чем ничего не знаешь. Наши близнецы, такие, как мой брат Василий, или сеньор рыцарь с белой головой и черными бровями, или кремового цвета самоедская лайка, ничего лучшего не смогли сделать со своей жизнью, как только написать какие-то ходовые книжки, построить башню на верхотуре, в форме идиотски законченного куба, или вырыть в песке глубокую яму. Но зато они неукоснительно теряли жизни и умирали, у них было прошлое в виде непосредственно ими пережитых биографий. А мы, бедные их близнецы, могли только полюбоваться со стороны — на то, как они жили, и проводить их завистливым взглядом до самой их смерти.

Итак, мы — не их биография, но мы — их судьба. Первое заключает в себе определенное время смерти-рождения и уходит вспять. Второе нарастает как снежный ком и движется только вперед. Многие наши близнецы, в особенности те, у которых была неблагополучная биография, были поражены, когда узнали, какая у них оказалась великолепная судьба. Взять того же Винсента Ван Гога, который сошел с ума от нищеты и застрелился, — потом его небольшая картинка «Подсолнухи» была продана кем-то кому-то за тридцать семь миллионов долларов. Какова судьба?

Мы и они — близнецы-братья. У каждого человека с минуты его смерти открываются два пути. Один из них уводит в вечное прошлое, другой ведет в вечное будущее. И вот здесь мы и они, близнецы-братья, навеки расходимся. Один отправляется пешочком вспять — бороздить ногами пыль своей биографии и дальше, через бездну забвения, низвергается в изначальную дао-пустоту. Другой порхает по путям Судьбы вперед, вперед — и дали этой Судьбы необозримы, они все время раздвигаются, и конца у вечности не предвидится.

Старый рыцарь лежал на спине, не шелохнувшись, и пустыми, прозрачными глазами, из волчьих ям своих глазниц, смотрел вверх в небо. И ему стало представляться, что он смотрит *вниз в небо*, а его спина крепко и тяжело липнет к земле, к ее твердой плоскости, которая, как могучим магнитом, притянула к себе эту усталую, больную спину... Тогда еще не знали, что земля есть шар, а не блин, и еще не жил Галилей, который воскликнет, что она все-таки вертится; тем более ничего не знали о законе тяготения по Ньютону, и старый рыцарь со страхом взирал сверху вниз в бездну космоса, опасаясь, как бы внезапно не пропала та сила, что держит его за спину, — крепко притянула и пока что удерживает...

Итак, чтобы жить — надо умирать, а чтобы никогда не умирать и оставаться бессмертным — не надо жить. Так думал старый сеньор, которого все считали уже выжившим из ума, а камердинер Хулио осмеливался даже ворчать на него, когда тот в очередной раз делал под себя, хотя совсем недавно ему подавали

горшок. И еще слуга позволял себе не стесняться старого хозяина и в открытую сосать перед ним палец, за каковой порок в прежние времена, в молодые годы, был бит плетью по приказанию сеньора. А теперь Хулио порой не обращал внимания на самое требовательное мычание и хныканье старого рыцаря, брал в руки глиняную окарину и устраивал себе небольшой музыкальный роздых, если на плоской верхотуре башни никого постороннего не было, хозяин был накормлен, обихожен, взор его, обращенный к небесам, замирал в какой-то одной точке пространства и постепенно достигал стеклянной неподвижности.

Та сила, что притягивала средневекового испанского рыцаря к земле и не давала ему рухнуть вниз в космос, держала на земле и корейского юношу-наркомана из XX века, по географическому своему местоположению — антиподу испанского сеньора. То есть сей кореец лежал с другой стороны земного шара, в другом веке, но тоже смотрел в небо, покоясь спиной на земле.

Лежал он на покрытой росой деревянной крашеной плоскости, это была дверь, положенная на четыре широких чурбака под раскидистой старой хурмой. Промочив тонкую ткань рубахи, небесная влага приникла своей прохладой к телу юноши, которое было бесчувственным ко всем прикосновениям жизни,— оно пребывало еще под властью белого дьявольского порошка. Я уже побывал этим юношей-наркоманом, что привлекло меня еще раз к нему? *Здесь не любят* — ненавидят жизнь, ко всем людям относятся как к бесам, то есть боятся и сторонятся их, но ничего предпринять против не могут, потому что чувствуют себя намного слабее их.

Он меня отталкивает, я не испытываю жалости к нему, все, связанное с ним в этом многообразном мире, не интересует меня, однако я снова *здесь*, лежу на мокрой двери и остекленевшими глазами таращусь в живое настоящее небо. И, пока его душа, одержимая душным нетопырем, носится где-то по героиновым небесам, я вынужден смиренно лежать на досках, пытаюсь разумом внять тому, что открыто глазам. Правда, моей медитации сильно мешает наркотический полет на перепончатых крылах, дергающиеся взмахи которых вызывают во мне неудержимый надрывный смех. И тело юноши неожиданно для меня соскакивает с места и принимается кругами перемещаться вокруг двери, положенной на четыре чурбака, при этом юноша громко хохочет с закрытыми глазами, размахивает руками и вдруг замирает на месте, нелепо растопырившись, как летучая мышь в полете.

Во время полета-кружения около двери я столкнулся с нею, и широкая желая дверь съехала с двух своих опор, упала краем на землю, но удержалась на двух других опорах — осталась в виде поднявшего створ подъемного моста. И вот я ложусь на косую плоскость головой вниз, ногами вверх, упираюсь макушкой во влажную землю и, глубоко вздохнув, умиротворенно закрываю глаза. Я завис в таком положении, в котором наконец-то умру от прилива крови к голове, словно казнимый через подвешение за ноги.

Но вскоре мне становится досадно. Хорошо в жизни отдаваться стихии самых простых, произвольных действий... Зевать. Ловить на удочку рыбу. Посылать на праздник поздравительную открытку. И тому подобное. Но зачем я, спрашивается, снова воплотился в этого корейского юношу? Неужели затем, чтобы сделать шагов сорок вокруг обрушенного с одного края садового лежака, потом улечься на него, задрать ноги к небу и головой упираясь в землю? Переместиться из средневековой Испании в Южную Корею конца XX века лишь для того, чтобы час или два побыть наркоманом в состоянии отлета, потом улечься на доску вверх тормашками и умереть, ибо мозги зальются кровью?

И тебе снова придется переместиться куда-то, в кого-то, во что-то, хотя ни пространство, ни существа, ни предметы мира — они не ждут тебя, ничего не знают о тебе. Да и ты сам тоже не знаешь, откуда взялся, кто таков есть, самозванец. Нужно ли было кому-то, чтобы ты появлялся на свет, или абсолютно не нужно? Неужели все мы самозванцы — это я снова говорю о нас, невидимых близнецах наших видимых земных братьев. Появляться снова и снова на свете, снова и снова дублируя бессмысленное самозванство тех, в кого мы воплощаемся,— это ведь и скучно, и грустно!

Но следующее мое перевоплощение было и не скучным, и не грустным. Оно состоялось в том же дворике одного заброшенного корейского дома, недалеко от сеульского аэропорта Кимпо. Дом был старинной сельской постройки, одноэтажный, выход из него зиял без двери. Дверь была снята с петель и уложена под хурмой на чурбаки, служила временным садовым лежаком для отдыха. Вокруг участка, на котором стоял дом, шла аллея невысоких лиственниц. В тот день, когда я в бесславном и нелепом состоянии валялся на полуобрушенном лежаке, надо мною встал, подойдя со стороны, некий смуглый лысоватый человек с внимательными темными глазами.

Это был брат Янг, проповедник-пионер всемирного дома Свидетелей Иеговы. В это весеннее утро после освежающего ночного дождя дышалось так свободно и радостно и свет нового дня востекал над небосклоном так жизнерадостно, что Янг забыл приостановиться где-нибудь на красивой полянке и, по обыкновению, опуститься на колени для утренней молитвы. Еще затемно выйдя с территории миссии, пионер прошел километра два по извилистым узким дорожкам, заливаемым каскадами водяных капель с низко нависающих по обеим сторонам ветвей кустарника... Брату Янгу исполнилось тридцать семь лет, но он был девственником. В двадцать лет он попал в тюрьму за свою веру, по которой ему нельзя было идти в армию, брать в руки оружие.

...Однажды, вот в такое же свежее утро, выйдя с территории миссии Братства, пионер Янг шел по этой же дорожке, отправившись на свою ежедневную молитвенную прогулку — за час до всеобщей храмовой, — и вдруг, вытянув вперед руки, он как будто коснулся ими огромного, мокрого, плотного тела Левиафана, лежавшего поперек дороги: ясно почувствовал сердцем, что нет того словесного Бога, Которым он только и жил, ради Которого смиренно и мужественно перенес годы тюрьмы (два срока по два года), о Котором так много читал в Библии, в журналах «Пробудись» и «Сторожевая башня», слышал в проповедях отцов-пресвитеров из Нью-Йорка.

Брат Янг улыбнулся. Бога по имени Иегова нет как нет, потому что Его не может быть ни под этим, ни под каким-нибудь другим именем. Бога с пышной седой бородой нет, но есть Кто-то несоизмеримо Больше и Лучше, чем оный Бог, придуманный слабостью человеческой по образу и подобию человеческому. И, надеясь оказаться среди 144 тысяч праведников, которые будут делить власть на небесах с Царем Нового Мира, руководители общины в Бруклине смело подключили свою церковь, отрицавшую все остальные церкви, как христианские, так и не христианские, называя их языческими, ко всемирному потоку американского доллара. И пионер Янг, слышавший уже многих подвижников из высших кругов общины, при всем своем уважении и любви к ним не мог не почувствовать, что каждый скрытый претендент в 144-тысячный небесный парламент говорит о Новом Царстве как о Новых Соединенных Штатах, где благодаря демократии и порядкам высшей парламентской республики ровно тысячу лет не будет смерти. Но никто из этих уверенных бруклинских руководителей не видел в себе того, что ясно прозрел скромный пионер из Южной Кореи.

Хорошие виды на вечное жителство в Новом Царстве у них ничем не оправданы, да и не волнует это по-настоящему никого из них, даже самих тайных кандидатов в горный Совет Ста Сорока Четырех Тысяч. Всех этих господ по-настоящему волнует только огненный Армагеддон. Как же гореть-то будем? Сохранится ли иммунитет для парламентских избранников, минуют их суд и огненная казнь? Брат Янг дело понимал так, что никого ничто не минует, каждый неукоснительно в обязательном порядке получит то, что заслуживает.

Еще в первый срок тюремного отбывания он шил ручным способом тапочки из дерматина, на казенную потребу, и не раз глубоко задумывался во время однообразной работы над тем, почему он, именно он, вопреки своему желанию сидит сейчас за низеньким верстачком в тюрьме и тачает безразмерные дерматиновые тапочки. Кто так распорядился? Ведь сам Янг ни о чем таком не помышлял: что в двадцать самых сладких лет впервые возьмет в руки кусок искусственной кожи, пахнущий химически-заманчиво, расправит его, бросит на верстак и сверху наложит картонное лекало выкройки... Нет, он такую судьбу не заказывал. Она вышла такой случайно, видимо, сама собой. Но об этом в следующей главе.

ГЛАВА 15

Меньше всего предполагал брат Янг, что, пройдя столь долгий путь страданий, искушений, подвижничества в пионерском проповедничестве по милитаристской Корее (весьма жестокой по отношению к Свидетелям Иеговы), так и не женившись, не успокоив старости своих родителей, изрядно облысев к тридцати семи годам, вдруг однажды придет к глубокому убеждению, что никакого конца света не будет. И напрасно его ждут братья по вере. И поле Армагеддоново есть понятие гипотетическое, основанное как раз на горячем утверждении того, что конец света обязательно настанет... Усомнившийся Янг увидел, что здесь, как и в случае с Богом, произведена подмена словом самой сути, онтологической метафорой — истины. Которая в том, что никакого конца жизни, называемой светом, не может быть. Свет летит от своего источника только в одну сторону — к будущему. И то, что встрепенулось в сердце Янга и радостно воззрилось на эту грандиозную пространственную картину вечной жизни, было пробуждением в пионере его брата-близнеца. Янг узнал его.

Итак, в полном современном пионере Янге, проповедующем в основном на улицах городов и по домам, скромно одетом, но всегда при галстукке, мощно проявился его близнец. Такое же невидимое существо, как и мы с вами. К зрелым годам проповедника в нем произошло замыкание внешнего феномена с внутренним — настала встреча двух близнецов. И на пересечении их судеб возник гениальный фантом его личности. Эта двуединая личность была то видимой, то невидимой, как и должно быть истинному призраку в физическом времени. Передо мной она предстала воочию, в своем истинном виде, но зато тщательно скрывалась от внимательных взоров старшин дома Свидетелей Иеговы, которые могли усмотреть в новом открытии Бога скромным пионером Янгом величайшую ересь и еще одно преступление перед истинным Богом. Они сами не представляли себе, что можно столь усердно искать Его — и потерять то, что искали, и не заметить при этом, как в XX веке от Рождества Христова вместе со всеми народами Земли, приложившими в этом поиске колоссальные умственные и военные усилия, окончательно утратили Бога.

Однако в конце того же XX века некоторые из людей, такие, как наш брат Янг, смогли узреть нового Бога. Он был не такой, как прежний, — безнадежно устаревший, разочарованный в своих бесконечных угрозах, — но грандиозным

образом, несоразмерно больше прежнего и лучше. Он уже ничем не угрожал миру усталых человеков — прежде всего огненным концом света — и предложил маленькой семье человечества освободиться от всех прежних богов, грозных и карающих, свирепых и пугающих. И разрешать все споры внутри семьи самим, опираясь не на законы смерти и сатанинских денег, а на законы бессмертия и бесконечного времени жизни. Зная о человеческой слабости своих учителей по общине, Янг поставил себе целью никогда не огорчать их, до конца дней своих вести себя так, как подобало по правилам устава дома Свидетелей Иеговы, и решил ни с кем из братьев не делиться своим открытием, своим утренним росным прохладным на ощупь Левиафаном. Янг понимал, что ему ничего не стоит потерпеть немного, до своей земной кончины, когда никому и ничего не надо будет доказывать. Лучше сделать так, нежели огорчать своих добрых наставников, столь трепетно и наивно ждущих скорого наступления Армагеддона.

Он хотел прожить, не зная женщины, которая все равно попытается соблазнить его, как Ева Адама, а также отказался от вкрадчивых приглашений молодого сокелейника, предлагавшего себя. Решил до конца положенных ему дней оставаться чистым, мягким, серьезным, улыбочивым, доброжелательным человеком и по-прежнему проповедовать истину Евангелия на улицах и по домам в близрасположенных к миссии иеговистов поселках и деревнях. Ибо он любил Христа и верил Ему, считал Его своим небесным Отцом. И после своей смерти спокойно полагал воссоединиться с Ним. Но вышло так — и в этом проявилась его гениальность, — что брат Янг еще при жизни сумел воссоединиться со своим близнецом. И, когда это произошло, телесная субстанция его изменилась. Подобно нам, мой читатель, он мог теперь свободно перемещаться во времени и пространстве. А в отличие от нас он все еще мог пребывать на Земле не в виртуальном, но в своем подлинном обличье.

Брат Янг очень скромно использовал свои новые необыкновенные возможности, которые давали ему несравнимые преимущества перед остальными братьями по общине. Глядя на их унылое существование, полное скрытой тоски и повседневной героической суеты, когда им приходилось с утра до ночи ходить по чужим домам, куда их неохотно пускали, а иногда и грубо, с бранью и битьем, изгоняли, — и все это ради тех человеков, которых проповедники хотели бы ввести в Тысячелетнее Царство, где нет смертей, тревог и болезней, — обновленный брат Янг вовсе отказывался в обиходе пользоваться своими преимуществами. Так, ни разу не воспользовался он на глазах у братий способностью свободного перемещения в пространстве, хотя порою соблазн бывал велик. Братьям более высокой иерархии, чем простые пионеры на полный день, полагалась иногда служебно-туристическая поездка на Фиджи, Ямайку, Гавайи или Подветренные Острова — в гости к далеким братьям по вере, которые и под тропическими небесами, в раю лагун ждут не дождутся наступления конца света. Скромному корейскому пионеру очень хотелось бы на Гавайи или Фиджи, и он мог бы это себе позволить, даже не вводя общину в расходы на авиабилеты. Однако, не желая вызывать зависти и, главное, подозрений в демонической деятельности у своих коллег и начальников, Янг не отправлялся чудесным образом на острова.

И он по-прежнему предпочитал ходить пешком, вставал рано, еще затемно, до утренней службы и трапезы, выходил за ворота миссии и шел на прогулку по едва различимым пешеходным дорожкам. К общей ранней службе он неукоснительно возвращался, но за прошедшее время успевал уже испытать счастье уединенной молитвы, искреннего и простого обращения к Богу. Совершал ее среди деревьев, в красивом месте с широко открытым небом, навевающим в душу грезы о первом Храме в раю. Попутно задерживался где-нибудь еще и для бодрости тела делал несложную энергичную гимнастику.

Маршрут прогулки он каждое утро выбирал новый, их было несколько у него: вниз к долине террасных рисовых полей и вверх на гору, через перевал, поросший кривыми соснами и колючими акациями. А за горой также можно было пойти в нескольких направлениях. По одной узкой дорожке он попадал в сторону аэродрома Кимпо, внезапно раскрывавшегося между деревьями внизу, под круто спадающим склоном горы. По другой еле видимой тропинке можно было выйти к разбегающимся дорожкам, проложенным меж густых зарослей барбариса, цепкого шиповника, остроконечной туи и сквозь тесный строй серых палочных магнолий. Эти кусты и деревца выращивались на саженцы. Пройдя мимо питомника и через магнолиевую плантацию, дорожка выводила к заброшенному поселку.

Последний маршрут и привел Янга к месту нашей встречи, во двор полуразрушенного дома, где я лежал непорядком, ноги выше головы, на откосе лежавшей двери, подпертой с одного края чурбаками. Я должен был в скором времени скончаться от прилива крови к голове. Но пришел брат Янг, встал над моей головой, чуть нагнулся и начал пристально вглядываться мне в лицо черными, блестящими, как мокрые маслины, внимательными глазами самоедской лайки. В этих глазах еще мелькала только что пройденная дорога, мелькали темно-зеленые кущи барбариса, стройные, как солдаты, туи, серые палки магнолиевых саженцев. Янг сразу же признал, как только нагнулся и заглянул мне в глаза, что я существо такого же порядка, как он. Ухватив крепко за плечи, он стащил меня с косо лежавшей двери, отволлок по сырой траве чуть в сторону и устроил под ровной крепкой лиственницей. Там земля была усыпана толстым слоем мягкой хвои. Меня прислонили спиной к теплому стволу дерева, лицом к раскидистой хурме, из-под которой меня и вытащили, чтобы я не принял там свой бесславный конец.

Между тем уже совсем развиднелось, и аллея лиственниц, окружавшая участок, наполнилась густым и смуглым, как мед, неподвижным полумраком. По нему не очень быстро удалялся Янг, производивший на ходу гимнастические движения. Он делал широкие шаги; каждый раз приседая на выдвинутую вперед ногу, одновременно с этим выкручивая тело с разведенными в стороны руками — на шаг левой ногою выкрутас налево, на шаг правой — направо же. Добравшись до конца ровной аллеи, туда, где она сворачивала под прямым углом, Янг пошел в сторону, продолжая, словно марионетка, на каждом шаге приседать и выкручиваться. Вскоре он исчез за кустами, растущими рядом со строем лиственниц, потом вновь появился, двигаясь в обратном направлении, но уже не приседая, а по очереди вскидывая ноги с оттянутыми носками на уровень плеч. При этом враз делал отмашку обеими руками — в ту же сторону, с которой взлетала нога.

Я сидел под деревом, потихоньку приходя в себя, смотрел, как мистер Янг приближается по лиственничной аллее, попеременно взбрасывая к небу ноги в белых кроссовках. Вдруг он приостановился и, заклинив пятку выпрямленной ноги в развилку дерева — на высоте пояса, — стал гибко наклоняться всем туловищем, складываясь пополам, вытягивая вперед руки, как молящийся тибетский паломник, падающий ниц... И я засмотрелся на него — возвратившись с того света в жизнь, видеть эти смешные движения человека было невероятно приятно. Я едва не заплакал от умиления, нежности, грусти. Но эти чувства были рождены моей душой — неизвестный же мне юноша-наркоман едва начал выходить из наркотического опьянения в настоящий мир единственной жизни и ничего еще не соображал. Он тупо смотрел на смешно подпрыгивавшего человека, который совершал гимнастический бег на месте, вытаращив черные круглые глаза, размахивая перед грудью сжатыми кулаками, высоко подбрасывая колени.

Закончив гимнастику, он подошел, и между нами начался следующий разговор, который велся на незвучащем праязыке всех выходцев из утраченного рая, на языке Адама и Евы.

— Если бы,— начал брат Янг,— тебе поднять сейчас руки над головой и привязать к стволу дерева... А потом это дерево чудом бы выросло сразу метра на два... Получилось бы распятие, такое, на каком распинали Его.

— Но Его распяли на кресте.

— Нет, на столбе.

— Не все ли равно: на столбе, на кресте?.. Христос ведь умер...

— Не Христос умирал.

— Кто тогда умер на кресте?..

— На столбе.

— ...на столбе, если не Иисус Христос?

— Не знаю. Какой-то незнакомый мне человек. Я его никогда не видел раньше. Он добровольно умер за Сына Божия. Умер по-настоящему, я видел. А Бог или ангелы умереть не могут...

— Что значат твои слова? Разве ты был там?

— Да, был и видел. Стоял в толпе людей, шагах в тридцати от столба. Да, это был столб. И апостол Петр потом свидетельствовал: на «дерево», а не «на крест».

— Как ты мог там быть? Это неправда!

— Правда. Я однажды очень захотел это увидеть — и оказался там...

— Мне тоже хочется это увидеть!

— Что ж, отправляйся туда. Твое право. Ты такой же Его близнец, как и я.

И я оставил под деревом неизвестного корейского бродягу, на этот раз навсегда, вылетел из его расслабленного тела и оказался там, где мне захотелось быть. Я стоял в небольшой толпе и смотрел — с чувством наступившей уже непоправимой беды — на то, как побежала кровь из-под острия копья, которым солдат стражи уколел под ребро человека, подвешенного к столбу. В сумятице страшных чувств скорби, смятения, ужаса перед будущим я и не заметил вначале, как был распят казнимый, — показалось, что человека, страшно выпятившего костлявую грудь, со вскинутыми в жесте отчаяния и боли руками, прибили прямо к небу.

Перед нами совершалась самая главная казнь во всей судьбе человечества. Мы стояли и по отдельности, и небольшими толпами и все одинаково, опустошенными глазами смотрели, как умирает то, что не должно умирать. Желаящий спасти нас от смерти — не в сказке, а на свету жизни — Христос не должен был умирать. Вместо Него умирал какой-то обычный человек. Еще минуту назад он чуть слышно стонал — намного слабее, чем висящие рядом с ним два преступника, люди грубого и крепкого телосложения, тоже распятые на столбах с перекладинами. Но подошел солдат с длинным копьем в руке и, выполняя приказ начальника конвоя, проколол всем по очереди грудь под правым соском, чтобы выпустить из нее воздух. Тогда казнимый не сможет больше вздохнуть и умрет.

Пока мы, небольшая горстка человечества, ждали последнего вздоха своего Спасителя, решалась главная для нас задача. Не человеческая воля была ее условием. И в ответе надо было получить не пресловутые рай или ад. Надо было решить, может ли одна настоящая человеческая жизнь, добровольно принесенная в жертву смерти, поправить ее и освободить от нее навечно всех остальных. Как знать — многие из мудрых иудеев и умных эллинов, окружавших толпою лобное место, сразу же и решили задачу, но я до сих пор не нашел ответа. И в

преддверии XXI века — почти через две тысячи лет — я все еще мучаюсь над тем, что увидел своими глазами.

И я свидетельствую в том, что кто-то один из нас, тот, чей близнец был самим Творцом мира, мучительно отдавал, капля за каплей, свою человеческую жизнь как выкуп за наше бессмертие. Он почему-то любил нас и хотел, чтобы мы не умирали... Вскрапывая сквозь завесу густой окровавленной юшки, свисающей из-под наклоненного лица почти до колен и мотающейся из стороны в сторону, когда он слабо поводил головою, — платил Спаситель этот выкуп. Вся наблюдающая толпа, погруженная в глубокое молчание, следила за последними движениями умирающего. И постепенно, по мере того как они стихали, все медленнее становилось покачивание кровавого полотнища смертной слизи.

В толпе зрителей на Голгофе я еще раз увидел проповедника Янга, смуглого лысоватого гения. Он находился в сообществе с двумя другими людьми, немолодыми и заурядными на вид европейцами, мужчиной и женщиной, стоявшими в привычной им супружеской близости, плечо к плечу, рука в руке, переплетая пальцами. Обратясь к ним сзади, Янг что-то тихое сказал, обращаясь сразу к обоим. Те, вместе оглянувшись поверх сближенных плеч, одинаковым образом кивнули в ответ. После чего Янг оглянулся на меня, оглядка его была машинальной, и он тотчас отвернулся. Но, прежде чем отвернуться, мимолетно улыбнулся доброжелательной, ничем не обязывающей улыбкой, как бы не конкретно мне предназначенной, но с дружелюбием посланной в мою сторону. Конечно, он не узнал меня, ибо я воплотился в какого-то серого человека иерусалимской толпы, неизвестного мне самому до сих пор, господя.

...Итак, выкуп был отдан; но его, видимо, до сих пор не приняли. А если и приняли, то выдачу выкупаемого товара отложили на неопределенное число тысячелетий. И сие несмотря на то, что у человека, прибитого на столбу к перекладине, был такой могущественный близнец. О, не чета нам всем, господя-товарищи! И хотя многие из нас, напрямую происходящие от гениев, героев, титанов и великих языческих богов, а не от лохматых шимпанзе, многое могут сказать единому Вседержителю, но вряд ли хоть один из нас осмелится говорить такое: *Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.* Подумать только! У человека, испутившего дух на тесаном бревне от укола под ребро стальным концом копья, был духовный близнец, существовавший при Боге во славе — **ПРЕЖДЕ БЫТИЯ МИРА!** И такой человек заступился за нас.

И что бы ни говорили об этом человеке, убитом на кресте, никто лучше не сказал о нем, как его Близнец, обращаясь к Отцу: *Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную: Сия же есть жизнь вечная.* Замечательно такое высказывание о Себе в третьем лице: *Ты дал Ему власть,* — замечательно и обоснование своей главной просьбы перед Отцом Своим: *даст Он жизнь вечную: СИЯ ЕСТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ!* Так было нам предсказано, что жизнь сиюминутная, свет фаворный небесный — это и есть жизнь вечная.

ГЛАВА 16

...Которая ощущалась такой, приоткрывалась, представала перед тобой во вкусе и звучании вечности — *если ты ничего не знал о своем прошлом.* Только тогда настоящее становилось жизнью вечной. Я смотрел на женщину, не зная, кто она, откуда, и оттого казалась мне принадлежащей не сиюминутности, но

нескончаемому времени. И все признаки молодости, свежие, сочные виды ее белокожей женственности, убеждали в том, что это никогда не закончится, ничуть не изменится, навечно сохранится.

Однако ничего не знал я и о себе. Но спокойно, уверенно подошел к женщине, и она ко мне обернулась, до этого стоявшая лицом к широкому серебристому водохранилищу. Росту она оказалась почти одинакового со мною, черты ее лица, свежесть цветущей кожи, удлинённая стройность высокой фигуры, белые перчатки на руках, элегантные всплески на ветру ее легкой широкой юбки — все в ней было мне по сердцу, волнительно и мило для меня каким-то нежным, хрустальным отзвуком прошлого, которого я не помнил. Я смотрел на нее глазами человека, который воскрес после очень долгого пребывания в смерти, такого долгого, что все прежнее бесследно истлело во времени. И только звон музыкальный остался.

Чуть позже выяснится, что мое новое воплощение произошло в тот летний день и час, когда мы приехали на машине к Рублевскому водохранилищу. Был уже август, погода хоть и ясная, солнечная вперемежку с облачными затемнениями, но прохладная. Купальный сезон в Подмосковье давно, очевидно, закончился — на песчаном пляже у серебристо-голубого водохранилища народу никакого не было, и пронзительное чувство тревоги и жалости, что еще одно лето улетело в пустоту, царило в воздухе над просторным водоемом.

Женщина, на которую я смотрел, ходила кругами по мелководью, одной рукой в белой перчатке придерживая юбку, которая то и дело порывалась взвиться и показать, какие сокровища скрывает под собой. А женщина вроде бы старалась дружелюбно удерживать юбку, мягкими жёстами руки укрощая ее норов, но когда та, решив послушаться, обвисала вокруг стройных ног, их полновластная владычица начинала сама осторожно и элегантно, двумя пальчиками, приподнимать нарядный занавес, из-под которого выставлялись полные, с ямочками, розовые колени и края ляжек перламутрового цвета. Все это цветковое богатство целиком отражалось в воде, гладь которой, однако, ломалась при ходьбе женщины по отмели, и в ней беспорядочно приплясывали яркие осколки — расколотые частички целостной красоты.

Я еще не знал, о чем у нас был совсем недавно произошедший, очевидно, разговор и что скажет мне она, когда завершит гуляние по мелководью. Она подошла наконец к берегу и, выйдя из воды, босиком прошла по желтому песку, приблизилась ко мне и с веселой улыбкой произнесла:

— Ну что вы словно остолбенели? Надо было их поднести мне. Эх вы!

Оказывается, в моих руках были ее босоножки, по одной в каждой руке, — мне следовало поднести их к самой воде в тот момент, когда красавица выходила из озера.

А теперь, забрав у меня босоножки, она со значительным и лукавым выражением на лице вновь направилась к воде. Ступив туда по щиколотки и стоя с туфлями в руках, молодая дама с дружелюбной насмешкой обратилась ко мне:

— Ну что вы опять стоите? Идите сюда, помогите!

Я подошел, поддержал ее, она же приподняла одну ножку, с которой вода стекла несколькими быстрыми струйками, а я взял у женщины ее туфельку и, нагнувшись, обул эту белую ножку. Которую она широким шагом выдвинула на сушу и, снова поддерживаемая мною за руку, выбралась из воды, — ровно на пяди расстояния от ее блестящего края. И, утвердившись на берегу, она принялась, по-прежнему придерживаемая мною, ополаскивать другую ногу, осторожно побалтывая ею на мелководье.

Так мы обулись и затем направилась в сторону машины, которая одиноко поджидала нас за светлой полосой песчаного пляжа на безлюдной автостоянке.

Это оказалась белая «семерка», и водителем ее, стало быть, являлся я. В кармане брюк у меня обнаружили ключи с брелоком, на котором была вытравлена надпись: «*I like New-York*». И тут произошла самая первая вспышка памяти: брелок был подарен мне этой женщиной...

Уже сидя в машине, мы еще немного поговорили. Память пока не очень торопилась возвращаться. Быть в жизни на положении инкогнито для самого себя — значило получать от нее некоторое дополнительное развлечение. И с этим можно было кое-как вытерпеть свое бессмертное положение. Молодая красивая дама, если быть до конца правдивым, была не очень молода, и полнота ее стройной фигуры уже обращала на себя внимание. Но в машине, располагаясь с ней рядом, я представлялся многим значительнее, ростом даже повыше нее. Я с любопытством разглядывал в зеркало заднего обзора свое лицо, и мне доставляло чуть прогорклое от передержки времен, чуть затертое от частых повторений удовольствие смотреть в глаза человеку, который ничего о тебе не знает, и ты ничего не знаешь о нем, — занятие хоть и бесполезное, однако не лишнее любопытства и каких-то робких надежд.

— Посмотрели бы на себя со стороны, — словно подхватывая мои мысли, говорила между тем спутница. — Вы уже почти облысели. У вас, извините меня, пузо отросло. Какого размера вы джинсы покупаете?

— Не знаю. — Я действительно не знал. — Это имеет какое-нибудь значение?

— Я не хотела вас обидеть. Простите.

— Да я не обиделся! — искренне отвечал я. — Пузо так пузо. Согласен. Что поделаешь. А джинсы, я думаю, пятьдесят второго размера. — И я сверху вниз посмотрел на свое «пузо» и на джинсы, туго обтягивающие мои массивные ноги.

— Ого! Немалые размеры. Скоро вы уже будете седой, пузатый плейбой в джинсах. Над вами станут девочки смеяться.

— Пусть себе смеются, на здоровье.

— Что? Вы и теперь не обиделись?

— Нет, не обиделся, — и снова я был искренен.

Одного только я не понимал (потому что не знал), зачем эта красивая, холеная дама так старалась задеть меня. И чем же? Сущими пустяками. В то время как я, глядя на нее и еще совершенно не представляя, что это за человеческое существо передо мной, и также не зная, что за человеческое существо я сам, испытал доселе не изведенное чувство. И с екнувшим сердцем представил себе, как с этим придется теперь кочевать по бесконечности времен. Вдруг возникшее чувство, вспыхнувшее алым заревом на черном фоне полного забвения прошлого, с беспощадной ясностью представило мне *невозможность* отныне быть на свете именно без этого конкретного неизвестного мне человека. И то, что он никогда не перестанет быть непонятным для меня, делало чувство мое еще острее, обреченнее, пронзительнее. Да, читатель, я сейчас заговорил, кажется, о любви. Мне, близнецу, на какое-то мгновение привелось испытать и это. И весь подспудный ужас мой заключался в том, что не было иной возможности, чем полюбить мне простое смертное существо. Хотя все это не нужно, ни к чему мне...

И только тут обрушилась плотина забвения, перегораживавшая память прошлого от меня, — я вспомнил, кто эта женщина, вспомнил, кто я. Я русский писатель Вас. Немирной (Мирный), а это — одна из прошлых моих возлюбленных, теперь живущая в США, которая приехала в Москву по делам. Она весьма и весьма крутая деловая женщина. Гибельное родство женщины и смерти открылось мне в ту минуту, когда я понял, что по-прежнему люблю ее. Любовь и смерть — близнецы, подобно нам с нашими земными братьями. У них разные

биографии, но единая судьба. Все, что переживает любовь человеческая, становится ее биографией; все, что приносит с собой смерть, становится судьбой этой любви. И важнейшее значение имеет, господа, где, когда они встретятся.

Итак, моя любовь встретила с моей смертью в самом конце 90-х годов в Москве.

Мы увиделись с Мариной М. в холле гостиницы «Космос», куда она пригласила меня по телефону. Встретившись, мы пошли, как это положено во всех цивилизованных странах, в ресторан, тут же при отеле, и там поговорили за обедом. Я не могу описать тех чувств, что охватили Василия и Марину, потому что ничего не знаю о них, могу лишь припомнить немного из того, о чем они говорили, хотя и тут не ручаюсь за точность: ведь все я передаю вам словами самого Василия, которого уже давно нет на свете. Итак, по его словам, разговор шел в классическом ключе «*а помнишь...*» — на этот раз в ностальгически-мстительной тональности со стороны Марины М. и лирико-оправдательной с моей. Я другого, признаться, не ожидал от нее, потому что слишком ясными и весомыми были ее аргументы и слишком жидкими мои собственные. А мне уже становилось скучно — и с каждым днем все скучнее просто жить на свете, не надеясь больше услышать что-нибудь иное, нежели подобные вопросы и ответы. А похоже было на то, что век кончается и второе тысячелетие от Рождества Христова уже завершается, а разговоры будут все те же...

— Помните, вы откровенно говорили мне, что я никчемная дурочка, никому на свете не нужная?

— Что вы, побойтесь Бога! Я говорил, что в этом мире все для вас было чужое, вы совсем другая, чем та, которую из себя представляли.

— А кого, интересно, я из себя представляла?

— А вот ту самую никчемную дурочку, заурядную лимитчицу, которой ничего не светит. Но вы были как очарованная. Поэтому я и полюбил вас.

— Очарованная — чем?

— Ничем, пожалуй. Просто вы, Марина, были как шпионка из другого мира, параллельного, подосланная в наш...

— Да, вспоминаю эти ваши пассажи... И я молчала в ответ, действительно, как дурочка. Да и кто я была на самом-то деле, Василий? Тупая лимитчица, никому не нужная. Это правда, голубчик. Однако на кой хрен мне нужно было выслушивать такую правду? Ведь это лишало меня веры в свои силы. Вам такое не приходило в голову, Вася?..

— Признаться, нет. Я вас любил, как мог. Как могли любить все советские люди — без денег, без надежд, обремененные семьей.

— Ты? Советский?.. Без денег? Да ты что, Василий? Уж и впрямь держишь меня за дурочку.

— А что? Кто я был, по-вашему?

— Барчук. Советский барчук, сын дипломата. Знал себе цену, слишком хорошо знал. И мне знал цену. Поэтому легко бросил меня, когда этого захотелось. Помнишь?

— Я помню, что это стоило мне дорого...

— Не представляю!

— Марина, а вы-то хоть знаете, каким образом попали в Америку?

— Может, знаю. Но не скажу вам.

— Да я-то знаю!

— Ну и что скажете? За сколько вы меня продали Америке?

— Не продавал я вас.

— Продали. Неплохой бизнес сделали.

— А вы?

— И я сделала неплохой бизнес.

Они поехали прогуляться на Рублевское водохранилище, а оттуда — ко мне на дачу в поселке К., что по Киевской железной дороге. Там были старые дачи с большими еще участками — ихтиозавры великого дачного номенклатурного периода, вынесенные на берег советской действительности еще рублевыми потоками, а не шумными валютными, преимущественно мутно-зеленого цвета. Бессмысленно описывать, как выглядело последнее место действия этого романа, это будет скучно для тебя, читатель, задерживать свое внимание на том, что промелькнуло очень коротко, но безвкусно и дурно. Ничтожная история, ничтожный отрезок времени, ничтожное время, когда стало бессмысленным всякое сопротивление злу насилием и первое вошло в стовор со вторым, образовав мощные криминальные группировки. Но мой близнец жил именно в данный отрезок времени, в нем успел стать известным писателем, а после — вместе со своим временем — ухнуть, провалиться в глубокое забвение.

Когда мы отъехали от пляжа, моя спутница спросила, есть ли там, куда мы едем, междугородный телефон. Я ответил, что нет, тогда она попросила завезти ее по пути на какой-нибудь переговорный пункт. В городке Рублеве мы подъехали к почте, зашли в зал с несколькими телефонными кабинками, дама моя заказала разговор, и мы сидели на жестких деревянных диванах в ожидании — умопомрачительное времяпровождение для людей, учитывая то, что жизнь коротка. Я обратил внимание на ее руки в белых шелковых перчатках, терпеливо сложенные на коленях, округло обозначенных под тонкой тканью юбки. Это были большие, с длинными пальцами, талантливые, полные жизненных сил красивые женские руки. И невозможно было поверить, что под белыми перчатками они у нее красные, с шершавой кожей...

Прожитая жизнь, очевидно, никогда не приносит облегчения, если даже она удалась и уже позади. Поэтому и притягивает она к себе, прошлая жизнь, заставляя писать письма, звонить по телефону... Я слышал весь разговор от начала и до конца, ибо он звучал одновременно и в переговорной кабине, и во мне самом.

— Здравствуй, Ашур, это я.

— Слышу тебя. Здравствуй.

— Ты когда летишь?

— Завтра. А что?

— Я задержусь дня на два. Так что улетай без меня.

— Что случилось? Только не ври.

— Я тебе никогда не врала и не собираюсь.

— Так. Ну так... Ну и что?

— Ашур, это все тот же писатель. Я еду с ним на дачу.

— Ты хорошо подумала, дорогая?

— Да, хорошо. Ты мне не муж. Я свободная женщина.

— Я тебе ничего не говорю, кажется. До свидания.

— До свидания... Минутку!

— Что еще?

— Только без глупостей, прошу тебя... Слышишь?

— Слышу, слышу...

Невольно присутствуя при разговоре двух людей, один из которых был совсем рядом, за стеклянной дверью переговорной кабины, очень захотел увидеть второго, *Ашура*, и я быстро внедрился в электронные каналы, прошел по звукам женского голоса до самого его выхода в телефонную трубку, которую и прижимал к уху Ашур. Но и внедрившись в него, я все равно не мог увидеть человека, пока он не захочет взглянуть на себя в зеркало. И по случайному совпадению, по

судьбе ли, но в минуту телефонного разговора Ашур как раз стоял напротив высокого трюмо, находившегося в каком-то узком тесном помещении, и машинально оглядывал себя в зеркале. Это был туго-курчавый мужчина с худощавым лицом, темными сросшимися бровями, с глазами голодного хищника. Щеки его, подбородок и место над верхней чуть вывернутой губой были покрыты ровно подстриженной щетиной — искусно выведенная под трехдневную небритость модная бородка. Кажется, это был тот человек, которого видел я в своих космических снах, про которого я ничего не знал, кроме одного — у него с младенчества была порочная привычка сосать большой палец правой руки, — ею он сейчас прижимал к уху черную телефонную трубку. От многолетнего детского порока, державшегося почти до юношеской поры, большой палец правой руки должен был быть у него заметно тоньше, чем на левой руке. Но проверить этого я не мог, потому что левую руку он сейчас держал в кармане модных, широких бананами, темных брюк.

— Ладно, я тебя предупредил, — говорил он, разглядывая себя в зеркале; и вдруг выбросил из кармана кулак с выставленным указательным пальцем, сосроил уморительную зверскую рожу и, прищулив глаз, произвел предполагаемый беззвучный выстрел.

— Все равно я завтра не поеду с тобой, — между тем говорила ему женщина.

— А это мы еще увидим, — отвечал он.

Кто это? Демиурги, наши сочинители, кто это? Над плоской крышей горного дома сияла ночь в крупных кристаллах небесных звезд. Я смотрел на них снизу вверх, лежа под теплым ватным одеялом. Как я стал этим юношей, где это было? И разве сторож я брату моему?..

Бросив на него последний взгляд, я снова вернулся назад к банальной жизни быстро пробежавшегося по ней малюсенького писателя Василия Немирного (Мирного). Он все еще был на переговорном пункте, сидел, неуютно поерзывая, на длинном деревянном диване рядом с каким-то старичком решительного вида, пахнущим резким спиртовым одеколоном, с наостренными седыми усами, и ждал... Чего ждал мой близнец, кроме той женщины, которая еще находилась в телефонной будке и разговаривала? Которая его погубит, как и всякого мужчину всякая женщина на свете... Чего ждал? Много было всякого ужаса в проходящем XX веке — так много, что ничего нам не остается делать, как только враз все это позабыть. Но к концу второго тысячелетия от Р. Х. мы все, пройдя через немислимые общие ужасы и рассеяв личное счастье по мгновениям, увидели нового Бога, Который Больше и Лучше прежнего. И настало время простить — и со смехом попроситься с прошлым, и забыть его, и продолжить по новым законам бессмертия. С Новым веком, с Новым тысячелетием и с Новым Богом! Ради этого приветствия и был написан этот роман, а кто писал его, завершая в ночь на 1999-01-13, того я не знаю.



Владимир САЛИМОН

Без видимых на то причин...

* * *

Нас напугала туча грозовая,
воронья стая,
поднявшаяся в небо столь поспешно,
что тотчас стало нам известно:
сопротивление — бесполезно
и отступленье неизбежно.

Чуть свет потянутся повозки,
вслед за подводами — телеги,
в них будут свалены на доски
кровоточащие калеки.
На историческую свалку
свезут и бросят всех вповалку.

Неотвратима Божья кара.
Но в ожидании удара
я вскинул руки поневоле
во чистом поле.

* * *

Недаром у Екклесиаста
встречаются столь часто
тщета и ловля, ловля и тщета.
А то бы я не понял ни черта.

И участи своей не утрашился.
И нашей нищеты
не устыдился,
хотя бы солнце обожгло кусты
и опалило редкие деревья,
становья ближние и дальние кочевья.
Пустило по миру цветущий край.
Сейчас — ложись и помирай!

* * *

Перво-наперво сын человеческий
сбросил плащ я и кровью овечьей
вволю жадный песок напитал.

Словно Феникс из пепла, восстал
и могучие крылья раздвинул,
плащ, который на землю я скинул,
на ветру зашумел.

Многих славных мужей разглядеть я сумел.
 Многих агнца невинного жаждущих крови.
 Губы сжаты, и сомкнуты брови.
 В тишине гробовой
 окружен я тенью молчаливой толпой.

Неотступно бредут по пятам,
 точно рыщут по следу,
 дабы сжить нас со свету:
 Менелай и Парис, Ахиллес и Приам.

* * *

Свет отраженный ярче, чем прямой.
 Во тьме ночной — особенно зимой.
 Когда луна восходит над холмами
 и свет ее овладевает нами.

Столь широко простерлась власть,
 что часть
 народонаселенья
 не в силах скрыть внезапного волненья.
 Мы от восторга, идучи ко сну,
 не ровен час завоем на луну.

* * *

Дождь вызвался в проводники.
 Мы шли недолго берегом реки.
 Намного был длиннее путь
 во ржи по грудь.

В той самой ржи,
 в которой мало что ужи —
 гадюки
 хватают нас за брюки.

* * *

В хитросплетеньи сна и яви
 мы разобраться в полном праве
 и отделить повторно
 от плевел зерна.

Полову горькую и кислую мякину —
 примерно половину
 от общего количества пшеницы
 погрызли мыши и склевали птицы.

Другую половину съели сами
 за зиму бабы с мужиками.
 По горстке — без обмана —
 перетаскали всю пшеницу из чулана.

* * *

Все по порядку —
 в точности, как,
 переступая с носочка на пятку,
 холод ночной удалился в овраг.

Где оставался весь день недвижим.
Если б охотой грибной одержим
не был я нынешним летом —
не догадался б об этом.

Бог его знает — куда запропал
ветер, который деревья трепал,
дождик прошедший,
морозец вчерашний,
пар, до полудня стоявший над пашней.

* * *

Под натиском дождя
лес пятится, хотя
тому уже лет двести,
как топчется на месте.

Развесистые сосны
не то чтоб слишком косны —
консервативны, может быть.

С годами поумерив прыть,
становятся упрямы
стареющие дамы.

Не в очевидном убеждать —
лелеять, холить, ублажать
их целесообразней.
Чем дальше в лес, тем больше дров.
А чаща — непролазней.

* * *

С тяжелым скарбом на плечах
в потоке беженцев, в толпе переселенцев —
каких-нибудь албанцев иль чеченцев,
евреев многоопытных в вещах,
подобных столь ужасному исходу, —
мелькнут и канут, точно в воду.

Исчезнут без следа.
Но я запомню раз и навсегда,
как виденное мною многократно:
куда бегут, откуда — непонятно.
Хотя нам неизвестен их маршрут,
однако ясно — что бегут.

Она за осликом не поспекает следом,
с младенцем на руках за старым дедом,
прижав к груди бесценный груз.
На тонкой шее — нить дешевых бус.

* * *

Изыюминки не обнаружу,
где ей от века должно быть,
и вот уж бранным словом душу
рисковую погубить.

Хлеб наш насущный.
Век наш недужный,
вконец больной —
отец родной.

* * *

Цикута, если таковая —
трава, растущая у края
участков дачных кое-где,
пренебреженно быть беде.

Ожоги или отравленья
опасней прочих — малышам,
хотя они у пап и мам
защиты ищут от рожденья.

Мальцы цепляются за нас.
Я ощущаю в грозный час,
насколько цепки и крепки
их крохотные коготки.

Они едва покажут когти,
а мы уже кусаем локти.
А мы, со страху ошалев,
насилу сдерживаем гнев.

Когда сдержать себя не сможем,
мы на коленях их разложим
и выпорем ремнем
однажды —
судным днем.

* * *

Новый быт
позаброшен, позабыт.

К прошлой жизни нет возврата.
Вижу, выйдя в огород,
в лопухах торчит лопата,
подперев небесный свод.

Небо низкое над нами
зарастает лопухами,
так как много лопухов
вознеслось до облаков.

* * *

Евг. Блажеевскому

Грядущий век не по зубам —
я понимаю по губам,
как если бы глухонемого
я азбукой владел немного.

Иль просто так —
на всякие был выдумки мастак —
присочинял охотно
все, что угодно.

Сон сладкий и ночной кошмар.
Пожалуйста — лесной пожар.
С утра до ночи будут звери
ломиться в запертые двери.

* * *

Все псу под хвост —
и звонких струнок перехлест,
и переплет тончайших нитей —
бессмысленная череда событий.

Когда, сменяясь всякий раз,
мелькают имена и даты,
такой поспешностью для нас
всегда последствия чреватые.

Не торопясь — желанье есть —
до сути дела докопаться,
по древу белкой растекаться.

Бог весть,
орлом парить иль рыскать волком,
овечью шкуру изодрав по елкам.

* * *

В разрывах редких солнца луч
лазейку ищет между туч,
но, отыскав ее, быть может,
мою печаль он приумножит.

Я в свете истинном боюсь
увидеть без обмана —
в конце концов сгубила Русь
не злая воля басурмана,
но — дырочка на дне кармана.

В прореху быстро утекло
все то, что прежде руки жгло,—
не без излишка
имевшееся золотишко.

* * *

Все — звук пустой.
И Дух Святой,
во всем согласный Божьей воле,
зря ищет ветра в поле.

Напрасно тщится
навеки воссоединиться.
Все попусту — напрасный труд
в моей душе искать приют.

Укрытья нет от злостных козней,
междоусобных розней,
братоубийственной вражды.
Унынья и нужды.

Ему убежищем едва ли
сердца измученные стали.
И нержавеющей сталь
снедает тайная печаль.

* * *

Весна
тянула жилы,
как будто наши силы
решилась испытать она.

Черты, которые видны
и глазом невооруженным.
Отчетливей со стороны —
униженным и оскорбленным.

Уменье противостоять
любым невздам,
легко себя уподоблять
цивилизованным народам.

Соседей наших с давних пор
обуревают жажда мести,
хотя пора оставить спор
о совести и чести.

* * *

Первопричина
не столь важна,
но безутешен Сатана,
лишенный Ангельского чина.

Причинно-следственная связь.
Она, как грязь:
свернешь с пути, сойдешь с дороги —
сейчас увязнут ноги.

* * *

Детей, бегущих от грозы,
веселых рыбаков и землепашцев хмурых,
кобылок сивых и каурых,
забредших поутру в овсы.

Увидеть более чем странно
что может пурпурная медь
осенний лес запечатлеть.

Увековечить полотно
реки излучину должно.
Река петляет непрерывно.

И воплотить гранита глыба,
хотя нема она, как рыба,
вечно живой,
бессмертный образ твой.

* * *

Дружки-дружочки
отмаялись без проволоочки.
Отмучились мальчишки —
одни остались книжки,
картинки и пластинки.

Когда бы я решил ботинки
носить на босу ногу,
быть может, понемногу
привык к торчащим тут и там
свинячьей кожи лоскутам.

* * *

Муравьишка окаянный
угодил за воротник.
Был я трезвый, а не пьяный,
но щекой к земле приник.

Приложился ухом.
Навалился брюхом.
Потому что все плотней
норовлю прижаться к ней.



К Н Я З Ъ

КНИГА ОБ ИВАНЕ БУНИНЕ, РУССКОМ ПИСАТЕЛЕ

МЕРЕЖКОВСКИЕ И ДРУГИЕ. Как мы мало знали да и до сих пор знаем об этой их жизни — огромного клана русской художественной интеллигенции в эмиграции, вдали от родины, в муке изгнания. «Серебряный век» был поверен огнем и сталью, каленым железом. Кто страдал, тот помнит, говорили древние. В паутине изгнания билось сразу множество бабочек и мотыльков, прорываясь к жизни, они бились и друг о друга, литературные споры и сшибки обращались в житейские бытовые. Надо хоть отчасти показать на параллели Бунин — Мережковский, как по-разному, сообразно самим себе существовали и работали, взаимодействовали, дружили и грызлись, держали высоко честь или, напротив, утрачивали ее, разменивали.

У В. В. Розанова есть среди статей одна, начало которой так и просится сразу в цитату: «В душе человека большой образованности, большой начитанности, наконец, многих переживших собственные переживания всегда существует как бы с к л а д идей, образов, точек зрения, сравнений, из которых в данную минуту он может выбрать любое, ему понадобившееся или ему в данный вечер или утро нравящееся, и, немного погрев его на сальной свечке, показать его перед людьми как пыл сердца, сегодняшний пыл... Читатели или слушающая публика всегда будут обмануты, не различая горячего от подогретого.

Говорит человек громко и жестикулируя. Из начитанных сравнений он выдергивает одно, наиболее яркое, патетичное, и по узору этого сравнения лепит собственные слова, выходящие из вялой, полуумершей души. И вялая, полуумершая душа кажется горячею необыкновенно ярким и благородным пламенем...»

Розанов рассказывает об одном из последних, еще дореволюционных, собраний религиозно-философского общества, душой и организатором которого много лет был Мережковский. Посвящено оно было обсуждению «Вех», знаменитой книги о русской интеллигенции и революции, составленной из статей Н. Бердяева, М. Гершензона, А. Изгоева, Б. Кистяковского, С. Франка, Н. Струве, тех русских философов, которые выступили п р о т и в русской революции. Розанов: «От себя скажу, что это самая грустная и самая благородная книга, какая появлялась за последние годы (1909 г.). Книга, полная героизма и самоотречения. Кто знает Достоевского и помнит его “Бесов”, тому я все объясню, сказав, что авторы “Вех” с поразительной подробностью и точностью повторили судьбу и поведение благородного Шатова, который, залезши в самую гущу революционеров и революции, потом отошел от нее, грустно, в раздумье... Достоевский представил суд и убийство этого Шатова революционерами... Мережковский, конечно, помнит, как в мокрую московскую ночь поручик Эркель, подскочив, приставил дуло револьвера к виску полубольного Шатова, курок хлопнул, и все было кончено».

Розанов рассказывает, как Мережковский громил авторов «Вех»: «Его чтение было так талантливо, до того блестяще, так остроумно и колко, что не только публика, слушавшая, но вот и я, грешный, все прерывал чтение хлопками.

Окончание. Начало см. «Октябрь» № 1 с. г.

Мережковский так и блестел, и руки сами и неудержимо хлопали. Всякий блеск очаровывает, ослепляет. Почти час прошел после чтения, когда я подумал: “Боже мой, да ведь все это говорил Достоевский, а не Мережковский. Это — Достоевский блестел, а Мережковский около него лепился. Ведь то же самое сравнение, которое он взял у Достоевского, можно повернуть против него самого, Мережковского. Лично Достоевский как бы и выступил: кто же не помнит, как в “Дневнике писателя” он охотно выступил в защиту... мясников Охотного ряда, побивших в Москве студентов; он говорил, что и Кузьма Минин-Сухоруков, спасший из Нижнего Москву, тоже был мясной торговец. Вообще и а р о д н ы й и а н т и -интеллигентный характер воззрений Достоевского бесспорен. Но Достоевский теперь мертв, а живой Мережковский подкрался, вынул из кармана его смертоносное оружие и пронзил им... не недвижимого мертвеца, а его духовных и пламенных детей, его пламеннейших учеников...”»

Розанов пространно разбирает значение «Вех», заслугу их авторов в их покаянии перед интеллигенцией: «Вовсе Булгаков и другие не зарезали русскую интеллигенцию. Они сами зарезались. И воскресли. Погреблись и ожили...»

Не будем углубляться. Нас в данный момент интересует Мережковский.

«Как это специалист,— пишет Розанов,— по “христианским делам”, Мережковский этого не понял? Не понял, не почувствовал. Но дело в том, что и христианство для него одна из пережитых идей, которую он пренебрежительно выдергивает там и здесь последние 2—3 года, для красоты и эстетического украшения своей личности. Все уже холодно и помертвело в том “складе” чувств, “амбаре” былых настроений и умерших цивилизаций, каковой изображает себя новейший Аполлоний Тианский или польско-русский новейший Говьянский...»

Как же он поступил с этими шестью интеллигентами-Шатовыми? Немногим лучше поручика Эркеля...

При хохоте зала он их пинал ногами, бил дубьем — безжалостно, горько, мучительно. Весь тон был невыносимо презрительный, невыносимо высокомерный... Дмитрий Сергеевич горел звездой над болотными огоньками “Вех”. Это несчастное дело нельзя было делать прямо... И он сделал это косвенно, воспользовавшись сравнением Достоевского, абсолютно не шедшим к делу, абсолютно обратным делу...»

Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865—1941) был крупнейшей фигурой в литературе конца XIX — начала XX века. Он занимал видное место, возможно, даже не по значению своих произведений (хотя писал много, безудержно всякое), а как деятель, вождь и идеолог — наряду с В. Брюсовым — всего символизма. Закончив историко-филологический факультет Петербургского университета, Мережковский как бы навсегда определил свой путь литератора-историка, философа, теоретика — мэтра и законодателя вкусов и правил. Он писал стихи, драмы, романы, статьи, монографии, спорил, читал лекции. Его всегда более занимали Запад, западная литература (он много и переводил), но немалую славу принесли ему книги о корифеях русской литературы — о Гоголе, Достоевском, Толстом. Необычайно широко образованный, эрудит, он еще и держать себя умел и подать с важностью и значением. Если до самой своей смерти в 1910 году место патриарха и главы литературы занимал Л. Толстой, то позже — и особенно в пору эмиграции — сие почетное и вакантное место изо всех сил старался закрепить за собой Мережковский. Тем более что литература осиротела и обездомела. Мережковский, никого не спросив, не имея на то подлинного веса, держал себя именно так: корифеем. Ему много помогала в этом жена и верная спутница, известная поэтесса Зинаида Гиппиус. Мережковские — так называли их вместе; во всех литературных событиях, судьбах, историях они выступали слаженно и остро, дополняя и опережая друг друга. Его любимыми темами были Возрождение, христианство, Христос и Антихрист, кажется, Дмитрий Сергеевич Мережковский помнил еженощно, что родился в один день с Наполеоном, и мнил себя создателем новой веры, религии, которая соединила бы в одно антично-языческое и христианское. Не исторически, не фи-

лософски, но художественно возмечтал он соединить эпохи, ступени развития человеческого духа и написал трилогию: романы «Гибель богов. Юлиан Отступник» (о первых христианах, гибели языческой веры), «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (об эпохе Возрождения) и «Антихрист. Петр и Алексей». По Мережковскому, весь путь человечества, вся история есть борьба Бога (Христа) с дьяволом, и он, великий автор, выбрал главные точки их схваток. Его перу принадлежат еще пьесы: «Павел I», «Царевич Алексей», романы «Александр I» и «14 декабря»; немалую славу принесли Мережковскому его статьи, в частности «Грядущий хам» (1906) — о том, что революция несет царство серости, хамства, обывательщины, мещанства, — словом, все той же чертовщины, бесовщины. Декадент Мережковский провозглашал, что сегодня в мировом искусстве правят и главенствуют мистическое содержание, символы и художественная выразительность — взамен пошлого, утилитарного реализма и тенденциозности. «Русские декаденты, — говорил он, — первые русские европейцы, носители всемирной культуры».

Начав с В. В. Розанова, хочу обратиться к еще одной его статье о Мережковском. Резкой, язвительной, выделившей некоторые основные и типичные черты Дмитрия Сергеевича. Речь идет о его пристрастии к чужому, иноязычному, западному и связи с исконно-русским.

Например:

«У него был чисто отвлеченный, как у Мериме, восторг к Пушкину, удивление перед Петром; но ничего другого, никакой другой более конкретной и осязаемой связи с Россией не было. Заглавие его книжки “Вечные спутники”, где он говорит о Плинии, Кальдероне, Пушкине, Флобере, хорошо выражает его психологию как человека, дружившего в мире и истории только с несколькими ослепительными точками всемирного развития, но не дружившего ни с миром, ни с человечеством. Он был глубокий индивидуалист и субъективист, без всякого ведения и без всякой привязанности к глыбам человечества, народностям и царствам, верам, обособленным культурам. Ничего “обособленного” в нем самом не было: это был человек без всякой **собственности** в мире, и это составило глубоко жалкую в нем черту, какую-то грустную и слабую, хотя сам он ее в себе не замечал. Все потом совершилось непосредственно: сейчас я его знаю как человека, который ни в одном народе, кроме русского, не видит уже интереса, занимательности, содержания. У него есть чисто детский восторг к русскому “мужику”, совершенно как у Степана Трофимыча из “Бесов” Достоевского, где-то заблудившегося и читающего с книгоношею Евангелие мужикам.

...Что Запад! — там уже все изверилось; Россия — вот новая страна веры! Петербург с его позитивизмом и общественными вопросами — это отрывок Запада; но коренная Россия, но эти бабы и мужики на керженце, с их легендами, эти сосновые леса, где едешь-едешь и вдруг видишь иконку на дереве, как древнюю нимфу в лесах Эллады: эта Россия есть мир будущего, нового, воскресшего Христа, примирения нимф и окрыленного Иоанна, эллинизма и христианства, Христа и Диониса. Ницше был не прав, их разделяя и противопоставляя: возможно их объединение!»

Очень яркие страницы о Мережковских есть в воспоминаниях Андрея Белого (Бориса Бугаева): «Первые дни в Петербурге меня отделили от Блоков: вихрь слов: Мережковские! Сыпались удары репрессий, после чего электричество гасло на Невском; аресты, аресты; кого-то из левых писателей били; я левел не по дням, а по часам; Мережковскому передавали из “сфер”, что его арестуют; он каждую ночь, ожидая полицию, передавал документы и деньги жене.

С ней общенье, как вспых сена в засуху: брос афоризмов в каминные угли; порою, рассыпавши великолепные золото-красные волосы, падавшие до пят, она их расчесывала; в зубы — шпильки; бросалась в меня яркой фразой, огнем хризолитовых ярких глазищ; вместо щек, носа, лобика — волосы, криво-красные губы да два колеса — не два глаза.

Вот и прическа готова: комочек с козетки, в колени вдавив подбородок, кашает лорнеткой, лобуется пырсню ее инкрустации; белая, с черным крестом, в

красном фоне обоев, в розовато-рыжеватых мельканиях каминного света, как в бабочках. Я, с кочергой,— при камине: на маленьком пуфике; красная горсть — в черно-пепельных кольцах:

“Смотрите-ка: угли точно свернувшийся злой, золотой леопард!”

“Подложите поленья; уж вы тут заведуйте!”

Ведаю: вспыхнули!

В безответственных разговорах она интересна была; в безответственных разговорах я с ней отдыхал: от тяжелой нагрузки взопресть с Мережковским; она, “ночной житель”, утилизировала меня, зазававши в гостиную по возвращении от Блоков (к 12 ночи); мы разбалтывались; она разбалтывала меня; и писала шуточные пируэты, перебирая знакомых своих и моих; держала при себе до трех-четырёх часов ночи: под сафировым дымком папироски, раскрытым лаписто (это она приучала меня курить); мы, бывало, витийствуем о цветовых восприятиях; что есть “красное”, что есть “пурпурное”! Она, бывало, отдается мистике чисел: что есть один, два, три, четыре? В чем грех плоти? В чем — святость ее? И дает свою записную изысканно переплетенную книжечку: “Вот: вы впишите в нее свою мысль о цветах: мне на память... Как, как?.. Дневников не ведете?..”

Она подарила мне книжечку: «Вот вам, записывайте свои мысли... А чтобы поваднее было, я вам запишу для начала... У Дмитрия, Димы,— такие же книжечки: друг другу вписываем мы свои мысли...»

Но — тук-тук: в стену; и — глухие картавые рывки:

“Да Зина же,— Борю пусти... Ведь четвертый час... Вы мне спать не даете!”

И — топ: шамки туфель; в открытых дверях — всосы щек и напуки глаз недетого маленького Мережковского:

“Мочи нет... Тише же!”

И он — проваливается в темноту; и опять — за стеною колотятся.

Он — нас не одобрял: не серьезные темы! З. Н. провоцировала меня к шаржам; я редко острил — от себя: от чужой остроты я взлетал до абсурдов; и Гиппиус, зная тогдашнюю слабость мою, меня усыкала темой смешливой; вытягивала свою нижнюю, злую губу, подавая дымок, из нее вылетающий, шурилась, брысь ресницами; и — представлялась простячкой:

“Вам З., Боря, нравится?” — “Нравится”.

“Ну, а по-моему,— она назойлива...” — “Может быть”.

“Помните, к вам приставала, как муха?..” — “Пожалуй что муха...”

З. Н. кошкою дикою вцепится, даже подпрыгнет с козетки, готовая ведьмой с дымами в трубу пролетать: “Ну, ну, муха же? Всякие мухи бывают; а вы, вы подумайте: муха — какая?.. Не шпанская же”. Увлеченный сравнениями с мухами, бацано трудолюбиво: “Она — песья муха!”

И — кончено: через три дня ею будет передано с видом девочки глупой: по адресу: “А Боря о вас говорил, что вы... — в синий дымок с наслаждением злым,— песья муха...”

Всю жизнь она ссорила; после она... клеветала, что А. Ф. Кони проданся-де советской власти за сахар, а А. — за ботинки.

.....

“Как же вам, Зина, не стыдно!”

“Не я же говорила, а — вы: я же только передала правду”.

Мне в 1905 году было лишь 24 года; потребности в резвости я изживал — в шутках и в жестах нелепейших; но не “разыграешься” при Мережковском; она же любила приигрывать: ко мне; и наш разговор закипал, как кофейник...

Ночь: четыре часа; вьюга хлещет, бывало, в открытые окна ее малой спаленки (спала с открытым окошком): “Проснись — в волосах моих снег; стряхну ничего; коль не окна — мне смерть; я ведь туберкулезная...” Утром (от часу до двух) из “ледовни” своей проходила в горячую ванну; жила таким способом: десятилетия!

Дмитрий Сергеевич — оранжерейный, утонченный “попик”, воздвигший молеленку среди духов туберозы, гаванских сигар; видом — постник: всос щек,

строго-выпуклые, водянистые очи; душою — чиновник, а духом — капризник и чувственник; субъективист — до мизинца; кричал он об общине, а падал в обмороки от звонков, проносясь в кабинет, — от поклонников, сбывши их Гиппиус; отпрепарировав, взяв за ручку их, Гиппиус вела в кабинетище:

“Дмитрий!”

А он выходил и обнюхивал новых своих поклонников, скороговоркой рывкая в тысячный раз, в миллионный: “Вы — наши, мы — ваши; ваш опыт — наш опыт!” Он слушал не ухом, а порами кожи; показывал белые зубы и напоминал Блоку маску ослабленного арлекина, обросшего шерстью до... бледно-зеленой скулы; сядет слушать; и — бьет по коленке рукой; не дослушав, загнет трехколенчатым, великолепно скругленным периодом; хлопнет, как пробка бутылочная, почти механически:

“Бездна: бог — зверь!”

И, пуча око, ушмякивает в свой кабинет — превосходный, огромный, прекрасно обставленный, как кабинет управляющего департаментом; стол: — двадцать пять Мережковских уложишь! “Священная” рукопись — еще раскрыта: его рукопись! Он пишет в день часа полтора: с половины одиннадцатого до полдня; бросал — при звуке полуденной пушки; весь день потом отдыхал; как ударит вдали Петропавловка — кладет перо... Вокруг “священного” его текста — квадратом разложены: карандаши, перья, ножницы, щипчики, пилочки, клей, пресс-папье, разрезалки, линейки, сигары: как выставка! Рукой касаться — ни-ни: сибаритище этот оскалится тигром; что было, когда раз, завертевшись, я сломал ему ножку от ломберного, утонченного столика; в эту минуту звонок: он!

“Как? Что? Мне сломали?.. Что делали?..”

“С Татой вертелись...”

“Как? Радели?”

“Помилуйте: попросту веселились!..”

“Радели, радели! Какой ужас, Боря!..”

Нас — выставил, а сам — захопнулся: холод, покой, тишина! Одиночество, блеск, аккуратность; коричнево-вспухшие, чувственные губы посасывали дорогую сигару, когда облаченный в коричневый свой пиджачок, перевязанный синим, опрятно затянутым галстуком, садился он в свое кресло; и девочкину волосатую ручку с сигарой на ручку кресла ронял, пуча очи в коричнево-серую стену и — праздно балдея...»

Андрей Белый, несомненно, посмеивается, едва не окарикатуривает могучего мэтра. Таков был его взгляд. Хотя, безусловно, убедительный.

Над Мережковским немало смеялись и иронизировали. Как и над Гиппиус. Вообще Дмитрий Сергеевич умел себя держать гигантом. Но суть была иная: много показного, пышного, ложного.

Мережковский был главою формальной школы, доказывал, что сама форма есть искусство, превыше содержания. Из всех современных течений — толстовства, марксизма, декадентства, пессимизма — Мережковский остановился на декадентстве. Плюс умение взять чужую мысль, чужое творчество, развитое как свое — таков был Мережковский. И надо было судьбе распорядиться так, чтобы свести несовместимое — Мережковского и Бунина, — с бунинской неприязнью к формализму, декадентству, западничеству, вообще позе и вычурности. Бунин даже как бы побаивался Мережковского, его напора, его важности, безапелляционности. Робел как-то.

В эмиграции Бунины и Мережковские много общались, почти дружно жили, например, вместе в одно лето в Висбадене — об этом есть в дневниках Буниных и воспоминаниях Веры Николаевны. Мережковский был далеко не глуп, знал толк в литературе, не мог не понимать высоты и значения Бунина, но... соперничество, ревность, отчуждение оставляли его непримиримым к Бунину.

Поскольку я уже так густо использую чужие воспоминания, нельзя не привести наиболее яркие страницы, написанные Ниной Берберовой:

«...Я помню ярко, как они вошли: раскрылась дверь, распахнулись обе половинки, и они вступили в комнату. За ними внесли два стула, и они сели. Госпо-

дину с бородкой, маленького роста, было на вид лет шестьдесят, рыжеватой даме — лет сорок пять. Но я не сразу узнала их. Вас. Ал. Маклаков, читавший свои воспоминания о Льве Толстом, остановился на полуслове, выждал, пока закрылись двери, потом продолжал. Все головы повернулись к вошедшим. Винавер (это было в большой гостиной Винаверов) привстал, затем опять сел. По всей гостиной прошло какое-то едва заметное движение. Кто они? — подумала я. На несколько минут какая-то почтительность повисла в воздухе. И вдруг что-то ударило меня ответом, когда я еще раз взглянула на него: прежде, чем узнать ее, узнала его, меня ввело в заблуждение то, что она выглядела так молодо, а ей ведь было в то время под шестьдесят! Это были Мережковские.

Положив ногу на ногу и закинув голову, слегка прикрывая веками свои близорукие глаза (ставшие к старости косыми), она играла лорнеткой, слушая Маклакова, который цветисто и уверенно продолжал свой рассказ. Она всегда любила розовый цвет, который “не шел” к ее темно-рыжим волосам, но у нее были свои критерии, и то, что в другой женщине могло бы показаться странным, у нее делалось частью ее самой. Шелковый, полупрозрачный шарф струился вокруг ее шеи, тяжелые волосы были уложены в сложную прическу. Худые маленькие ручки с ненакрашенными ногтями были сухи и безличны, ноги, которые она показывала, потому что всегда одевалась коротко, были стройны, как ноги молодой женщины прошлых времен. Бунин, смеясь, говорил, что у нее в комод лежат сорок пар розовых шелковых штанов и сорок розовых юбок висит в платяном шкафу. У нее были старые драгоценности, цепочки и подвески, и иногда (но не в тот первый вечер) она появлялась с длинной изумрудной слезой, висевшей на лбу на узкой цепочке между бровями. Она, несомненно, искусственно выработала в себе две внешние черты: спокойствие и женственность. Внутри она не была спокойна. И она не была женщиной.

Он был агрессивен и печален. В этом контрасте была его характерность. Он редко смеялся и даже улыбался не часто, а когда рассказывал смешные истории (например, как однажды в Луге у Карташева болел живот), то рассказывал их вполне серьезно. Что-то было в нем сухое и чистое, в его физическом облике; от него приятно пахло, какая-то телесная аккуратность и физическая легкость были ему свойственны, чувствовалось, что все вещи — от гребешка до карандаша — у него всегда чистые, и не потому, что он за ними следит, а потому, что ни к нему, ни к ним не пристают пылинки.

Гостиная Винаверов была одним из “салонов” русского литературного Парижа в 1925—1926 годах. (М. М. Винавер умер в 1926 году.) Огромная квартира их в лучшей части города напоминала старые петербургские квартиры — с коврами, канделябрами, роялем в гостиной и книгами в кабинете. На доклады приглашалось человек тридцать, и не только “знаменитых”, как Маклаков, Милюков, Мережковский, Бунин. Бывали и “подающие надежды”, молодежь из монпарнаских кафе, сотрудники понедельничной газеты “Звено”, которую издавал и редактировал Винавер. (Он, кроме того, издавал и редактировал в то время “Еврейскую трибуну” и был автором книги воспоминаний “Недавнее”.) Известный кадет, член партии Народной свободы и бывший думец, он с Милюковым как бы поделил русскую демократическую печать (ежедневную, газетную) — Милюков издавал и редактировал “Последние новости”, а Винавер — литературное приложение к газете.

После доклада гости переходили в столовую, где их ждал ужин. Зинаида Николаевна плохо видела и плохо слышала, и ее смех был ее защитой — она играла лорнеткой и улыбалась, иногда притворяясь более близорукой, чем была на самом деле, более глухой, иногда переспрашивая что-нибудь, прекрасно ею понятное. Между нею и внешним миром происходила постоянная борьба-игра.

...Они жили в своей дореволюционной квартире, это значит, что, выехав из советской России в 1919 году и приехав в Париж, они отперли дверь квартиры своим ключом и нашли все на месте: книги, посуду, белье. У них не было чувства бездомности, которое так остро было у Бунина и у других. В первые годы, когда я еще их не знала, они бывали во французских литературных кругах,

встречались с людьми своего поколения (сходившего во Францию на нет), с Ренье, с Бурже, с Франсом.

— Потом мы им всем надоели,— говорил Дмитрий Сергеевич,— и они нас перестали приглашать.

— Потому что ты так бестактно ругал большевиков,— говорила она своим капризным скрипучим голосом,— а им всегда так хотелось их любить.

— Да, я лез к ним со своими жалобами и пхохочествами (он картавил), а им хотелось совсем другого: они находили, что русская революция ужасно интересный опыт, в экзотической стране, и их не касается...»

Свидетельства современников пристрастны, но конкретны и хороши своей документальностью. Вот странички из дневника Корнея Ивановича Чуковского первых лет революции, когда Чуковский был близок к Горькому, Луначарскому, много хлопотал о писателях, много помогал:

«...Зин. Гиппиус написала мне милое письмо, приглашая придти недели две назад. Пришел днем. Дмитрий Сергеевич — согнутый дугою, неискреннее участие во мне — и просьба: свести его с Лунач.! Вот люди! Ругали меня на всех перекрестках за мой якобы большевизм, а сами только и ждут, как бы к большевизму примазаться. Не могу ли я достать им письмо к Лордкипанидзе? Не могу ли достать им бумагу — охрану от уплотнения квартир? Не могу ли достать и устроить, чтобы правительство купило у него право на воспроизведение в кино его “Павла”, “Александра” и т. д. Я устроил ему все, о чем он просил, потратив на это два дня. И уверен, что чуть только дело большевиков прогорит — Мережк. первые будут клеветать на меня.

...19 июля 1919 г. ...Был сегодня у Мережковского. Он повел меня в темную комнату, посадил на диванчик и сказал:

— Надо послать Луначарскому телеграмму о том, что Мережковский умирает с голоду. Требуется, чтобы у него купили сочинения. Деньги нужны до зарезу.

Между тем не прошло и двух недель, как я дал Мережковскому пятьдесят шесть тысяч, полученных им от большевиков за “Александра”, да двадцать пять тысяч, полученных З. Н. Гиппиус. Итого 76 тысяч эти люди получили две недели назад. И теперь он готов унижаться и симулировать бедность, чтобы выцарапать еще тысяч сто...»

Это лишь малая толика из того, что думал и писал далее Корней Иванович о Мережковских — прямо сказать, мало их любил...

О жизни Мережковских в Советской России пришлось бы говорить слишком много — ограничимся свидетельством человека, который был одной из центральных и популярных фигур в послереволюционной литературной жизни.

«Из его писаний за время эмиграции все умерло — от “Царства Антихриста” до “Паскаля” (и “Лютера”, который, кажется, еще и не издан). Живое только то, что написано им было до 1920 года... Из стихов его и десятка нельзя отобрать, но все-таки это был человек, которого забыть невозможно. “Эстетикой” он не интересовался, и “эстетика” отплатила ему: новое искусство с его сложным мастерством и магией ему оказалось недоступно...»

Это последнее замечание кажется довольно странным, но тем не менее, похоже, оно верно: одно дело провозглашать, теоретизировать, другое — исполнять свои идеи самому.

«В З. Н. тоже не чувствовалось желания разрешать в поэзии формальные задачи, она была очень далека от понимания роли слова в словесном искусстве, но она по крайней мере имела некоторые критерии, имела вкус, ценила сложность и изысканность в осуществлении формальных целей. Русский символизм жил недолго, всего каких-нибудь тридцать пять лет, а русские символисты и того меньше. Бальмонт был поэтом пятнадцать лет, Брюсов — двадцать, Блок — восемнадцать — люди короткого цветения. В Гиппиус сейчас мне видна все та же невозможность эволюции, какая была видна в ее современниках, то же ока-

менение, глухота к динамике своего времени, непрерывный культ собственной молодости, которая становилась зенитом жизни, что и неестественно, и печально, и говорит об омертвлении человека...

...Она сказала мне после его смерти, что они не расставались никогда и пятьдесят два года были вместе, и на мой вопрос, есть ли у нее от него письма, ответила: — Какие же могут быть письма, если не расставались ни на один день?.. И потом пошла на убыль ее умственная сила. В 1944 году она призналась мне, что ничего не понимает в событиях, и чувствовалось, что уже ничего не надо объяснять, все равно ничего не дойдет до нее. Она много и часто кричала по ночам, звала его, мучилась приближением смерти и вся высохла, стала еще хуже видеть и слышать и нянчилась со своей полупарализованной рукой. А когда, маленькая и сморщенная, лежала в гробу, кое-кто из пришедших на панихиду переглядывался и говорил:

— Прости Господи, злая была старушечья».

Грустная тоже судьба, что скажешь!..

Но теперь о другом. Далеко не глупая женщина и литератор, Нина Берберова, знавшая толк в людях и искусстве, как-то интуитивно, неспроста, почти впрямую соединила Мережковских с Буниным: «Бунин бывал с ней — Гиппиус — настороже, но, конечно, ему редко удавалось победить ее в споре. Пленительная, старомодная примитивность Бунина забавляла ее и давала ей озорное желание спорить с ним в своем собственном ключе, потому что его — житейский, двухмерный, бытовой — ключ был ей смешон, а Д. С-чу скучен. Он так и говорил:

— Мне Бунин скучен.

Но она считала, что скучных людей вообще нет и что Бунин “забавен”, забавен для нее во всяком случае, потому что если его нельзя переубедить или переделать, то его, во всяком случае, можно удивить.

Как я любила его стиль в разговоре, напоминавший героя “Села Степанчикова” Фому Фомича Опискина: “Называйте меня просто ваше превосходительство”, и его крепкое рукопожатие, разговоры о “дворянских родинках”, “дворянских ушах” и вообще обо всем “дворянском” — я такого, конечно, не слышала никогда даже от дедушки Караулова! Здесь было что-то древнее, феодальное, а ему вместе с тем всегда хотелось быть с молодыми, быть самому молодым. Как я любила его рассказы (взятые готовыми из старых повестей) о собаках — муругих, брудастых, которые опсовели, которые заложились, полнопегие, подузды: о трактирах на главной орловской улице — поди, проверь их, вероятно, половина выдумана вот сейчас, на месте, а все вместе — чудо как хорошо!» Кстати, Берберова рассказывает такой эпизод: «Всем всего прощать невозможно, и когда Бунин, после чудесного дня, проведенного в Лонгшене (место под Парижем, где у меня... был деревенский дом в 1938—1948 годах...), когда после разговора, чтения вслух, долгого лежания в креслах на площадке между двумя маленькими домами, под миндальным деревом, и ласковых речей, вдруг за обедом он собирался понюхать жареного цыпленка, прежде чем начать его есть, я спокойно остановила его руку: я знала, что он это делает всегда — за ужином у Цетлиных, и в наилучшем парижском ресторане, и у себя дома.

— Нет,— сказала я,— Иван Алексеевич, у меня вы нюхать цыпленка не будете.— И твердо отвела его руку с куском цыпленка на вилке.

— Ай да женщина! — весело сказал он.— Не боится никого. Недаром “я близ Кавказа рождена” и т. д. Только как же не нюхать? Дворянин тухлятину есть не может.

— Здесь,— сказала я,— вам тухлятины не дадут.

И разговор перешел на другие темы.

Я думаю теперь, что грубость в словах, в поведении, грубость его интеллекта была отчасти прикрытием, камуфляжем и что он боялся мира и людей не менее остальных людей его поколения, и все его ч в а н с т в о,— а оно было в очень сильной степени, уже до революции, в Москве,— было его самозащитой...

Но, конечно, орловские вывески и полнопегие, опсовевшие псы ничего не говорили Д. С-чу. И неудивительно, что ему от всего этого бывало скучно».

Берберова пишет далее о манере Бунина провоцировать собеседника острым, часто фривольным рассказом с употреблением малоприличных слов: «Рассказывание подобных историй кончилось довольно скоро: после двух-трех раз, когда он произнес вслух и как-то особенно вкусно “непечатные” (впрочем, на всех языках, кроме русского, печатные) слова — он любил главным образом так называемые детские непечатные слова на г, на ж, на с и так далее, — после того, как два-три раза произнес их в моем присутствии и я не дрогнула, а приняла их так же просто, как и остальной его словарь, и после того, как сказала ему, как прекрасны его “Сны Чанга”, он совершенно перестал “рисоваться” передо мной, он понял, во-первых, меня не смутить таким простым способом и, во-вторых, что я ему не враг, а друг. Впрочем, не совсем друг.

— А стихи мои вам, конечно, не нравятся?

— Нет... нравятся... но гораздо меньше вашей прозы.

Это было его больное место, я тогда еще не знала этого.

...Характер у него был тяжелый, домашний деспотизм он переносил и в литературу. Он не то что раздражался или сердился, он приходил в бешенство и ярость, когда кто-нибудь говорил, что он похож на Толстого или Лермонтова, или еще какую-нибудь глупость. Но сам возражал на это большей нелепицей:

— Я — от Гоголя. Никто ничего не понимает. Я из Гоголя вышел.

Окружающие испуганно и неловко молчали. Часто бешенство его переходило внезапно в комизм, в этом была одна из милых его черт.

— Убью! Задую! Молчать! Из Гоголя я!

В такое бешенство, если не большее, приводили его разговоры о современном искусстве. Для него даже Роден был слишком “модерн”.

— Бальзак его — говно, — сказал он однажды. — Его потому-то голуби и обосрали.

И — острый взгляд в мою сторону...

— Что ж, для вас и Пруст лучше Гюго?

Я даже потерялась от неожиданности: какое же может быть сравнение?

— Пруст, скажите, лучше?

— Ну, Иван Алексеевич, ну конечно же? Он — величайший в нашем столетии.

— А я?

Г. Н. Кузнецова и я смеялись на это. Он любил смех, он любил всякую освободительную функцию организма и любил все то, что вокруг и около этой функции. Однажды в гастрономическом магазине он при мне выбирал балык. Было чудесно видеть, как загорелись его глаза, и одновременно было чуть стыдно приказчика и публики. Когда он много раз при мне говорил потом, что любит жизнь, что любит весну, что не может примириться с мыслью, что будут весны, а его не будет, что не все в жизни он испытал, не все запахи перенюхал, не всех женщин перелюбил (он, конечно, употребил другое слово), что есть еще на тихоокеанских островах одна порода женщин, которую он никогда не видел, я всегда вспоминала этот балык. И, пожалуй, насчет женщин я могу теперь сказать; это все были только слова, не так уж он беспокоился о них, а вот насчет балыка или гладкости и холености собственного тела — это было вполне серьезно.

...Будучи абсолютным и закоренелым атеистом (о чем я сама много раз слышала от него), он даже никогда не задавался вопросами религии и совершенно не умел мыслить абстрактно. Я уверена, что он был совершенно з е м н ы м человеком, конкретным цельным животным, способным создавать прекрасное в примитивных формах, готовых и уже существовавших до него, с удивительным чувством языка и при ограниченном воображении, с полным отсутствием пошлости. Какое количество пошлости было у так называемых русских реалистов начала нашего века! Примером могут служить не только Амфитеатров, Арцыбашев, Вересаев, но и Ал. Н. Толстой, ранние рассказы которого сейчас трудно и немножко противно перечитывать. Даже у Горького, позднего русского “викторианца”, можно найти пошлое, но не у Бунина. Никогда чувство вкуса не из-

меняло ему. И если бы он не опоздал родиться на тридцать лет, он был бы одним из наших великих нашего великого прошлого.

Я вижу его между Тургеневым и Чеховым, рожденным в году 40-м. Он сам сказал об этом гораздо позже, в 1950 году, в своих “Воспоминаниях”: “Слишком поздно родился. Родись я раньше, не таковы были бы мои воспоминания”.

Но в 1920-х годах ему нельзя было бы и намекнуть на это. Он не позволил бы не только в печати, но и лично заподозрить его в том, что он человек прошлого века. Однажды он пожаловался мне, что “молодые” его упрекают, что он ничего не пишет о любви... “Все, что я писал и пишу, — все о любви”, — сказал он.

...Всю жизнь Блок был для него раной, и весь символизм, мимо которого он прошел, чем-то противным, идиотским, ничтожным, к которому он был либо глух, либо просто враждебен. “Больших дураков не было со времени Гостомысла”, — говорил он и в “Воспоминаниях” сказал: “Во всей моей жизни пришлось мне иметь немало встреч с крестинами. Мне вообще была дана жизнь настолько необыкновенная, что я был современником даже и таких крестин, имена которых навеки останутся во всемирной истории”. Эти крестины для него были: Бальмонт, Сологуб, Вячеслав Иванов; стихи Гиппиус возбуждали в нем злую насмешку, Брюсов был коммунист, и его следовало повесить за одно это, Белый (от белой горячки) был опасный сумасшедший. Но главной “мерзостью” во всей этой компании был Блок, рахитик и дегенерат, умерший от сифилиса...

— И совсем он был не красивый, — однажды воскликнул Бунин, говоря о Блоке, — я был красивее его!

При этом Алданов заметил, что, вероятно, это так и было.

Хотя в “Воспоминаниях” он и сказал, что ему было суждено прожить жизнь среди пьяниц и идиотов, эта судьба его часто беспокоила. Он чувствовал, что что-то здесь не так, не то, и что он, может быть, остался за бортом чего-то, что важнее его книг. Какой-то зверь ел его внутри, и все более и более резкие суждения о современниках, все более злобные выкрики к концу жизни — устные и в печати — свидетельствовали о том, что он не мог забыть этих “идиотов и крестин”, что они неотступно мучили его всю жизнь и к старости сделались сильнее его, а он слабел и искал защиты в грубости. В небольшом зале Плейель, в 1948 году, он однажды устроил вечер чтения своих воспоминаний, позже вышедших книгой (в издательстве “Возрождение” и по старой орфографии!). И в тот момент, когда он, с наслаждением произнося каждое слово, доказывал, что Блок ничтожество, я подумала, что вот наступила минута (Берберова любила Блока и написала книгу о нем. — М. Р.), когда надо встать и выйти из зала, даже не хлопнув дверью... сделать это или продолжать слушать...)

Похоже, в своих рассуждениях Берберова хочет сказать, что Бунин ревновал и отчасти завидовал всем перечисленным «идиотам и крестинам»; это было его поколение, его сотоварищи по литературе, их бойкая, порой скандальная слава обгоняла бунинскую, он не был столь модным, «новым», не принадлежал к их компании, к их клану, — в литературной среде бывает такое размежевание, раздел на «компания», на принадлежность чаще всего какому-либо журналу или изданию, на группы единомышленников. «Свои», «наши», «они», «мы» — это присутствует в литературной борьбе, в практике, в критике, в быту.

Но все же Бунина вел свой ангел-хранитель, свой Бог: его индивидуальность, его гордыня были, думается, выше желаний к кому-то примкнуть. Он просто не мог слиться с кем-то — хотя бы с Горьким, с Мережковским.

Но вернемся к Мережковским.

Мне кажется интересным взять некоторые эпизоды из дневников Буниных, связанные с Мережковскими, — здесь особенно видно, как они двигались вместе, в одном потоке, ступали по одной реке, одной воде и, однако, по-разному.

«21 г. 20 янв./2февр.»

Утром к нам заходил Мережковский. Вел беседу о Христе: “Главное теперь нужно знать, какое у кого отношение к Христу”. Беспокоится, чем жить. Опять говорил о “Дневнике писателей” — редкий случай, такое множество писателей

в одном центре, непременно следует этим воспользоваться, а между тем все живут вразброд...»

«28 янв./11 февраля.

...Потом к нам пришли Мережковские и Ельяшевич. Толстой почему-то очень боится Мережковских. Все время нас останавливал, когда мы громко смеялись или что-либо возражали им. В нем есть что-то непонятное. Почему такой трепет перед ними? Они держатся просто и не требуют никаких привилегий по крайней мере в обращении.

Главная тема разговора — издание “Дневника писателя”».

«28 февр./13 марта.

...Вчера до 2-х дочитал “14 Декабря”. Взволновался, изменилось отношение к таланту Мережковского, хотя, думаю, это не он, а тема такая...»

«16/29 мая.

...Был перерыв, а после перерыва запел Мережковский, и пел он о вакханках, о Дионисе. Все это было интересно само по себе, но каждый говорил свое, а не на тему, на которую читал Шестов... За недостатком времени Мережковскому так и не удалось кончить...»

«25 мая/7 июня.

...Мережковские заботливо относятся к Яну, стараются устраивать переводы его книг на французском языке. Меня трогает это очень. Вообще репутация часто не соответствует действительности. Про Гиппиус говорили — зла, горда, умна, самомнительна. Кроме умна, все неверно, т. е., может быть, и зла, да не в той мере, не в том стиле, как об этом принято думать».

«2/15 августа.

День рождения Дм. Серг. В честь этого пили дорогие вина...

Вечером опять говорили о Блоке. Мережковский ставит Блока высоко, за то, что он “ощущал женское начало”. Далее он говорил: “Мы считаем Бога мужским началом. А ранее, во времена Атлантиды, Богом считали женское начало. И вот Блок ощущал это. Он знал тайну. Когда он входил, то я чувствовал за ним Прекрасную Даму”. Ян возразил: “Ну, да, вы это чувствовали, когда видели его. Но я его не видал, а по стихам я не чувствую этого”.

Дмитрий Сергеевич стал смеяться, по-волчьи скалиться, зеленый огонек блеснул в глазах.

— Мертвых нужно любить, ласкать.

— А Ленина? — спросила я.

— Ленина? Нет, — ответил Дм. С.

— Но ведь это не по-христиански, — заметила я.

— Нет, и в христианстве говорят о тьме кромешной и геенне огненной, — объяснил Дм. С.».

«22 авг./4 сентября.

...Вечером Ян и З. Н. долго спорили о Толстом и Достоевском. Они спорили хорошо, давали друг другу говорить. Ян доказывал, что у Толстого такие же глубины, как у Достоевского, и что он тоже всего касался. З. Н. утверждала, что Толстой гармоничен, а Достоевский нет и потому Достоевский сумел коснуться тех темных сторон человека, которых Толстой не касался, и привела пример шигалевщины. Ян говорил, что Толстой всегда думал о смерти, а Достоевский нигде не писал о ней. З. Н. возразила на это, что Достоевский как бы перешагнул смерть и думал о том, что дальше, пример: Зосима. Затем З. Н. доказывала, что Толстой, отрицая государство, не дал форму, тогда как Достоевский дал, сказав, что государство должно превратиться в церковь. Ян временами очень хорошо говорил, он возражал и на гармоничность Толстого, приводя в пример отношение его к половому вопросу (Дьявол, Крейцерова Соната и т. д.). Наконец, вошел Дм. С. и прервал спор...»

«27 авг./9 сент.

...Часто Мережковские ссорятся и, невзирая на присутствие нас, бранят друг друга резкими словами. А как-то З. Н. сказала Дм. С.: “Твоя хлестаковская слава продолжает всех обманывать”. Она в дурном настроении, потому что она

здесь почти не пишет, а Мережковскому *омажи**, особенно со стороны немцев. Ей это, видимо, неприятно...»

«7 июня.

...У Розенталья я застала Куприных... Наконец, последними являются Мережковские. З. Н. элегантна до последней возможности, вся в черном. На плечи наброшена легкая пелеринка-плиссе. Прозрачная шляпа. Дорогие перчатки. Откуда у них столько денег, чтобы тратить столько на туалеты?.. Розенталь жалел, что с нами нет Яна... Много говорил Мережковский о необходимости борьбы, о том, что если большевики не падут, то эта зараза пойдет и на Европу...»

«1 сентября 1922 года.

...Многие говорят, что у Мережковских большое умственное напряжение. Я его не ощущаю. Д. С. чаще всего говорит о деньгах, об еде и т. п., а З. Н., правда, спорить любит, но это любовь спортивная, а не для выяснения истины. Сегодня она говорит Яну: “Вот вы всех в одну кучу валите — Блока, Кусикова и так далее”. — “Бог с вами, — возражает Ян, — вы как на мертвого. Я всегда выделял и выделяю Блока, всегда говорю, что Блок сделан из настоящего теста”. — “Нет, и Блока вы так же настойчиво ругаете, — говорит З. Н., не слушая, — как и Кусикова. А по-моему, с Кусиковым нужно бороться как с вонью”. — “Да, Блок опаснее Кусикова, — продолжает Ян, — ибо Кусиков погибнет, а Блок много еще вреда принесет”.

В своей половине мы продолжили разговор.

Ян: Как к З. Н. ничего не прилипает.

Я: А как ты не понимаешь, что Кусиковы — ее порождение?

Ян: Правда, она много всякой дряни породила.

Я: Да, бабушка русской большевительской поэзии.

Ян: Вот я скажу ей это.

Я: Она обидится.

Ян: Нисколько, ей это будет лестно».

«31 авг./13 сентября.

...За обедом З. Н. сказала: “Бунин занимает меня”, — и сказала это, как бы вслух свою мысль... Пришел Ян и сказал: “Меня трогает Дм. С. вот уже два вечера. Он говорит: нет у меня земли, то есть не только нет России, но я чувствую, как вся земля уходит из-под моих ног. Нет, — прибавил Ян, — он не плохой человек! А она — злая. Как она сегодня за завтраком была ко мне зло настроена...”»

Весьма трудно представить, чтобы сам Бунин испытывал бы нечто подобное насчет земли. Он по-иному думал и чувствовал, был земным, землянином, дух его был здоров и светел. Вспоминается одно из лучших его стихотворений:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

Еще кое-что из дневника Буниных.

«20 сент./3 окт. 22 г. Шато Нуаре, Амбуаз.

...В Берлине опять неистовство перед “Художественным театром”. И началось это неистовство еще в прошлом столетии. Вся Россия провалилась с тех пор в тартары, — нам и горяшка мало, мы все те же восторженные кретины, все те же бешеные ценители искусства. А театр-то, в сущности, с большой дозой пошлости, каким он и всегда был. И опять “На дне” и “Вишневый сад”. И никому-

* *Homage (фр.)* — воздавать должное.

то даже в голову не приходит, что этот “Сад” — самое плохое произведение Чехова, олеография, а “На дне” — верх стоеросовой примитивности, произведение семинариста или самоучки и что играть вообще теперь Горького, если бы он был даже семи пядей во лбу, верх бесстыдства. Ну, актеры уж известная сволочь в политическом смысле. А как не стыдно публике?»

«9/22 окт.

...В газетах пишут: “От холода и голода в России — паралич воли, вялость, уныние, навязчивые идеи, навязчивый страх умереть с голоду, быть убитым, ограбленным, распад высших чувств, животный эгоизм, мания запасаться, прятать и т. д.”. Тот, кто называется “поэт”, должен быть чувствуем, как человек, редкий по уму, вкусу, стремлениям и т. д. Только в этом случае я могу слушать его интимное, любовное и проч. На что же мне нужны изливания души дурака, плебея, лакея, даже физически представляющегося мне противным? Вообще раз писатель сделал так, что потерял мое уважение, что я ему не верю, — он пропал для меня. И это делают иногда две-три строки...»

«10/23 окт.

День моего рождения. 52. И уже не особенно чувствую ужас этого. Стал привыкать, притупился. День чудесный. Ходил в парк. Солнечно, с шумом деревьев. Шел вверх, в озарении желто-красной листвы, шумящей под ногой. И как в Глотове — щеглы, их звенящий щебет. Что за очаровательное создание! Нарядное, с красненьким, веселое, легкое, беззаботное. И этот порхающий полет. Падает, сложив крылышки, летит без них и опять распускает. В спальне моей тоже прелестно и по-нашему, по-помещичьи...»

«14 ноября, вторник.

...Вчера были в Петербургском землячестве. Народу было много, теснота, бестолковость... З. Н. была очень интересна. Прочла три стихотворения. В одном месте ошиблась, сделала вид, что смутилась. Зато Д. С. говорил свободно, слушать было приятно, хотя, как всегда, мысль одна очень верная, а рядом парадокс. Время от времени раздавалось: “довольно!” — это З. Н. вмешивалась, вероятно, на правах жены. Тогда публика начинала протестовать и просить Д. С. продолжать. Бальмонт сидел со злым лицом. Прочел трое стихов, длинных, однообразных и скучных... Сказал слово и Куприн. Просто, симпатично, тепло. Словом, каждый остался верен себе: Гиппиус в стихах еще раз возвестила, что она пророчица. Мережковский сыпал парадоксами и тоже ввернул, что он пророк. Бальмонт истекал рифмами. А “Папочка” (Куприн) кротко призывал всех к любви».

«20 ноября, понедельник.

...Зашел Куприн. Можно венчаться в пятницу. Говеть не нужно. Это меня немного огорчило. И даже стало жутко, точно Бог еще не хочет допустить меня до причастия... Уговаривал пригласить певчих, но Ян ни за что: “И так стыдно”».

«11/24 ноября, пятница.

...Сегодня мы венчались. Полутемный пустой храм, редкие, тонкие восковые свечи, красные на цепочках лампы... весь чин венчания, красота слов, наконец, пение шаферов (певчих не было) вместе со священником и псаломщиком... чувствовала, что совершается т а и н с т в о ... Было лишь грустно, что все близкие далеко. По окончании венчания все были растроганы, взволнованы и... Вся служба напоминала нечто древнее, точно все происходило в катакомбах... Из церкви поехали домой... Меню: семга, селедка, ревельские кильки, домашняя водка, жареные почки и курица с картофелем, 2 бутылки вина, мандарины, чай с грушевым вареньем, которое превратилось почти в карамель. Ал. Ив. (Куприн) ласково упрекал Яна, что он мало приготовил водки...»

«6 декабря.

...Письмо от Шмелева, которое трудно читать без слез:

“Дорогой Иван Алексеевич, после долгих хлопот и колебаний, — ибо без определенных целей, как пушинка в ветре, проходим мы с женою жизнь, — пристали мы в Берлине 13-го (н. ст.) ноября. Почему в Берлине? Для каких целей? Неизвестно. Где ни быть — все равно. Могли бы и в Персию, и в Японию, и в Па-

тагонию. Когда душа мертва, а жизнь только известное состояние тел наших, тогда все равно. Могли бы уехать обратно хоть завтра. Мертвому все равно — колом или поленом. 1/4 остается надежды, что наш мальчик каким-нибудь чудом спасся... Но это невероятно... Всего не напишешь... осталось во мне живое нечто — наша литература, и в ней — Вы, дорогой, теперь только Вы, от кого я корыстно жду наслаждения силою и красотой родного слова, что может и дает толчки к творчеству, что может заставить принять жизнь, жизнь для работы...

Внутреннее мое говорит, что недуг точит и точит, но Россия страна особливая, и ее народ может еще долго-долго сжиматься, обуваться в лапти и есть траву. Думать не хочется. Москва живет все же, шумит бумажными миллиардами, ворует, жрет, не глядит в завтрашний день, ни во что не верит и оголяется духовно. Жизнь шумного становища, ненужного и случайного. В России опять голод местами, а Москва живет, ездит машинами, зияет пустырями, сияет Кузнецким, Петровкой и Тверской, где цены не пугают... жадное хайло — новую буржуазию. Нэп жиреет и ширится, бухнет, собирает золото про запас, блядлив, и пуглив, и нахален, когда можно. Думаю, что радует глаза “товарищам” и соблазняет. Зреет язва, пока еще не закрытая. А что будет — не скажет никто. Литература — случайна, пустопорожна, лишена органичности, не имеет лица, некультурна, мелка, сера, скучна, ни единого проблеска духовного. Будто выжжено, вытравлено все в жизни, и ей не у чего обвиться, привиться...”

Теперь Манухин уже за то, чтобы Яну дали Нобелевскую премию. А летом уговаривал меня, чтобы я склонила Яна отказаться от премии в пользу Мережковского. А когда Мережковский получит — он поделится. И был очень недоволен, когда я возражала, что, кроме денег, есть кое-что другое, что заставляет желать получить премию. Ян сказал ему, что Ромен Роллан выставил его кандидатуру в Стокгольме. Он очень оживился, стал строить всякие проекты, словом, впечатление такое, что мы самые близкие друзья. А я боюсь таких людей. Сегодня друг, завтра враг...»

«28.XI/11.XII/22 г.

...У Денисовой, потом обедал у Фондаминских. Опять спор, как отнестись к Блоку, Белому. Мережковские: “Это заблудшие дети”. Да, да, блудить разрешается, но только влево. Вот Чехову 20 лет не могли забыть, что он печатался в “Нов. Вр.”.

Кафедру русской литературы предлагают мне чехи. Откажусь».

«18 декабря.

...Встреча с “художественниками” удалась как нельзя лучше. Все было хорошо, если не считать того, что Бальмонт напился и дважды сказал бестактную речь — сначала на тему, что он первый создал “Чайку”, а потом что-то насчет актера.

В театре было очень хорошо. Москвин, действительно, талантлив. Ян даже плакал, конечно, и вся Русь старая, древняя наша сильно разволновала его. Народу было битком полно...

Приехали мы к Цетлиным одни из первых... Когда приехали все артисты, хозяйка пригласила к столу. Качалов не приехал... Напротив Станиславский, А. В. Цетлин, Вишневский... Блистала красотой Надежда Григорьевна Высоцкая. Книппер часто подходила к нам, шутила с Яном. Вообще все артисты были очень любезны с нашим столом... Говорились речи и все на тему, что Художественный театр выше всего, а их главная заслуга — что его сохранили...

Куприн говорил речь и был в благостном настроении.

Потом стали уговаривать ехать в Халь, есть луковый суп. Станиславский сказал, что поедет только в том случае, если поедем мы. Поехали: Станиславский, Гончарова, Ларионов, Книппер, Москвин, Маршак, еще кто-то и мы. Мы сели в такси со Станиславским, Гончаровой, Ларионовым и отбились от прочих. Долго бродили по пробуждающемуся Халю, смотрели на привозимые продукты. Наконец, нашли в каком-то ресторанчике остальных. Было душно, дымно и шумно... Танцевали. Станиславский все держался Яна, уговаривал писать для них пьесу...»

Здесь требуется некоторое отступление. Как писалось в старых романах, пока герои танцуют и едят свой луковый суп, расскажем, как Иван Алексеевич хоть и иронизировал над мхатовцами, сам был однажды связан с ними как автор. Не так давно, кстати. Тесно познакомился и подружился еще в 1900 году, в Ялте, когда театр приехал к Чехову и туда же собрались почти все известные тогда писатели: Горький, Куприн, Бунин. Уже тогда, слушая, как Бунин читает чеховские рассказы, Станиславский говорил, что готов его взять в труппу. Всерьез же сошлись в 1907 году — В. И. Немирович-Данченко придумал: в один вечер поставить «Саломею» Уайльда и «Каина» Байрона в переводе Бунина (кстати, обе пьесы наши театры стали ставить и сегодня). Идея прямо ложилась на новые постановочные замыслы Станиславского, и он отозвался, — взялся за «Каина», разработав с художником-скульптором Андреевым гигантскую декорацию. Так Бунин, всю жизнь мало, как уже говорилось, любивший театр, сошелся с мхатовцами вплотную. В книге «Моя жизнь в искусстве» есть целая глава о «Каине». Тогда, в 1907 году, Синод запретил пьесу к постановке. Премьера «Каина» состоялась во МХАТе только в апреле 1920 года, но, к сожалению, автор перевода покинул Россию чуть раньше, в январе 20-го. В 1912 году на праздновании 25-летней деятельности Бунина Станиславский с чистым сердцем преподнес юбиляру золотой жетон с изображением «Чайки» — как потенциальному автору и даже едва не состоявшемуся актеру МХАТа: была идея дать Бунину роль Гамлета, когда ставили пьесу Шекспира, — очень подходил, по мнению режиссуры.

Д. С. Мережковский тоже имел свою «мхатовскую» историю: еще в 1911 году Станиславский думал об инсценировке романа «Петр и Алексей», позже театр заинтересовала пьеса «Павел I», еще позже — историческая драма «Романтики». При своей амбициозности и важности Д. С. не мог сблизиться с артистической братией так, как это получалось у Бунина, умевшего быть с друзьями — через Чехова — весьма обаятельным, веселым, не зря Чехов дразнил его «маркизом Букишоном».

Однако вернемся к рассказу Веры Николаевны:

«...просидели мы, что называется, до поздней обедни. Ехали обратно через пустынный Париж, завезли Станиславского, домой попали в десятом часу утра. Впечатление от Станиславского очень хорошее, хотя он ставит театр выше России. В этом и разногласие наше... Ему пришлось многое пережить, его выселили из квартиры, Бог знает куда. Сын его в это время простудился и схватил туберкулез. Теперь они уезжают в Америку».

«26/13 декабря».

...Получили билеты на вечер Художественного театра в каком-то частном доме... Зала небольшая, набита до отказа. Читают актеры и актрисы. И странно — художественники читают плохо... Хорош был только Москвин.

После вечера хозяйка пригласила ужинать... С нами сидела Книппер... она жаловалась на усталость, т. к. всю прошлую ночь они пьянствовали у Моло, где среди гостей был и Борис Владимирович, Великий Князь. “Все смешалось в доме Облонских”. Говорят, Москвин был в ударе и много пел.

За ужином я сидела с Милюковым, который был очень любезен... Речей не было, по уговору, но вдруг, уже почти в конце ужина поднимается изящная фигура Качалова, томно становится у колонны и начинает читать “Солнце” Маяковского. Милюков говорит: “Я думал, что Маяковский совсем не умеет писать, а теперь вижу, что он поэт”. Когда Качалов кончил под аплодисменты ошалевших эмигрантов и стало тихо, Ян громко сказал: “Поедем, а то, пожалуй, еще будут читать и ленинские речи”. Мы уехали.

Дорогой обсуждали, почему Качалов без всякой просьбы стал читать стихи именно Маяковского, т. е. одного из самых большевистских стихотворцев? Решили, что он боится своего белогвардейского прошлого и старается...

Между прочим, рассказывают, что против театра, где играет “Художественный”, есть ресторанчик, где сидят статисты театра и ведут пропаганду, что-

бы возвращались в Россию. Конечно, с группой приехало много переодетых большевиков, которые следят за актерами...»

Господи — хочется воскликнуть сегодня, — да что ж за несчастный народ! И там, и тогда, — уже под страхом, под сыском, хотя вроде так далеко Лубянка! Далеко-то далеко, а щупальца длинные, всепроникающие!..

«1 янв. (н. ст.) 23 г.

Новый год Франц. мы встретили на мосту Александра III, возвращались от Карташевых пешком... Нам показалось это замечательным... Ян сказал: “Может быть, мы вернемся в этом году?..”

Бедняга Бунин, не оставляет, точит его одна мысль: всё о России, всё как бы вернуться!..

«...8 января.

...Пришел интервьюер... Ян: “...Оттого, что я был в оппозиции, не значит, что я не искал. Я за органичность в искусстве. Если я талантлив, то я скажу новое. Зачем же кричать: Я новый! Я не похож на прежних! Я ни на кого не похож! Кто же начинал без подражания! Я нашел через некоторое время себя, свою музыку... “Деревня” — реализм, “Господин из Сан-Франциско” — симфоничен. Появилось в Советской России большое количество пролетарских писателей и поэтов. Есенин — сознательный хулиган... Маяковской тоже натура грубая...”

Запись Бунина: «...1/14 янв. 1923.

Новый год встречали у кн. Пл. Ник. Аргутинского. Нувель, Зилотти. Позднее художник Пикассо с женой, которая по происхожд. русская. Маленький, довольно простонародного склада...»

«27 янв.

...Были у Цетлиных. Интересный разговор о поэтах, почему поэт должен быть консервативным, должен быть порождением быта. Ян развивал свою теорию о воспоминаниях, о наследственности, об органичности в поэзии... Шмелев сначала был как бы задет, но затем, когда Ян объяснил, что он говорит о духовности в наследстве, то согласился. Ян говорил: “Вот и ваш талант объясняется, м. б., тем, что предки ваши были староверы, жили духовно, боролись из-за веры. Тут уже начинается культура”. Шмелев говорил, что он думал о влиянии на литературу церкви, духовных служб, что они играли в жизни писателей большую роль...»

«17 июня.

..Приезд Мережковских. З. Н. пришла к нам очень оживленная и возбужденная, бросилась Яну на шею. Дм. С. в хорошем настроении. Дача им понравилась...»

«29 июня.

В 6 ч. приходят Мережковские. Выходим в сад. З. Н. говорит: “Нужно нам, писателям, определиться, что надо сделать для французов. А то они говорят — мы мистически настроенные люди и только. Падут большевики и что же? Будем мы поддерживать всякое правительство?” Дм. Серг. сказал, что он за религиозный фашизм. Это придумано хорошо. Ив. С. говорил долго и горячо. Он — белый. Он — монархист-консерватор с демократическим оттенком, но против четыреххвостки (тайное, пропорциональное, прямое, общее голосование) и т. д. Ян сказал, что он за Врангеля и Кутепова, т. е. что он думает, что только сильная военная власть может восстановить порядок, усмирить разбушевавшегося скота.

Потом говорили о том, что большевизм — это, действительно, рабоче-крестьянское правительство и что, конечно, большевики пришли навстречу русскому народу, не желавшему воевать и желавшему грабить...»

Читаешь и все удивляешься свойствам интеллигентных русских людей, русских писателей особенно, — кажется, все вместе одной дорогой бредут, одно горе мыкают, но какое же множество оттенков недружелюбия, неприязни, амбиций, споров и болтовни по пустякам; а не по пустякам, то какая бездна нехватки ума, разума, ясности и трезвости взгляда. Понятия о жизни, о происходящем вокруг и с ними самими до смешного наивны, детски, — вечная боязнь взглянуть

правде в глаза, легче напридумывать, замылить зрачки, все запутать — и непременно «образованность показать»: я, мол, лучше знаю. И как мало взаимопомощи, как мало любви к ближнему, христиане хреновы!..

Например: «*13 апреля 1924*. ...Собственно, как мы все легко пережили Россию — сидим, разговариваем о платяхх...»

«19 мая.

...Фондаминский: Вы говорите, мужик лентяй. Но он расковырял шестую часть земного шара. Никуда не годный народ, а создал лучшую литературу в мире, создал лучшее государство по могуществу, обработал большую часть земли.

Ян: Русский народ так же талантлив, как и всякий другой народ. Всякий народ талантлив по-своему. Русский мужик не любит ковырять на одном месте. Поковыряет — и идет дальше. Он не любит, не умеет обрабатывать.

Фондаминский: Никто так много не обработал земли, как русский мужик, однако. Это колоссальная заслуга перед культурой.

Ян: Какая там заслуга — бросил зерно в землю. Вот испанская культура пришла в Америку и создала кое-что. А у нас что?.. Здесь полмиллиона простых мужиков. Что они делают — прямо золотые руки.

Фондаминский: Франция скорее погибнет, чем Россия... Франция разлагается. Поговорите с французами... Русский пьяница, а душа крепкая. Пьяный, грозный, распутный, а душа есть. Потому и гунны пришли, что Рим разложился.

[По соседству, как и в прошлом году, должны были поселиться Мережковские. З. Н. Гиппиус в письме от 24 мая, между прочим, пишет Вере Николаевне:

Вижу, что жить
Нам предстоит отныне
На вилле Эвелине
С тарелками немытыми,
Со ставнями закрытыми
Да глаз на глаз с москитами.

...Стремлюсь вон из хаотического дома моего и жажду вас, вашей тишины, а москиты пусть их жрут, меня все равно осталось довольно мало, последняя испанка меня окончательно похудела и постарела... Если найдется домашняя баба — примусь писать два романа сразу, и пропади все.

До скорого свиданья. Скажите вашему богдыхану, чтобы ценил свое самодержавие, пока не приехала оппозиция. Когда она появляется, она всегда “подымает голову” (или “лапу”). В данном случае не приминет. Начнет с “запросов”... Может, тем и кончит, а все-таки прежней лафы нет”.]

Запись Бунина: «1 июня (н. с.) 24 г.

...Первые дни по приезде в Mont Fleuri страшно было: до чего же все то же, что в прошлом году!

Лежал, читал, потом посмотрел на Эстерель, на его хребты в солнечной дымке... Боже мой, ведь буквально, буквально все было это и при римлянах! Для этого Эстереля и еще тысячу лет ровно ничего, а для меня еще год долой со счета — истинный ужас...»

«9 сент. н. с. 24 г.

Ах, если бы перестать странствовать с квартиры на квартиру! Когда всю жизнь ведешь так, как я, особенно чувствуешь эту жизнь, это земное существование как временное пребывание на какой-то узловой станции...»

«Париж, 10 ноября.

...Пятый день в Париже. Понемногу видаем друзей и знакомых. Были на Бердяеве. Он нисколько не большевик, как кричал Дм. С. Мережковский. Бердяев говорил, что в России теперь почти нет нейтральных людей. Или большевики, или христиане. Предсказывал, что так же будет и в Европе. Говорил, что христиане будут в ближайшее время в меньшинстве, но важна сила веры, а не количество верующих».

«15 мая 1926 г.

...Сегодня за завтраком разговор коснулся литературы и Ян много говорил...

...От него перешло к А. Н. Белому, Ремизову и другим.

Илис считает, что все-таки они большие таланты, хотя и исковерканные. Ян стал оспаривать... Они очень жизнеспособные, но к искусству отношения не имеют. Это уже 40 лет продолжается. И Мережковский, и Гиппиус, и даже Розанов — все они не только потому так пишут, что их душа этого просит, а потому, что так надо, так модно. Эти ослы по нотам разыгрывают. Конечно, они способны выявлять все эти извивы, но этими извивами они и маскируют свои небольшие таланты. Вы посмотрите, что эту зиму разделявал Мережковский,— он, оказывается, великолепный актер — и ноги расставляет, и кривится, и шепотом говорит, и опять поднимает голос на каком-нибудь вечере “Звена”. И тут Ян хорошо изобразил Дм. С., то он бесом представится, то юродивым.— И все они как на людях, так говорят не по-людски, а как до практического дела — так начинают совершенно просто, без всяких завываний говорить. И так дурачат публику уже 30—40 лет. Но, конечно, они способнее тех, кто и этого не умеет делать, а между тем всем перверсным организмом своим жаждет всех этих изломов...»

«8 июля.

...Странно наблюдать писателей. Почти каждый считает себя выше всех или почти всех. А многих совершенно не приемлет. И как часто видишь, что они не понимают один другого...»

«11 июля.

...Степун пишет, что он с Кусковой, Осоргиным и др. всегда будет защищать от нападков эмиграции и “эмигрантского злобствования” возникающую в Советской России творческую жизнь. Да кто это отрицает, что, вопреки большевикам, Россия родит таланты? Весь вопрос заключается именно в споре относительно двух слов: “вопреки” или “благодаря”...»

«21 июля.

...В “Днях” печатаются письма Блока. По этим письмам Блок выиграл в моих глазах... и стал понятнее...»

«17 июля/30 июля.

...Я ценю в Зайцеве то, что он выбрал свой путь и идет по нему по-зайцевски, и то, что он настроил свою душу на высокий тон. Он ни у кого не выбирает ничего, а тихо, медленно, но неуклонно идет по своему пути, который всегда подымается выше повседневности. Он, как писатель, говорит: мне нужно только мое ощущение, только мое восприятие, а логично ли, правдиво ли это — мне все равно...»

«6 августа.

...Из статьи Ходасевича о Блоке: “Блок признавался, что многих ранних стихов своих больше не понимает”.

Правильно сказал Ян, что это род душевной болезни. Человек видит спичечную коробку, а выражает какое-то мутное чувство к ней. Тут не поймешь, спичечная коробка это или что-нибудь другое.

Ян вчера на прогулке говорил на тему, какое значение имеет имя автора. Если оно знаменитое, то читатель гораздо больше напрягает внимание. Поэтому — успех, и часто даже не по заслугам...»

«12 сентября.

...В шестом часу приехал Рахманинов. Посидел около часу. Он с семьей в Канн. Большая вилла, своя машина, на которой они приехали из Германии. Он очень мне понравился. Очень прост и приятен. Звал к себе. По-видимому, к Яну относится очень хорошо... Рахманинов пришел без шапки, в коричневой фуфайке, парусиновых туфлях. Забыл портсигар...»

«24 сентября.

...Вспоминаю обед у Рахманиновых... Трогательное отношение к Чехову. Все просил Яна порыться в памяти и рассказать об Антоне Павловиче. Ян кое-что рассказал. Рахманинов очень заразительно смеялся. Рассказал, что, когда он был еще совершенно неизвестным, он в Ялте сопровождал Шаляпина. Чехов сидел в ложе. В антракте он подошел к нему и сказал: “А знаете, вы будете боль-

шим музыкантом”. Я сначала не понял и удивленно посмотрел на него, — продолжал С. В. — а он прибавил: “У вас очень значительное лицо”. Вы понимаете, что тогда значили для меня слова Чехова? А музыки Антон Павлович не понимал. Он предлагал мне написать что-то к “Черному монаху”.

Толстого Рахманинов не любит... Ян старается показать всю трагедию Л. Н., но мне кажется, его слова до Рахманинова не дошли...»

«30/31, ночь, октябрь 1926 г.

...Сегодня Ян был очень печален. Долго лежал в темноте. Говорит, тоска ужасная. Да, тяжело он отрывает от себя каждый год. С корнями ушел в землю, потому и тяжело. Слишком он все видит и понимает, все остро чувствует. Потом сошел вниз, развеселился, поставил бутылку вина, которую они с Н. К. (Кульманом) и выпили. Когда я пришла к нему наверх, он лежал в постели, видимо, ждал меня. Был нежен. Говорил, что только я для него все. Что мысль о моей смерти преследует его уже 20 лет. 40 лет боялся смерти матери, а 20 — моей. Поэтому когда я заболела, то у него весь мир преобразается. И он, как сумасшедший, должен куда-то лететь. Он понимает, что может увлечься, но это не настоящее. “Отдельный кабинет, ужин, момент усталости — она смотрит, увидит морщину и думает: стар. А мне хочется сказать — *allez vous en!* Ты одна не видишь того, что есть. Да, как отражение в окне вагона и стекло, и сквозь него видишь звезду...”»

«5 июня 1927 г.

...Принесли газету с “Окаянными днями”. В восторге от стихов, которыми этот кусок кончается... я прочла их и вспомнила, как мы в этот вечер ездили за Скородное и из лесу увидели зарево, испугались: не у нас ли? И я, как сейчас вижу, как Ян сделал быстрое движение, натянул вожжи, ударил лошадь кнутом... А стихи вот такие:

Наполовину вырубленный лес,
Высокие дрожащие осины
И розовая облачность небес.
Ночной порой из сумрачной лощины
Въезжаю на отлогий косогор.
И вижу заалевшие вершины.
С таинственною нежностью, в упор
Далеким озаренные пожаром...
Остановясь, оглядываюсь: да,
Пожар! Но где? Опять у нас? — Недаром
Вчера был сход! — И крепко повода
Натягиваю, слушая неясный,
На дождь похожий лепет в вышине,
Такой дремотный, сладкий — и бесстрастный
К тому, что там и что так страшно мне».

«11 ноября.

...Вчера завтрак у Мережковских... З. Н. пригласила Г. Н. Кузнецову... я очень благодарна ей за это... Завтрак был хороший. После З. Н. читала нам дневник. Перед тем Дм. С., который не слушал чтение (он не может ничего ни читать, ни слушать о революции: “Это все равно, что вашу мать убили, а вы будете слушать об этом”), говорил:

— Милюков — это Чичиков, Керенский — Хлестаков. В нем сидел бес, в котором и мы повинны, теперь бес из него ушел, а все продолжает становиться в наполеоновские позы.

З. Н. читала дневник, относящийся к корниловской истории... Ведь по духу она была близка и с Илюшей (Фондаминским), и с Савинковым, и с Керенским, а Корнилов, собственно, был ей чужд, — и, однако, она выносит оправдательный приговор Корнилову, даже не выносит, а он сам “выносится”. И что самое замечательное — Корнилов не увлекает ее, к белому движению она остаётся холодной, не верит ему. Ее дневник — сама история. Она была поставлена в необыкновенно выгодное положение. Ежедневные свидания с Савинковым, человеком,

умеющим отлично рассказывать, свидания с Бунаковым, знакомство с Керенским и дружба с Карташевым...»

«16/29 декабря.»

...Ян давно не пишет. В холоде, в дожде, мраке ему не работается. Хоть бы январь был погожим. Ведь ему необходимо набросать хотя бы III-ю часть.

Г. Н. встает в 11 часу. Ей жить надо было бы в оранжерее... Она слаба, избалована и не может насиловать себя...»

Подобные рассуждения и резюме Веры Николаевны, как и иные ее характеристики, можно было бы не принимать во внимание ввиду не особенной ее компетентности в подобных проблемах, но, надо думать, что такие впечатления, несомненно, обсуждаются между мужем и женой, и за словами В. Н. почти всегда слышится голос Ивана Алексеевича.

«8 сентября.»

...Вчера зашли к Мережковским... В Белград они едут. Возмущены, что редактор Струве. “Я не буду с ним работать”, — заявляет З. Н. “Я напишу статью против самодержавия, вот он и уйдет”. Значит, ясно — Мережковские едут в Белград, чтобы вырвать у Струве воображаемую власть, а если не удастся, то будут стараться, чтобы Струве отказался работать с ними. Они думают, что журнал будет в их руках, т. к. Ян занят “Арсеньевым”, связан с “Соврем. записками”, то он не опасен им. Алданов вряд ли станет принимать близкое участие там, Куприн — рамоли, Шмелев — болен, Зайцев не опасен. Словом, им мерещится из этого журнала сделать “Новый дом”...»

«19 сент.»

...Мережковские едут в Сербию. Им прислали 10 000 фр. будто бы за пьесу. З. Н. сшила новое, слава Богу, черное платье. Дм. С. возбужден...

Ходасевич попросил у меня ту статью Гиппиус, где она писала об Яне, как о большом писателе, о большой личности и издевалась над критиками, которые называют его описателем. О себе Ходасевич говорит, что он очень доверчив, что Мережковским он не верил и что они “ужасно с ним поступили”...»

«8 окт. 1928 г.»

...Письмо Мережковского (вероятно, С. К. Маковскому):

“Дорогой Сергей Константинович, посылаю Вам большую газету с моим интервью. Очень прошу Вас велите его перевести и напечатайте в “Возрождении”. Интервью чрезвычайно важное, благодаря многим обстоятельствам, между прочим, исключительно любезному приему короля Александра: на обеде я сидел рядом с королевой, а З. Н. рядом с королем. Наша беседа была очень в а ж н а и она, конечно, будет иметь последствия...”

Ах, забыл, я получил орден Св. Саввы п е р в о й степени, в ы с ш и й орден в Югославии. Это тоже имеет большое значение, З. Н.— Савву второй степени. Ленты, звезды, рескрипты. Славяне все в восторге и умилении. Встречали, плачут слезами от любви к нам, русским. А дураки в Париже сидят каменными болванами.

Сердечно Ваш Д. М.».

«20/7 октября.»

...Были вчера у Мережковских. Оба сияют и довольны. Вероятно, денег привезли больше, чем ожидали. Ордена красивые. Д. С. все повторял, что, кроме него, такой орден только у еще одного сербского писателя, а про Немировича не упомянул.

...Рассказывали они нам далеко не все, все время лавировали, особенно З. Н. Вечером Ян долго говорил о “Жизни Арсеньева”. Он горюет, что дал такое заглавие, нужно было назвать “У истока дней” и писать, как Толстой-душенька написал “Детство”, “Отрочество” и “Юность” — и запнулся. “И мне кажется, что я больше не напишу. Ведь 17 лет не написал в трех книгах. А 40 лет я должен написать в одной, в крайнем случае в двух... Ведь одно из двух: либо писать кратче, а если так же — то сколько выйдет томов! Я думаю об этом денно и ночью. Иногда кажется, что нужно оставить на время, заняться другим”».

«24/11 н.

...З. Н. говорила об Яне: «Он — единственный, подражать ему нельзя. К людям он относится, как к части мира, который он любит очень. А потому он может дружить и с Кульманами и т. п. Человек сам по себе ему не нужен». М. б., это и правда?..»

«15 апреля. (1932 г.)

...У Мережковских. Комната З. Н. Очень мила. Говорили о постороннем. Затем вошел Мережковский. Вид его страшен. Глаза сверкают черным огнем. Сев на постель, он с места в карьер снова стал говорить о том, чтобы “застраховаться” на случай получения Нобелевской премии. Я сказала, что Ян едва ли согласится, что он суверен, да и едва ли дадут русским. Он остался недоволен. В это время влетел черный кот, я вскочила и поспешила уйти. Все заахали, закричали...»

Остановимся на этом крошечном эпизоде. Думаю, о Мережковских, о всех иных друзьях и недругах Бунина довольно, достаточно. Бунин выиграл у Мережковского свою партию с Нобелевской, но он выиграл против него и вообще — по литературе, по жизни, по совести. Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна останутся — остаются для истории русской литературы средними писателями, средними людьми, даже малоизвестными. Все же писатель должен иметь имя, быть славен, а главное — читаем, воспринимаем миллионами читателей; только так мертвые остаются живыми: пока мы помним и любим их. Вечная жизнь у Бога — одно, вечная в литературе — только через типографию, через библиотеку — у читателя. У нас с вами, сегодня, в нашей все же живой и вечной России. Князь Иван Алексеевич Бунин в сравнении с ними остается стоять высоко, живым, нерукотворным памятником, на пьедестале сделанного им честно и безукоризненно своего дела — своих бессмертных книг.

ГАЛИНА КУЗНЕЦОВА. Всегда был красив, умен, изящен, хотел и умел нравиться: не «раздевал женщину глазами», а видел — прозорливым, опытным взглядом, подходил как к своей, давно знакомой, почти родной. А на женщин такой опытный, донжуанский взгляд действует всегда соблазненно. Очень уверен был в себе, подобно хорошему охотнику. И бил редко, чтобы без промаху.

...Она очень влекла, неудержимо: молодостью, мягкостью, веселым нравом, фиалковыми, зовущими влюбленными глазами, почти открытым телом: все платья легкие, летние, шея, ноги, руки открыты, летние матерчатые туфли без каблучков, красноватый загар, коротко стриженные темные волосы, кокетливо схваченные спереди широкой лентой в цвет платья; изнутри руки белели до самых подмышек незагорелой кожей — он знал уже дивный шелк и нежность этой кожи, взгляд сам полз по чуть широкой кисти, ногти в розовом лаке, и далее по руке, к локтю, не оставляя ни одной родинки, свежей или запекшейся царапины, входил в томную тьму подмышечной впадины, когда она поднимала или протягивала руку. Темные вместе брови и глаза глубоко — красивы, плескали любовью и радостью видеть мир. То, что она писала, стихи и рассказы, было пока слабо, но он уверил себя в ее способностях и талантливости, почему и взял в ученицы, и Бог знает, как, хитро вертясь, уговорил Веру, чтобы ей жить прямо у них в доме (не ходить же ему куда-то к ней давать уроки как репетитору). Ум заменяла ей глубокая женская интуиция, ярко выраженная сексуальность, свобода разговора и поведения. Говорить с нею можно было часами: она слушала его, буквально приоткрыв рот, розово-молодые губы, отвечала впопад, смеялась без жеманства, показывая свежие, молодые зубы, один-два чуть-чуть вкось. Слегка заикалась, тоже очень мило. Все ему в ней нравилось, чем далее, тем больше!

А вот сам себе нравился все меньше. Утром, обривая усы и бородку, убирая щетину на шее и кадыке, сам себе глядел в глаза через зеркало. Ни морщины, ни одно-два ржавых пятна и некрасивая плоская бородавка, вылезшая на лоб, ни ста-

риковские веснушки на руках не смущали его. Но глаза, его всегда яркие, веселой голубизны глаза, сделались стальными, усталыми, не играли прежним огнем. Он рано, в дальнем детстве, когда умерла младшая сестра, узнал смерть, и всю жизнь всюду встречал эту проклятую смерть, и, кажется, боялся и будто не боялся, знал: все смертно и тленно на свете, не будет и меня когда-то. И ни-когда не думал: вот она, юность, — не думал и не ожидал старости. Глаза его не были радостно открыты, как всегда. Стало пошаливать сердце, без конца, до кровотечений мучил проклятый геморрой. Но это не считать же за беду! Он плохо спал, просыпался едва ли не каждый час за ночь. Утром, не ленясь, подолгу делал гимнастику, и тело оставалось пока сбитым, сухим, мускулистым, кожа не теряла эластичности.

Понятно, надо сопротивляться. Стоять твердо. Против этого проклятого геморроя, против обвисания мускулов и кожи, седины, сердечной слабости — обморочный приступ случился внезапно, при подъеме в гору, окатив тело холодным потом, а душу страхом. Против всего стоять. Против Веры, ее увядания и бледного ума, против всего.

Но как, чем защищаться? Прежнего не осталось ничего, все потеряно. Да и нет пути назад, вспять не пойдешь. Надо искать и наращивать новое. Как? Каким образом? Работой? Но работать тоже все тяжелее. Ничто не задевало, не возбуждало, как прежде. Книги? Что книги?.. Природа?.. Что ж природа сама по себе? Вернуть надо. Все, что можно. Вдохновение. Остроту. Свежесть. Славу. Людей. Друзей. Победы. Признание. Борьбу. Что за отказ от прежнего? Все вернуть, нельзя отказываться.

Впереди — болезни, голая нищета, смерть. Только двигаться. Брать, как прежде, а не отдавать. Пасьянс должен выйти. Надо выиграть у Мережковских. Надо уладить с Верой. Надо выиграть с Галиной — зачем-то Бог посылает ее ему.

А Россия?.. Как выиграть с Россией?..

Вера в живую силу воды, подолгу умывался, плескался. При любом случае старался спуститься вниз, к пляжу, принять морские ванны. Хорошо, без одышки плавал. «Нет, нет, — говорил он себе в зеркало, — еще не старость — раз, второе — старость не должна мешать работе. Надо выставить ей заслон. Как Иванушке, нырять в котел с кипящей, потом с ледяной водой».

Познакомились когда-то прежде, нечаянно, в Париже. Теперь повстречались на пляже. Он заплыл, вернулся, вышел на берег, мокрый и нелепый, в белых, ниже колен купальных трусах, босоногий.

Здесь поджидал его поэт Гофман, рядом с ним молодая женщина с милым лицом, глазами, аккуратной фигурой.

— Извините, Иван Алексеевич, вот, будьте знакомы, молодая поэтесса Галья Кузнецова, ваша поклонница, мечтала увидеть вас.

— Что же, с удовольствием, — протянул мокрую, прохладную руку. — Мы встречались, кажется.

— Да, когда-то в Париже.

Сам глядел с интересом: давно не встречал новых, привлекательных лиц.

Множество раз потом они перебирали, вспоминали оттенки этой встречи. Для нее он был знаменитый, почти великий человек, академик, автор любимых ею стихов и рассказов (многое наизусть знала), и, разумеется, было неловко видеть пожилого господина в этих трубочками трусах, отекающего водой, — вода собиралась под босыми ногами темным пятном на песке. Она, впрочем, не оробела, отвечала на его вопросы. Нелепый Гофман, на которого Бунин поглядывал чуть искоса, пытаясь угадать, какова связь их, кроме поэзии, готов был уже сказать ей читать стихи прямо здесь, на пляже. Бунин уклонился, предложил прийти к нему в гости. Вообще академик держался запросто, по-пляжному, раз уж так вышло, и она чувствовала: он глядит с интересом.

— Я же тебе понравилась? — спрашивала она потом много раз. — Честно, понравилась?..

Да, сразу понравилась, давно забытый азарт шевельнул сердце: ее молодые глаза, улыбка, фигура, женственность, готовность. Что греха таить, это-то без ошибки умел угадывать: готовность, податливость, очерк губ, мгновенный женский интерес. Неужели? — сказал он себе сразу. Так давно мечталось о такой, новой любви, как мальчику.

Старенькая двухэтажная вилла «Бельведер» прилепилась среди горы высоко над Грассом. Ниже лежала Ницца, белоснежный европейский курорт, еще в давние времена облюбованный русскими. Дорога вниз называлась Наполеоновской: когда-то его гвардия прошла здесь. Старые горы пышно покрывали леса, кустарники, виноградники. Виллы утопали в садах. Стояли повсюду кипарисы, сосны, пинии. Дворик виллы, выложенный плиткой, выступал, словно нос яхты или мостик корабля, — открывался отсюда невероятный поднебесный простор — до самого дальнего хребта Эстералья с вершинами, снежно окутанными облаками. Туда вела глубокая синеющая долина, простиралась до самого моря, и ярко-синее море над чертой горизонта словно стояло дыбом, выпукло, подобно линзе. Нигде на свете не было такого простора, нигде на свете так не горели июльскими днями густо-голубые небеса.

Во дворе, под пальмой, — стол, легкие стулья, шезлонги. Качели.

Кто только здесь не бывал, не сиживал! Рахманинов, Алданов, Мережковский и Гиппиус, Андре Жид, Зайцевы, Борис и Вера, Ходасевич с Берберовой.

Все вокруг приглашало к прогулкам, скитаниям по лесам и паркам. У Ивана Алексеевича был пункт — бродить и выбирать подходящие виллы, где хотелось бы жить и на другое лето и где, возможно, берут дешевле. Все располагало к праздности, долгим беседам. Галина прыгала с камня на камень, взбиралась все выше, забредала в чужие сады, продиралась сквозь кусты, ходила в царапинах. Он, любивший носить на юге все белое, в парусиновых туфлях, панаме, легкомысленном кепи или канотье, держался храбро, попевал за ней, не глядя иногда на одышку или судорогу в икрах. Ничего, ничего, говорил он, и шел, прыгал тоже, ухитрялся в трудном месте подержать или подать жестко-надежную, сухую ладонь. Смех ее, молодо-звонкий, почти девический, доносило до виллы, до слуха Веры Николаевны. Вера Николаевна, всех проводив, обычно копошилась во дворике, стирала и стряпала обед. И думала. И кое-что записывала в свой дневник: что было вчера, как они живут, о чем говорили и как Ян, как Галина.

«2 авг. Очень беспокоит Ян — тих, кроток, подавлен. Устал, беспокоит сердце... Он не может работать, отчего очень страдает, и, как всегда, ему кажется, что хуже с ним не бывало...»

Или: «13 октября. Одна в Ницце. Странное чувство. Город кажется мертвым (воскресенье). На набережную не выходила, боюсь знакомых. Хочется один день провести в уединении. Идя на вокзал, я вдруг поняла, что не имею права мешать Яну любить, кого он хочет, раз любовь его имеет источник в Боге. Пусть любит Галину, Капитана, Зурова — только бы от этой любви ему было сладостно на душе...»

К этому времени Бунин прожил с Верой Николаевной более двадцати лет. Бунин был нелегкий в общении человек: и деспотичен, и капризен, и раздражителен. Он хотел только писать, никакая женщина, как бы он ни увлекался, не могла отнять его у его Музы. В воспоминаниях Нины Берберовой, хорошо его знавшей, дружившей с ним много лет, читаем, к примеру, такой пассаж: «Трудно общаться с человеком, когда слишком есть много запретных тем, которых нельзя касаться. С Буниным нельзя было говорить о символистах, о его собственных стихах, о русской политике, о смерти, о современном искусстве, о романах Набокова... Все не перечесать. Символистов он стирал “в порошок”; к собственным стихам относился ревниво и не позволял суждений о них; в русской политике до визита к советскому послу он был реакционных взглядов, а после того, как пил за здоровье Сталина, вполне примирился с его властью; смерти он боялся, злился, что она есть; искусства и музыки не понимал вовсе; имя Набокова приводило его в ярость. Поэтому разговор часто был мелкий, вертелся во-

круг общих знакомых, бытовых интересов. Только очень редко, особенно после бутылки вина, Бунин “распускался”, его прекрасное лицо одушевлялось лирической мыслью, крупные, сильные руки дополняли облик, и речь его лилась — о себе самом, конечно, но о себе самом не мелком, злобном, ревнивом и чванном человеке, а о большом писателе, не нашедшем себе постоянного места в своем времени. Что-то теплое сквозило тогда в его лице, и это же теплое сквозило иногда в его письмах, и казалось — какая-то нить протягивается между нами, но на следующий день нити никакой не оказывалось, и он силою вещей отдалялся на бесконечное расстояние. В самом ближайшем его окружении постоянно находились люди, присутствие которых бывало мне тягостно (не говоря уже о Вере Николаевне, которая своей невинностью обескураживала не одну меня). И среди них был человек, который впоследствии оказался тайным членом французской коммунистической партии. В. Н. не чаяла в нем души, и он много лет жил как член семьи в доме Буниных».

У Нины Берберовой был, конечно, злой язык, но она выражала не только свое мнение: так же, с теми же сплетнями говорили о Буине довольно многие из эмигрантов.

«Бельведер», действительно, кишел народом.

Сначала появился Н. Роцин — он служил в Добровольческой армии, в чине капитана, и у Буниных по-домашнему так и звался Капитаном. Его приютили у себя, выдавали за члена семьи, он что-то писал, уезжал, пропадал, вновь появлялся. Часто бывала и гостила художница Татьяна Дмитриевна Муравьева-Логонова, ученица Н. Гончаровой и М. Ларионова, — способная художница, ее уже знал Париж, а Бунину, кажется, просто нравилась — во всяком случае, в своих записках о нем она говорит весьма нежно-дружески, было несколько милых встреч помимо «Бельведера», в его кабинете висели ее рисунки.

Часто бывали Алданов, Степун, Седых, Бахрах. Дом какое-то время делили с Фондаминскими.

Какой-то моряк или докер из Риги прислал Бунину свою первую книгу, жаловался, что не может писать, нет средств, нет работы. Галина и Вера Николаевна заставили Бунина прочесть книжонку этого несчастного Лени Зурова и ничего лучше не придумали, как позвать его в Париж, к ним: здесь, мол, поможем, поищем работу, а пока поживете у нас. Так и вышло. Зуров остался еще одним нахлебником в доме, В. Н. любила его как сына (или более), ухаживала, лечила. Ивану Алексеевичу оказалось как бы и на руку — отвлекало Веру от Галины. Он бывал резок, непререкаем, за многие годы Вера приучилась быть покорной, послушной женой, жить только его интересами, его жизнью. Научилась терпеть и прощать. Но считать, что женская преданность, женское самозабвение не имеют границ, было бы ошибкой. Каждая женщина любит занимать первое место, каждая — царица, а царице должно быть подвластно все. Тем более если власть уже в руках, завоевана и непоколебима.

Непоколебима? Всякой власти только так кажется, так хочется. Но на власть есть другая власть — любовь. Приходит Золушка, и принц бежит за ней с хрустальной туфелькой в руке.

Несомненно, в жизни Ивана Алексеевича бывали ситуации, когда он делил свою любовь, привязанность между двумя, — это отражалось в творчестве: знаменитая «Натали», «Зойка и Валерия», — а то и тремя женщинами, как в том же «Генрихе». И теперь, с Галиной Николаевной и Верой Николаевной, выходило похожее. Здесь скорее всего сказывался неумный, своевольный отцовский характер: что хочу, то и ворочу, будь по-моему, а там хоть трава не расти! Иван Алексеевич поступал так, как ему хотелось, как ему казалось нужным (для себя) и возможным. Вероятно, в этом присутствовал даже восточный, мусульманский налет — не зря так много бродил по Востоку: возможно самое возвышенное отношение к женщине и вместе — как к рабыне, четвертой или пятой, младшей или старшей жене. В данной истории получалось именно так. И удивительно, что мужская нравная воля, мужская сила заставляла женщин мириться с этим положением, занимать его, возможно, и вопреки своим желаниям и поня-

тиям. Великолепный эгоизм Ивана Алексеевича, его власть над любящей женщиной и воля создавали эту сложную, но, несомненно, острую и возбуждающую поэта игру. Галина, сама поэт и женщина, безусловно, незаурядная, экзальтированная, весьма искренне игравшая роль самой понимающей и преданной мэтру ученицы, нужна была Ивану Алексеевичу именно в этой ипостаси: она глядела ему в рот, растопырив глаза, все принимала в нем, со всем была согласна. С нею повторялось то же, что было когда-то и с Верой, Галина, скажем прямо, была все же молода, своенравна, она позже изрядно и мучила Ивана Алексеевича, заставила его испытать прежде неизвестное: ревность, муку и непонимание ее отношений (впоследствии) с Маргой Степун.

Образовался некий клубок: Вера — Бунин — Галина — Вера — Зуров — Бунин — Галина — Марга, — все сложно, нервно, необычно, любовно, дружески, ревниво, семейно и с отторжением, ясно и путано.

Самоценность и главенство Галины росли с каждым днем. Он не мог работать, потому что мысли о старости, о смерти отравляли сердце. Он продолжал любить свою Веру, быть ей мужем, принимать ее заботы. Но его главная забота, его интерес уже были не здесь.

От старости, от тоски, от греха уныния могла спасти только любовь, только молодость. Он привык завоевывать, брать в плен. Бедной киевской мещаночке, без титула, без роду-племени, без денег, жене какого-то грубого шофера Петрова — как было устоять? Он увещал ее золотом своей любви, унижал бриллиантами слов, взглядов, прикосновений, окутал в дорогие меха своей нежности. Он будто проверял себя: есть ли еще силы души на такое?.. Она поняла, она быстро ухватила этот крючок. Теперь она забирала над ним власть. Хотела гулять — он гулял, читать — он читал, ехать купаться — послушно ехал. Они не расставались часами, днями. Ее нежность, ее смелость отзывали тайным пороком. Ларошфуко сказал: влюбленные не надоедают друг другу, потому что все время говорят только о себе.

Они говорили о себе. Он читал ей вслух или отдавал вечером страницы, написанные за день. Он проверял, что сделано ею, как учитель, исправлял ошибки и диктовал правила. Она бежала к нему с каждым доморощенным стишком, с любой идеей или вдруг измышленным образом, поворотом сюжета. Все подолгу обсуждалось, обкатывалось, ей нравилось все. Разве Вера не могла быть ему подобной слушательницей, советчицей? Когда-то была. Теперь она только сидела за машинкой, перепечатывая страницы с его нелегким почерком. Он придирчиво выбирал перья, у него была странная манера держать ручку не между первым и вторым пальцем, как все, а между первым и третьим.

Любовь — это желание касаться, сказал кто-то. Он желал ее касаться. Он не сводил с нее глаз. Ее походка, руки, ноги, грудь — все возбуждало его, тянуло магнитом. Ему уже приходилось прятать глаза от других, отворачиваться, таиться. Но нет, бесполезно — он снова и снова тянулся за ней, хотел быть ближе, рядом. Он знал и любил эту первоначальную, острую любовную игру, он ничего не мог поделать с собой. Сперва будто нечаянно, вдруг он где-нибудь обнимал ее, ощущал ее талию, плечи, колени. На лестнице, во дворике, у крана, на прогулке, в его кабинете, когда оставались одни. За столом они глазели друг на друга, уже почти не таясь. За прикосновением, за жестом пришли слова: милая... ну постой... Галочка, милая. Первые поцелуи, первый случай, когда, отдыхая, где-то под кипарисом он положил голову ей на колени... Страсть караулила их, как рысь: долго выжидала, потом кинулась в прыжок, в жадное терзание жертвы — его губы, его руки наконец нашли ее, она ничего не могла другого, как податься навстречу, обомлеть, обмякнуть, разнять ноги. Он не ошибся в ее податливости, страстности, тайно-скрытой порочности. Если ему не хватало сил, она помогла ему сама — и это он предугадал в ней, надеялся. Не ошибся.

Приезжали и приходили гости: часто Рахманинов с двумя дочерьми, старый приятель Фондаминский, Ходасевич, много других — в Париже зимой тоже (ведь Галина прожила у них несколько лет подряд). При чужих Бунин умел непроницаемо сделать вид, что все в порядке, нормально, и Зуров этот за столом,

и Галина, и позже близкая подруга Галины, Маргарита, Марга Степун, певица, младшая сестра всем в эмиграции известного журналиста и литератора Федора Степуна. Публика в эмиграции, подобно подпольщикам, всегда была напряжена, насторожена против любого нового лица, всем мерещились большевистские или местные шпики, агенты. Хозяин дома всем видом давал понять, что любые подозрения напрасны: его дом и домочадцы есть только его дело.

Так он оберегал Галину, отводил от нее сплетни.

Вера Николаевна оставила дневники и письма тех лет, Галина много времени спустя, уже живя в Америке, тоже написала свой «Грасский дневник». Ни в одном, ни в другом сочинении мы не найдем ни следа ссор, недовольств, злости, даже элементарных подозрений, ревности. Нет, идет обычная жизнь день за днем. С утра Иван Алексеевич поднимает всех на работу, подгоняет Галину: мол, только теперь, в юные годы, и можно сделать что-то ценное. Пока он занят своей гимнастикой, Вера и Галина накрывают завтрак. Галина ходит по саду, расправляет цветы, срезает розы.

Князь — домашняя кличка Бунина — первым поднимается наверх, в свой кабинет. Галина — в свою комнату, Зуров — в свою. Жизнь еще благополучная, мирная, есть достаток, нахлебники не в тягость. Позже начнется война, перебои с продуктами, топливом, а там вовсе голод и холод, болезни, но странная эта коммуна не распадется еще много лет. В войну будут жить в другом доме, на вилле «Жаннет», но тоже все останется по-старому.

Иногда Вера отправляется в город, за продуктами или в церковь, — они остаются одни. Но чаще они уходят на свои прогулки, даже вечером после ужина. Или бегут в кинематограф, в город. Однажды на прогулке — сама Кузнецова рассказывала — купили ветчины, рокфора, бутылку вина и, сев на горке над дорогой, поеди. В какой-то другой раз попали на праздник молодежи: танцуют на том месте, где сорок лет назад было кладбище, а теперь нечто вроде плаца. Глядя на пляшущую под трехцветным шатром толпу, он взял меня рукой за плечи и сказал взволнованно: «Как бы я хотел быть сейчас французом, молодым, отлично танцевать, быть влюбленным, увести ее куда-нибудь в темноту... Ах, как хо-рошо!...»

И увел в темноту, конечно.

Он рассказывал ей свои прежние романы, вспоминал, как рождался тот или другой рассказ.

С нею он говорил легко и о символистах, и о своих стихах — даже разрешил на ее вкус отобрать большую подборку для книги. Говорили и о художниках, о музыке — она слушала, и верила, и сияла на него глазами. С нею же обсуждалась вся сложная история насчет Нобелевской премии, когда соперниками были выдвинуты Мережковский, Горький, Куприн. Она умела говорить пылко — уверяла: он самый лучший.

ЖИЗНЬ БЕЛЬВЕДЕРСКАЯ. Итак, Бунины живут в Провансе, над Грасом, близ Ниццы. С ними — и Галина Николаевна Кузнецова. Вот заметки из ее «Грасского дневника».

7 июня 1927 года.

...После завтрака И. А. и я лежали в полотняных креслах под пальмой и разговаривали о литературе, о том, что надо, чтобы стать настоящим писателем...

8 июля 1927 года.

...Вечером читала И. А. у него в кабинете стихи Блока и слушала, как И. А. громил символистов. Конечно, многое надо отнести на счет обычной страстности И. А. Он кричал, например, вчера о Блоке: «Лакей с лютней, выйди вон!», чем заставил меня искренне расхохотаться, после чего стал смеяться и сам.

12 сентября 1927 года.

...Сейчас одно из тех мирных рабочих утр, которые я так люблю. Под окном непрерывный шум льющейся воды — это нелепая черная старуха Мари в

своей соломенной лошадиной шляпе стирает под навесом, подле кухни. И. А. пишет у себя, Капитан где-то на верхних террасах... В. Н. печатает на машинке в соседней комнате. Теперь мы с ней попеременно перепечатаваем всю рукопись «Арсеньева».

...Я счастлива, что он часто говорит о себе то, что могла бы почти теми же словами сказать и я. Счастлива и тем, что каждая глава его романа — несомненно, лучшего из всего, что он написал,— была предварительно как бы пережита нами обоими в долгих беседах.

30 декабря 1927 года.

И. А. был опять, как всегда с чужими, тонко и очаровательно любезен. Он ни разу не встал со своего кресла и говорил все время благодушным и любезным, почти царственным тоном. Я давно не видела его таким. Он большой актер в жизни. Я знаю, что так надо общаться с людьми, но воспоминанье о его часто невозможных ни для печати, ни для произношения словечках, о его резкости временами заставляли меня в душе улыбаться. Впрочем, эта общедоступная любезность всех покрывает нивелирующим лаком, и дома он оригинальнее.

7 сентября 1928 года.

И. А. нездоров, мы в тревоге, может быть, даже и преувеличенной. У меня сердце замирает от тоскливого страха, но я стараюсь разговаривать с ним весело, твердо. Раздражаюсь на В. Н., которая пугает его беспрестанными советами лечь, не ходить, не делать того или другого, говорит с ним преувеличенно, торжественно-нежным тоном. Он от этого начинает думать, что болен серьезно, и чувствует себя хуже. У него ведь все от внушения.

17 сентября 1928 года.

...В доме сейчас ... нервность по поводу издания стихов И. А., переписки с Белградом, со знакомыми... Хуже всего, что И. А. волнуется, а не следовало бы. Махнуть бы рукой на все это и жить спокойно. О В. Н. и говорить нечего. Она белеет и краснеет двадцать раз в минуту при всяком разговоре об издании книги И. А. О, Боже, какой, в сущности, невыносимо нервный дом!

25 сентября 1928 года.

...Приехала кузина В. Н. Маня Брюан. Целый день по этому поводу суета, ходят по всем комнатам, даже И. А. не так упорно сидит у себя. Наблюдаю Маню из своего угла. Кажется, основное ее качество — спокойная уверенность в том, что мир вращается вокруг нее. ...Они заняты рядом с И. А. Каждый эгоцентричен, и они невольно сталкиваются в этом, хотя бы это выражалось в кухне курицы, или кисти винограда, или в самом удобном кресле. Она так же, как и он, любит все самое лучшее и считает, что оно сотворено для нее. И вот тут интересно, как он бранит в ней то, что есть в нем самом, и почти боится посягательства на свою тарелку, свою комнату.

9 октября 1929 года.

...Зато «Арсеньева» мы с И. А. кончили как-то приподнято, так что у меня горели щеки, щемило сердце... Он диктовал последние две главы, и оба мы были в праздничном счастливом подъеме.

1 ноября 1928 года.

Вчера были одни днем с Капитаном в доме, и было тихо, как в могиле. Шел дождь не переставая... Это прекраснейшее в солнечные дни место в непогоду делается чуть ли не самым мрачным на свете... Потом мы часа два готовили на кухне с Капитаном ужин... Прерывая наш разговор, распаивается входная дверь, кто-то сует зонтик в угол, потом темная масса пролетает вверх по лестнице и раздается отчаянный гневный рев:

— Черт знает что!.. Жалеть тридцать франков на автомобиль и лечь из-за этого в могилу... Я же ей говорил...

Затем вбегает В. Н., взволнованная, запыхавшаяся. И. А., со страшным шумом раздеваясь наверху:

— Капитан! Ко мне! Галя! Растирайте ее... Растирайте... Возьмите одеколону... Ноги до колен мокрые... Растирайте скорее! Да где она? Еще внизу? Вера! Вера!

Поднимается невыразимая суета и беготня. В. Н. со смехом рассказывает, что на дворе «мистический ливень», что перейти через дорогу невозможно, что они бежали, как сумасшедшие... Я стаскиваю с нее мокрые чулки, растираю ноги. И. А. все кричит и бушует у себя. Роцин растирает его. В конце выясняется, что он так волнуется оттого, что считает, что простуда реже поражает людей в нервном приподнятом состоянии.

— В мои годы воспаление легких — это смерть...

Мы спускаемся и едим картофель, сгоревший почти в уголь, пока мы были наверху. Во время обеда выпивается значительное количество коньяку, к чему пристрывает и Капитан: «Я тоже промочил ноги...»

Вечером в кабинете И. А. с величайшим вкусом читает Мопассана, сидя в своей великолепной красной пжжаме от «Олд Ингланда». В. Н. слушает, уже лежа в постели. Дождь продолжается. Мы дружно смеемся. Капитан в наброшенном на плечи пальто, без воротничка, сидя у печки, напоминает человека из ночлежки.

В двенадцатом часу дом затихает.

13 декабря 1928 года.

Пришла почта. Вышел альманах «Русская земля». На первой странице — стихи И. А. Он сморщился: «Как же это без разрешения!..» Я унесла альманах к себе. Статьи о Пушкине, Ломоносове, Гоголе, Римском-Корсакове, рассказы и воспоминания Куприна, Шмелева, Осоргина...

Русская литература... Сейчас первое место в ней занимает И. А. Как будут писать о нем 50—100 лет спустя, как будут воображать его себе? Странно думать об этом, потому что воображаемое и действительное — при самых идеальных соотношениях — все же разные вещи.

22 декабря 1928 г.

Утром писала стихи. Потом пришла почта и, как всегда, по большей части расстроила. Илюша написал И. А., что они задумали издавать художественные биографии, как это теперь в моде. И вот Алданов взял Александра П-го, Зайцев — Тургенева, Ходасевич — Пушкина. И. А. предлагают Толстого или Мопассана. После завтрака В. Н. поехала в Канны за покупками, а мы с И. А. пошли гулять по дороге в горы... И. А. размышлял, что бы ему писать, критиковал писателей, взявшихся за темы, в сущности, мало им близкие, потому что мало ведь знать факты, надо перевоплотиться в того, кого будешь писать. Особенно волновал его Пушкин.

— Это я должен был бы написать «роман» о Пушкине! Разве кто-нибудь другой может так почувствовать? Вот это, наше, мое, родное, вот это, когда Александр Сергеевич, рыжеватый, быстрый, соскакивает с коня, на котором ездил к Смирновым или к Вульффу, входит в сени, где спит на ларе какой-нибудь Сенька и где такая вонь, что вздохнуть трудно, проходит в свою комнату, распакивает окно, за которым золотистая луна среди облаков, сразу переходит в какое-нибудь испанское настроение... Да, сразу для него ночь лимоном и лавром пахнет... Но ведь этим надо жить, родиться в этом!

Потом вдруг вспомнил о Лермонтове: «Вот! Это и недлинно, 27 лет всего... Надо согласиться!»

13 января 1929 г.

Новогодний, бесконечно печальный вечер. И. А. раздражителен, мрачен, все его сердит — значит, опять прежнее недомогание, которое вот уже месяц, как вернулось к нему, после двухлетнего перерыва. Не помогли ни курица, ни шампанское. Все кажется ему неприятным, безвыходным, сложным.

Жаль его ужасно, и трудно иногда сдерживаться — характер у него от этого резко меняется, и это так странно и дико мне, знавшей его таким добрым, сияющим, неутомимым.

2 мая 1929 г.

Читала ему вслух письма Рильке «К молодому поэту». Читая, волновалась ужасно, т. к. нашла в них много важного, точно отвечающего на столь беспокоящие меня сомнения. И. А. все говорил мне:

— А сколько раз я это говорил? Верить Рильке, потому что он далеко, а я близко... потому что меня видят в подштанниках, потому что говорю иной раз, как все, чепуху, а ума нет, чтобы это разделять!

30 декабря 1929 г.

После завтрака полезли с З. рвать оливки. Он влез на то дерево, что над крышей водоема, и за руку втащил силой за собой меня. Был ужасный крик изо всех окон. Камий бросилась к И. А., а Капитан к В. Н.— каждый с извещением, что «он убьет и себя и ее!» И. А. вышел в ярости и заставил меня слезть.

Когда З. тащил меня — за одну руку! — вверх, то говорил: «Я хочу, чтобы вы были писателем, а не барышней!»

И. А. потом бранился со мной.

7 января 1930 г.

Вчера всем домом ездили встречать сочельник к Кугушевым. И. А. сначала не хотел ехать, но потом все обошлось и было даже очень приятно. Была индейка с каштанами и сколько угодно самой разнообразной водки.

Потом Ася Кугушева играла, а мы танцевали. Танцевал даже И. А., и замечательно. Отвезли нас на автомобиле...

8 января 1930 г.

Хотя внешне я и весела, тайне мне нехорошо. В. Н. вчера сидела со мной в темноте, при горящей печке, и говорила, что очень рада, что у нас живет З., что он внес в дом оживление, молодость и влияет на меня в этом смысле, а то я чересчур поддаюсь влиянию И. А., живу вредно для себя, не по летам.

12 января 1930 г.

Все эти дни грустна, потому что в доме нехорошо. У И. А. болит висок, и он на всех и на все сердится. Впрочем, и без этого он раздражается на наши голоса, разговоры, смех.

27 января 1930 г.

Очень хороша, кротка все последнее время В. Н. Она и правда как бы с чего-то сдвинулась, стала терпеливее, терпимее, как-то «выше» смотреть на вещи, и исчезло неприятное, что было в ней так долго. Я иногда чувствую к ней настоящую серьезную нежность, хотя избегаю по-прежнему ее показывать.

13 марта 1930 г.

...Встретили с И. А. как-то днем на улице Куприна. Он в летнем пальтишке, весело жметяся.

— Зайдем в кабачок, выпьем белого винца по стаканчику...

Несмотря на то что мы были с базарной кошелкой, полной бутылок, зашли. Он все знает. Повел к «каменщикам». Даже собака его там знает... Был суетлив, весел. Все напоминал И. А. их молодые годы, знакомство...

Он очень мил, хотя только к себе, к своим ощущениям внимателен и все говорит мимо собеседника.

Вышли на снег. Сразу облепило. Он в тонком пальтишке.

— Да вы промокнете, простудитесь после грога!

— А я воротник подниму...

Ласково-грустно почему-то с ним рядом. Как будто все уже в нем кончено.

4 мая 1930 г.

...Вечером был пьяный Куприн, еле вывели с помощью вызванной по телефону жены. Говорил обо мне: «Она славная девчонка!» и тянулся целоваться, а Алданову, сидевшему тут же, кричал: «Ты, мальчик!»

4 июня 1930 г.

И. А. читает дневники Блока, как обычно, внимательно, с карандашом. Говорит, что мнение его о Блоке-человеке сильно повысилось. Для примера читает выдержки, большей частью относящиеся к обрисовке какого-нибудь лица. Нравится ему его понимание некоторых людей. «Нет, он был не чета другим. Он многое понимал... Начало в нем было здоровое...»

17 июня 1930 г.

Вчера ездили в Канны... На обратном пути в автобусе он говорил, что «выдумал для меня весь мой роман». Что писать его надо несвязными кусками, на-

звав каждый кусок отдельно, и что нужно это для того, чтобы было легче отношение к этим кускам, так как, по его мнению, меня «губит серьезность». «Надо относиться к своему писанию полегкомысленней», — часто повторяет он мне последнее время...

...Книги И. А. не дают никакого дохода. За «Арсеньева» он получил 1000 франков, т. е. меньше, чем Рощин за книгу рассказов, изданную в Белграде (1800). Денег нам хронически не хватает...

25 июня 1930 г.

...Говорили о писательском быте, жаловались на ссоры и раздоры между всеми. «А у нотариусов не то же ли самое?» — говорил свое любимое И. А. «Нет, не то, Иван Алексеевич, — отвечал Алданов. — Ни у нотариусов, ни у почтовых чиновников, ни у офицеров, ни у обывателей. Это — привилегия писателей».

3 августа 1930 г.

...И. А. ждал Рахманинова с дочерью (Таней), приехавших на несколько дней в Канны.

Сели, заговорили. У Тани оказался с собой американский аппарат, маленький синема, который она наводила поочередно на всех нас. Одеты оба были с той дорогой очевидностью богатства, которая доступна очень немногим...

Во время обеда я часто смотрела на него и на И. А. и сравнивала их обоих — известно ведь, что они очень похожи, — сравнивая также и их судьбу. Да, похожи, но И. А. весь суше, изящнее, легче, меньше, и кожа у него тоньше, и черты лица правильнее.

5 августа 1930 г.

Вчера обедали на песке под лодкой с Алдановым и Рахманиновыми. Был настоящий песчаный смерч, так что нам ничего не оставалось, как забраться в это сравнительно тихое место и расположиться там. «Босаяцкий обед», по выражению И. А., вышел оригинальным.

10 сентября 1930 г.

Вечером сидим в кабинете у И. А.

— Бывает с вами, И. А., — говорю я, — чтобы вы ловили себя на том, что невольно повторяете чей-нибудь жест, интонацию, словечко?

— Нет, никогда. Это, заметьте, бывает с очень многими. Сам Толстой признавался, что с ним бывали такие подражания. Но вот я, сколько себя помню, никогда никому не подражал. Никогда во мне не было восхищения ни перед кем, кроме только Толстого.

— И ты воображаешь, что это хорошо? — спросила В. Н.

— В вас есть какая-то неподвижность, — сказала я.

— Нет, это не неподвижность. Напротив, я был так гибок, что за мою жизнь во мне умерло несколько человек. Но в некоторых отношениях я был всегда тверд, как какой-нибудь собачий хвост, бьющий по стулу...

И он показал рукой как, так талантливо, что мы все дружно рассмеялись.

23 октября 1930 г.

День рождения И. А. Шестьдесят лет. Совсем обыкновенный день, ни поздравлений, ни писем, даже меню обыкновенное.

В. Н. говорит, что в прежние годы он «сума сходил перед днями своего рождения, часто уезжал куда-нибудь накануне, то в Петербург, то в Ефремов». На этот раз очень тих, очень сердечен был вчера вечером и сегодня все утро...

11 марта 1931 г.

К Фондаминским приехали гостить Степуны, и вчера он был у нас вечером с Илюшей. Два часа они разговаривали с И. А., сидя друг против друга, и сегодня у меня такое впечатление, точно вчера у нас на вилле Бельведер в кабинете И. А. был некий словесный балет...

16 марта 1931 г.

Вчера Степун опять весь вечер блистал. Они с И. А. точно фехтовали. Почти во всем они несогласны. Записать этот разговор, к сожалению, невозможно. Слишком это перебеганье, порханье, сложное переплетение. Это были как бы широкие арпеджи по всей литературно-философской клавиатуре...

19 марта 1931 г.

Позавчера вечером пришли Брежневы с незнакомым господином и дамой «ясноликой и хорошо одетой», как рассказывал о ней И. А., и попросили свести их к Фондамину. И. А., который как раз собирался туда, поехал с ними на автомобиле. Вернулся часу в одиннадцатом, несколько взволнованный. Оказалось, что эти господин и дама прямо из Ленинграда. Он голландец, она, его жена, — сестра Германовой. Рассказали о России в таком духе:

Он (с акцентом): О, у нас все кипит! Все строится. В сорок дней мы строим город на месте болота. Россия залита электрическим светом, в портах грузятся корабли, вывоз огромный и как все приготовлено! Как доски распилены! (и т. д. и т. д.)

Говорили и о писателях. И. А. расспрашивал о Ал. Толстом, они рассказали, что он отлично живет, у него своя дача, прекрасная обстановка, что он жалеет здешних.

— А мы их жалеем, — сказал И. А.

Вообще разговор был грустный. И. А. пришел какой-то потрясенный. Мы все разволновались. «У нас в Ленинграде», — в первый раз за много лет мы это услышали.

1 апреля 1933 г.

Ходили с Ильей Ис. и разговаривали... О нашем доме он, между прочим, сказал: «Сказать откровенно — я не люблю, когда вы бываете у нас вчетвером. Так и чувствуется, что все вы связаны какой-то ниткой, что все у вас уже пероговорено, что вы страшно устали друг от друга...»

6 ноября 1933 г.

Дело к назначению премии приближается. Газеты по утрам начинают становиться жуткими. Французской утренней газеты ждем теперь с трепетом. Развертывает ее первый И. А. Воображаю себе его волнение. Уж скорей бы упал этот удар! В прошлом году это было сделано раньше, чем ожидали.

Днем неосторожная (и, может быть, неуместная) предпоздравительная телеграмма из Берлина, взволновавшая весь дом. Вечером говорили о ней на прогулке. И. А. держится в этом положении, как он сам сказал, естественно. Излишней нервности нет... Но, конечно, все-таки беспокоино, особенно после внезапного упорного появления в печати имени Мережковского.

И все-таки он и сегодня весь день писал».

В синема надо было ехать на автобусе. На остановках в будочках продают билеты на каждый рейс. Не успеешь — жди следующего рейса. Легко вообразить себе в такой небольшой очереди высокого господина в белом, благородного вида, с тростью, в канотье и с ним невысокую миловидную дамочку в летнем платье и шляпке. Они общаются непринужденно, смеются, шутят, берут друг друга за руки. Она ловит каждое его слово, — между ними витает амур, ясно, хотя разница в возрасте, видимо, немалая, — впрочем, это могло бы смутить людей в какой угодно стране, но не здесь же!.. Он галантно подсаживает свою даму в подкативший автобус. Словно школьники, они спешат занять место позади, у заднего смотрового стекла, чтобы глазеть на улицу.

Выходят у синема «Олимпии». Там нынче какой-то американский вестерн. А героиня — Киса Куприна, дочка Александра Ивановича.

Неужели столь благородному господину с его дамой может нравиться подобное? Как ни странно, да, он по-мальчишески бурно реагирует на лошадей, погоню, пальбу, индейцев. В темноте они держатся за руки и иногда целуются.

И вот так однажды в этой киношке их нашел Зуров. Человек с фонариком сопровождал его.

— Да, здесь. Это они. Мерси, мсье... Иван Алексеевич, извините, это я... Вера Николаевна послала. Она волнуется, не знает, что говорить... Там звонили из Стокгольма, из Парижа. Чего ей говорить-то?.. Может, сами пойдете?..

— Из Стокгольма? Ну ради такого дела надо пойти. А, Галя? Пойдем?

— Да уж ради такого пойдем...

Есть фотография: шведский король в 1933 году вручает Ивану Алексеевичу Бунину Нобелевскую премию. Среди черных смокингов, роскошных платьев, академиков, членов королевской семьи — выделяется простовато — круглое личико Гали Кузнецовой, жены шофера Петрова.

Вера Николаевна Муромцева тоже там, как он мог ее не взять?..

А как Галину мог не взять?

Так сильно любил ее, что ли?..

Потом она принесла ему немало мук, настоящих страданий. Она больше не расставалась с Маргой Степун, близкой подругой.

Марга носила мужские костюмы и шляпы, сплетничала об актерах и театре, была из самой гущи парижской актерской богемы. Чопорный и старомодный Иван Алексеевич не сразу мог и сообразить, что она лесбиянка. А уж, узнав, был убит, разумеется: не в силах был понять своих чувств, ревности, брезгливости, обиды. Случалось, нарочно наблюдал за ними, следил, где Галя, — муча, конечно, была адова. Галина вела себя поначалу невинно и скрытно, потом и скрывать было нельзя. Она уходила, возвращалась, жила опять у Буниных, даже с Маргой...

Вот строки из его позднего дневника, уже 42-го года, — шла война, он уже перенес удар, болел, голодал, жизнь шла на убыль.

«31.3.41. Марга и Г. завтра переезжают в Cannes — «на два месяца», говорят. Думаю, что навсегда. Дико, противоестественно наше сожительство...»

И другая запись:

«1.4.42. *Среда*. ...В 11-45 ушла с мелкими вещами Г. Возле лавабо остановилась, положила их, согнувшись, на земле. Тут я отошел от окна. Конец. Почти 16 лет тому назад узнал ее. До чего была не похожа на теперешнюю! Против воли на душе спокойно и тяжело, грустно. Как молод был и я тогда».

Она уехала с ней в Германию, покинув Бунина, потом в Америку.

Она любила и потому делала, что хотела.

Трудно сказать, научил ли он ее писать, но этому научил.

НОБЕЛЕВСКАЯ. Великая требовательность к себе, посвящение всей жизни своему делу, максимализм — мне нужен только шедевр! — подлинное рыцарство в литературе, верность себе и своему пути, как и невзгоды, сомнения, смятения, ошибки, подчинение быта своего и близких лишь одному своему делу, испытание глупой и злой критикой, лишения, болезни, — всё когда-то окупается у русского писателя. Его долгой посмертной славой, миллионами его читателей, в которых остается при чтении часть его души, его ума, им созданного нового мира.

Когда-то награждает Бог русского писателя и своим звездным часом, мигом ослепительного признания и фейерверка славы. Он не ждет, «не требует награды за подвиг благородный». Награда сама однажды находит его.

«Решением Шведской академии от 8 ноября 1933 года Нобелевская премия по литературе за этот год присуждается Ивану Бунину за строгий артистический талант, с которым он воссоздал в литературной прозе типичный русский характер».

Бунин: «Весь вечер «Бельведер» полон звоном телефона, из которого что-то отдаленно кричат мне какие-то разноязычные люди чуть не из всех столиц Европы, оглашается звонками почталыонов, приносящих все новые и новые приветственные телеграммы чуть не из всех стран мира, — отовсюду, кроме России! — и выдерживает первые натиски посетителей всякого рода, фотографов и журналистов... Посетители, число которых все возрастает, так что лица их все больше сливаются передо мною, со всех сторон жмут мне руки, волнуясь и по-

спешно говоря одно и то же, фотографии ослепляют меня магнием, чтобы потом разнести по всему свету изображение какого-то бледного безумца, журналисты наперебой засыпают меня вопросами...

— Как давно вы из России?

— Эмигрант с начала двадцатого года.

— Думаете ли вы теперь туда возвращаться?

— Бог мой, почему же я теперь могу туда возвратиться?

— Правда ли, что вы первый русский писатель, которому присуждена Нобелевская премия за все время ее существования?

— Правда.

— Правда ли, что ее когда-то предлагали Льву Толстому и что он от нее отказался?

— Неправда. Премия никогда никому не предлагается, все дело присуждения ее проходит всегда в глубочайшей тайне.

— Имели ли вы связи и знакомства в Шведской академии?

— Никогда и никаких.

— За какое именно ваше произведение присуждена вам премия?

— Думаю, что за совокупность всех моих произведений.

— Вы ожидали, что вам ее присудят?

— Я знал, что я давно в числе кандидатов, что моя кандидатура не раз ставлялась, читал многие лестные отзывы о моих произведениях таких известных скандинавских критиков, как Vööк, Osterling, Agrell, и, слыша об их причастности к Шведской академии, полагал, что они тоже расположены в мою пользу. Но, конечно, ни в чем не был уверен.

— Когда обычно происходит раздача Нобелевских премий?

— Ежегодно в одно и то же время: десятого декабря.

— Так что вы поедете в Стокгольм именно к этому сроку?

— Даже, может быть, раньше: хочется поскорее испытать удовольствие дальней дороги. Ведь по своей эмигрантской бесправности, по той трудности, с которой нам, эмигрантам, приходится добывать визы, я уже тринадцать лет никуда не выезжал за границу, лишь один раз ездил в Англию. Это для меня, без конца ездившего когда-то по всему миру, было одно из самых больших лишений.

— Вы уже бывали в скандинавских странах?

— Нет, никогда. Совершал, повторяю, многие и далекие путешествия, но все к востоку и к югу, север же оставлял на будущее время...

Так неожиданно понесло меня тем стремительным потоком, который превратился вскоре даже в некоторое подобие сумасшедшего существования: ни единой свободной и спокойной минуты с утра до вечера. Наряду со всем тем обычным, что ежегодно происходит вокруг каждого нобелевского лауреата, со мной, в силу необычности моего положения, то есть моей принадлежности к той странной России, которая сейчас рассеяна по всему свету, происходило нечто такое, чего не испытывал ни один лауреат в мире: решение Стокгольма стало для всей этой России, столь униженной и оскорбленной во всех своих чувствах, событием истинно национальным...»

Бунин, конечно, не мог знать, что официальная, правительственная Россия делала все, чтобы помешать ему получить премию. Есть документы МИДа СССР, донесения Посла СССР в Швеции Александры Коллонтай и разведчиков НКВД на этот счет*.

Пришла пора праздника. Еще в Грассе начались бесконечные телефоны, телеграммы, репортеры, вспышки магния, букеты, поцелуи, объятия — и потом так до бесконечности: поезд до Парижа, первые бокалы в вагоне-ресторане — и бокалы, бокалы, бокалы; в Париже на Лионском вокзале уже встречала тол-

* По сообщению журналиста Дм. Черкасского.

па, французы, русские, русские друзья, знакомые, незнакомые. Ура, Бунин! Виват, Бунин! Бунин! И кто-то свой: «Иван Лексеич! Бунин!.. Бунин! Бунин!..»

В такие минуты, подобных которым почти и не бывало в жизни, «скорпионская» часть его души инстинктивно пугалась, сжималась, он мелочно всё продолжал думать о полагающемся лауреату миллионе — вот до чего затерзали проклятое безденежье и долгая бедность! — и лишь во время самой церемонии, когда высокий и тощий Шведский король Густав V среди роскошного общества, под звуки медных фанфар вручал ему медаль, диплом и портфель с вложенным туда чеком, Бунин вспомнил и подумал об отце и брате Юлии; вот они бы увидели, посмотрели! Или мать, которая всегда выделяла его из других детей, говорила, что он у нее особенный.

Церемония не обошлась без нелепости. Андрей Цвибак (Седых), бывший в те дни возле Бунина вроде бы в качестве секретаря и репортера, выронил нобелевскую медаль, которую передал ему поддержать Бунин, и медаль покатилась по полу: среди ног присутствующих, лаковых башмаков Цвибак ползал, ловил ее. Затем он оставил на каком-то кресле портфель, где лежал чек на получение премии. Даже испугал Бунина, но, слава богу, портфель нашелся — все же вокруг была публика королевского двора, королевские гости.

Но прежде были еще некоторые приятные вещи. Из Парижа в Стокгольм ехали в «Голубом экспрессе», международном вагоне (сам лауреат, Вера Николаевна, Галя Кузнецова и Цвибак).

Цвибак (Седых) в своих воспоминаниях этот момент отметил так: «За зеркальным окном ночь, мрак, огни далеких, убегающих куда-то городов. Радует глаз белоснежное постельное белье, красное полированное и слегка потрескивающее на ходу дерево купе и та особенная ловкость, с которой прилажена каждая вещь в международном вагоне. Ничего на свете Бунин не любил так, как дорогу, эти спальные вагоны, мерный, укачивающий бег поезда вдаль. В ту ночь он почти не спал: все время выходил на площадку, курил, всматривался в темноту ночи, в заснеженные поля, в темные сосны, мелькавшие вдоль полотна...»

А вот из «Дневника» Кузнецовой: «Вечером после обеда в вагоне-ресторане стояла в коридоре и смотрела в окно. Ночь, незнакомая страна, уже Бельгия, лунная ночь, блеск реки под какими-то остроконечными черными сопками. Вагон швыряло, я стояла, смотрела, все думала... Кажется, впервые за этот месяц на несколько минут осталась одна. Все еще не понимала до конца, что заколдованный круг нашей жизни распался, что мы уехали из Грасса и едем в Швецию, в которой никогда не предполагали быть... Ночь. Не сплю. Стояла в коридоре с И. А., смотрела в окно. Наш вагон стал теперь последним. Белизна снега, пути, высокие мрачные деревья. Потом — огни, заводы, вышки, и все это живет странной, зловещей жизнью, что-то пылает, что-то как будто льют. Германия работает даже ночью. Около часу ночи переехали германскую границу. Трое немцев осматривали, смотрели, какие у нас газеты, но, узнав, что И. А. — Nobelstrategers, поклонились и ушли. И. А. потренировал у проводника бутылку рислинга, пили у него в купе, он был весел, говорил, что так всегда путешествовал прежде».

В Стокгольме тоже встречала толпа, было немало русских, поднесли даже хлеб-соль на серебряном блюде с расшитым полотенцем. Потом начались обеды, визиты, роскошная гостиница, завтрак у дочери Нобеля, прогулки по Стокгольму. Газеты с портретами, плакаты, опять фотографии и журналисты. Слава. «Совершенный успех тенора», — не удержался усмехнуться на себя самого Бунин.

Самым приятным, чем сразу понравилась Швеция, был снег. Еще ночью в окне вагона всё тянулись тяжелые хвойные чащи, и повсюду — белый, светящийся во тьме покров. Бунин — уже утром, в отведенных ему апартаментах, трехкомнатном номере с ванной в доме Нобелей, — стоял у фанера эркера, думал об этом снеге. Хотелось поскорее выбраться куда-нибудь на волю, побродить по этому снегу, вдохнуть его свежесть, полузабытый запах, слепить в руке снежок. Под окнами серо темнела вода канала с льдинами, похожими на плыву-

щий по воде воск, которым капают в гаданье. На той стороне гигантски торчала гора королевского дворца. В голове мешалось все сразу: это желание пробежаться по снегу, последние часы путешествия, переезд на пароме, куда загнали, приковали цепями и так везли до Стокгольма их поезд. Бурная встреча на вокзале, опять с аппаратами кино, вспышками магния, журналистами, русскими голосами, хлебом-солью, цветами, поцелуями, объятиями. Снег, каналы, дворцы, шпили — всё отдавало Петербургом, севером, Россией. Перебиралась в голове программа дня, опять путешествие и встречи; затем мыслью он забежал вперед, воображая предстоящую церемонию, получение денег. Складывались отрывочные фразы из той речи, которую хотел бы он им — всему миру — сказать: не забыть, что изгнанник, что все равно русский, Россию представляю, хоть и без флага, гимна и посольства... Спасибо за вашу любовь к свободе, к искусству, подлинной литературе... Что-то еще надо будет сказать, не забыть. Как все получится перед всеми по-французски?..

Пока он стоял в размышлениях у студеного окна, по комнатам шло мельканье женщин, сборы, уже одевание куда-то, Бахрах громко с кем-то переговаривался в телефон. В комнате прекрасная мебель, красное дерево, со стен глядели из золотых рам портреты в пудренных париках, хорошие картины. Неотвязно болталась еще со вчерашнего привязавшаяся строка: «...швед, русский — колет, рубит, режет»; и здесь, и сюда провожал его Пушкин... «Бой барабанный, крики, скрежет...»

Как бы все же вырваться куда-нибудь за город, в лес, побродить по снегу? Уж очень родным пахнет... Выпить в каком-нибудь шведском погребке горячего грогу...

Нет, Бахрах, отлепившись от телефона, с бумажкой исчерканной, подходит, как всамделишный секретарь, с докладом: «В 11 утра — визит в Академию. В час дня — завтрак у чехословацкого посланника. В 4.30 — во французском посольстве. В 10 — ужин святой Лютеции, который устраивает в вашу честь редакция «Стокгольм Тингенден». Нет, похоже, не выйдет побродить по снежку. Слава, выходит, большая кабала, сам собою уже не распорядишься. Но щекочет, щекочет, так и бежит приятный нерв удовольствия по всему позвоночнику.

— Одеваться, что ли, пора?

— Пожалуй, Иван Алексеевич, у них насчет этикета строго...

— Конечно, королевство, чай. А дамы-то наши готовы? — И озорно кричит: — Эгей! Мадамы! Бой барабанный! Крики, скрежет!..

— Швед, русский — колет, рубит, режет! — отзывается догадливая Галина, уже с убранной в локоны головой, в нарядном платье.

Надо и ему одеваться. Громада королевского дворца в окне следит, словно страж с алебардой, так ли он все исполняет, как следует.

В дверь стучат — будто уже карета подана. Нет, это несут почту. Бахрах принимает в обе руки груды газет и писем. Вот это слава, вот это шторм!.. Он знал, что когда-то все это будет. Но все же, одно дело — мечты, другое — наглядность.

— Ладно, оставьте, с этим потом разберемся.

— Когда же, Иван Алексеевич? Здесь наверняка еще приглашения.

В газетах повторялась некая мало удачная фотография: расплывшееся бледное пятно, почти не узнать и вообще не угадать лица. Другие фотографии глядели из витрин магазинов, с экранов кинематографа. На улице стали узнавать его и оглядываться. Нет, право, гастроль тенора, опера.

С Мартой Людвиговной Нобель он сидел, рассматривая семейный альбом Нобелей. Начесанная, покрашенная, богато унизанная камнями дама была напроць глухая. На чае в русской колонии собралось человек сто пятьдесят. Вопросы, восторги, даже пели. На вечере святой Лютеции — опять громадный зал, гигантские столы, море публики. Едва Бунин вошел, все поднялись, плеча в ладоши, сияя лицами, лысынами, голыми женскими плечами. Он двинулся по проходу с изящным полупоклоном — овация провожала его до самого места. Он воздел руки, уже в смятении, — навстречу вышла белокурая красавица с коро-

ной из семи свечей, горящих на голове, святая Лютеция. Память репортерски фиксировала детали: ему уже хотелось сочинить обо всем этом рассказ — можно назвать «Снег», — как некий гастролирующий артист или подобный лауреат никак не может добраться до полянки, до пятачка живого снега, через эдакую блестящую, полную великолепия и пустоты кутерьму. Все — ему, все — для него. Рождественские базары с елками открыли, будто тоже в его честь, а ему хочется только снегу в ладони набрать, пожевать пушистый холод.

Он даже на самой церемонии вручения стал приглядываться к членам академии, к другим лауреатам, химику, физику, — кого бы из них можно выбрать в такие герои, в такой персонаж. Нет, не годились. Он один был такой, только про себя, самому можно было написать такой «Снег».

На банкете, который давал в честь лауреатов Нобелевский комитет, красиво-торжественный, сжато-взволнованный, необычайно обаятельно-корректный Бунин собрал воедино все слова, которые так незаметно-внимательно заготовил. Он не смутился поставленным перед ним микрофоном, он тщательно выговаривал всю речь по-французски. Он сам зафиксировал весь текст речи.

Он говорил: «...Я был бы неискренен, если бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление в моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби — совсем нет! Однако твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс, дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честнолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской академии. Впервые со времен учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима — она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции».

Даже не очень похоже на Бунина: расточать столь долго и много медоточивых комплиментов, говорить о себе, своих ощущениях при сонмище чужих людей. Это выдает все же степень его волнения и истинной благодарности. Что ж, в самом деле, как дитя; впервые в жизни чья-то добрая рука приласкала его, погладила по голове. Стоит вспомнить: Бунин получал свою премию последним среди такого списка всемирно известных писателей: 1920 год — Кнут Гамсун, 1921 год — Анатоль Франс, 1925 год — Бернард Шоу, 1929 год — Томас Манн, 1930 год — Синклер Льюис, 1932 год — Джон Голсуорси.

За каждым из великанов были своя страна, своя нация, друг-читатель. Наш Князь стоял один перед всем обществом, пред всем светом — один, лишь собою выражая и являя свою родину, свой народ, добывая для всех одну славу.

«**ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ**». В 1930 году «Жизнь Арсеньева» уже вышла отдельным изданием.

«...Ночью на моей горе все гудит, ревет, бушует от мистрала. Я просыпаюсь внезапно. Я только что думал или видел во сне о том, как во время прощания после панихиды (Великого князя Николая Николаевича.— М. Р.) последней из числа близких к е м у прощалась худенькая, высокая девушка вся в черном, с длинной траурной вуалью. Она подошла так просто, склонилась так женственно-любовно, на минуту закрыв легким концом ее край саркофага и старчески-детское плечо в черкеске... Стремительно несется мистраль, ветви пальм, бурно шумя и мешаясь, тоже точно рвутся куда-то... Я встаю и с трудом открываю дверь на балкон. В лицо мне резко бьет холодом, над головой разверзается черно-вороное, в белых, синих и красных пылающих звездах небо. Все несется куда-то вперед, вперед...

Я кладу на себя медленное крестное знамение, глядя на все то грозное, траурное, что пылает надо мной». («Жизнь Арсеньева», XXII гл. IV кн.)

Можно сказать, что «Жизнь Арсеньева» поставила точку в спорах о Нобелевской. Такой ч е л о в е ч е с к о й книги не было тогда во всей Европе. Русскому писателю положено судьбой свершать с в о е открытие в литературе. Единственное в своем роде, ни на кого не похожее. Бунин взял в с ю человеческую жизнь в пространстве своей книги, рассказал об о д н о й жизни всё, со всею полнотой правды. Так он хотел, так замышлял, так отвечала книга всем его собственным идеалам о подлинной литературе, так хотелось ему исполнить ее — безукоризненно, со всею возможной высотой к а ч е с т в а . Как шутил кто-то из английских писателей: когда я хотел прочитать хорошую книгу, я писал ее сам. У Бунина получилось то же самое. Более того, он сказал здесь все, что хотел.

Насчет романа хорошо написал Бунину Фондаминский: «...Думаю, что ваш роман — событие в истории русской литературы. С точки зрения современного читателя, однако, в нем есть недостатки: отсутствие занимательности, недостаток событий, некоторая риторичность. В этом вас, может быть, будут упрекать. Впрочем, вы предпочли писать для вечности, и я вас понимаю...»

Тем не менее он недоволен собой: и книга не отпустила, и влекут уже другие замыслы.

Запись в дневнике Веры Николаевны: «24 дек. 32 г. ...После обеда взволнован Ян:

— Я на грани душевной болезни. Сжег сегодня 17 страниц “Жизни Арсеньева”. Я устал. Нужно бы проехаться, а денег нет.

— Поезжай, а там устроимся.

— Я поехал бы в Авиньон и написал бы о Лауре и Петрарке... Но денег нет! Будущее меня страшит. Душа изболелась. Как будем жить?..»

Нашлись деньги или нет, поехал ли он в Авиньон в этот раз, мы не знаем, — вероятно, ему просто хватило воображения, но рассказ о Петрарке и Лауре, полный любовной грусти и печали, существует — «Прекраснейшая солнца» — и словно предворают великую книгу «Темные аллеи» — подходит ей, может, вообще был ей зачином! «Пишут, что в молодости он был силен, ловок... уже был он известен своим высоким талантом, умом, богатством знаний и неустанными трудами. Уже был одержим той беспримерной любовью, что сделала его имя бессмертным. Но жил, вместе с тем, всеми делами своего века, отдавал свой гений и на созидание всех благих его движений... Двадцать один год он славил земной образ Лауры; еще четверть века — ее образ загробный. Он сосчитал, что за всю жизнь видел ее, в общем, меньше года: и то все на людях и всегда облаченную в высшую строгость».

В письме старинному другу, писателю Н. Д. Телешову, Бунин написал — уже в 1941 году: «...Мы сидим в Grass'e (это возле Cannes), где провели лет 17 (чередую его с Парижем), теперь сидим очень плохо. Был я “богат” — теперь, волею судеб, вдруг стал нищ, как Иов. Был “знаменит на весь мир” — теперь никому в мире не нужен — не до меня миру!.. В. Н. очень болезненна, чему помогает и то, что мы весьма голодны. Я пока пишу — написал недавно целую книгу новых рассказов, но куда ее теперь девать?

..Я сед, сух, худ, но еще ядовит. Очень хочу домой!»

Еще через год Бунин писал Андрею Седых в Америку, чуть не слезно прося найти издателя, соглашаясь заранее на любые условия. Книга тогда, в 1943-м, с трудом вышла на русском, а на английском — только в 1947 году, принесся автору всего триста долларов гонорара.

Андрей Седых вспоминает встречу с Буниным перед своим отъездом в США: «Бунин говорил: “Плохо мы живем в Грассе, очень плохо. Ну, картошку мерзлую едим. Или водичку, в которой плавают что-то мерзкое, морковка какая-нибудь. Это называется супом... Живем мы коммуной. Шесть человек. И ни у кого гроша нет за душой — деньги Нобелевской премии давно уже прожиты... Один вот приехал к нам погостить денька на два... Было это три года тому назад, с тех пор и живет, гостит. Да и уходить ему, по правде говоря, некуда: еврей. Не могу же я его выставить?..”»

22 июня 1941 года немцы арестовали в Каннах и Ницце всех русских. Бунина не тронули: старик. Потом, в годы войны, без конца шли обыски и облавы, — таким образом и музыкант А. Либерман с женой был укрыт у себя Буниным. Жил там долго и Бахрах, бежавший от немцев из Парижа.

Бахрах в своих воспоминаниях и рассказывает, как писались «Темные аллеи»: «Он писал свою книгу запоем, словно все время торопился, боялся не успеть, боялся, что военные события воспрепятствуют ее завершению. Бывали недели, когда он с утра буквально до позднего вечера запирался (неизменно на ключ!) в своей большой комнате».

Осенью 1945 года Посол СССР во Франции А. Богомолов пригласил писателя к себе в посольство на завтрак. Речь шла о предложении вернуться на родину. Посол спросил, как относится Бунин к Советскому Союзу, не переменялся ли и не хочет ли вернуться? Бунин отвечал, что горд за победу СССР над Гитлером (возможно, это имела в виду Берберова, говоря, что он пил за Сталина!), но, в принципе, он должен подумать, изучить проблему: как сможет он жить в СССР, которого не знает, куда и как ему возвращаться, к кому?

Как забыть, не помнить, не любить землю, которую пешком исходил?..

«...Лес оказался очень старым, загложшим. Меня поразила его безжизненная тишина, его корявые, иссохшие дебри. Замедляя шаги, я с трудом пробирался по хворосту и бурелому, который гнил в грязи глубоких рытвин дороги. Ни одной птицы не слышно было в чащах. Иногда дорогу затопляло целое болото весенней воды. Сухие деревья сквозили кругом; их кривые сучья бросали слабые, бледные тени...

...Я уже чувствовал усталость. Ноги ныли в пыльных, горячих сапогах. И я принялся считать шаги, и занятие это так увлекло меня, что я очнулся только тогда, когда дорога круто завернула влево и вдруг ослепила резкой белизной мела...» («Святые горы», 1895):

Однажды явственно представил поезд, дорогу через Киев, Курск. А дальше что? Кто остался? Кем и с кем ему быть? Родных нет. Чехова давно нет, Толстого нет, Андреева. Горький? Что ж ему теперь Горький, глава красных писателей? И какое его будет место среди этого Союза писателей? Кто его знает, кто читает? Есть ли вообще там его книги? Похоже, что нет.

Между тем стал он много болеть, мучила эмфизема легких, из-за кровотечения был очень низок гемоглобин. В 1947 году пишет Седых в письме: «...Я только последние дни с трудом добирался с постели до письменного стола на несколько минут (написать две-три записочки): ровно два месяца пролежал в гриппе с страшным кашлем, от которого не спал (и еще не сплю по ночам), и с потерей крови непрерывно, следствием которой сделалось то, что доктора сказали: положение И. А. не безнадежно, но очень серьезно... Доктора, лекарства, питание (кило печенки стоит у нас теперь 600 франков!) разорили меня вдребезги».

Книга «Темные аллеи» особенно похожа на книгу стихов. Стихотворений и малых поэм, баллад. Тридцать восемь стихотворений и размер, самый хороший для сборника. И тематическое содержание, единство идеально соблюдено: любовь и смерть — только об этом.

Таинственны, необычайно новы все подряд рассказы, все одинаково наполнены печалью воспоминаний, глубокой тоскою обо всем, что здесь говорится, — о каждом женском образе, каждой истории, рассказанной с полной искренностью и беспримерной, жарко-плотской откровенностью.

Встречи, расставания, порывы; всегда сложные, а то и запутанные отношения, тоска, ревность, открытое вождление, безумие, страсть, измена, мучение.

«Знаете, какая история: у одного человека сердце ушло из рук и он сказал уму: прощай!

— Как это сердце ушло из рук?

— Это из Саади, кума. Был такой персидский поэт.

— Знаю. Но что значит сердце ушло из рук?

— А это значит, что человек влюбился. Вот как я в вас. («Кума»).

Любовь поражает всех: маленького гимназиста, едущего в одном купе с женщиной, которая вольно легла отдохнуть на дорожный диван, и мальчик по мужски вождленно разглядывает ее, словно дышит ею, теряя ум от ее совсем бытовой, домашней красоты, и уходит в полное помрачении («Начало»); молоденькую Галя Ганскую, смело отдавшую себя безумному своему чувству («Галя Ганская»); горничную Таню и ее Петрушу, так случайно захватившего к родственнице, помещице Казаковой, где Таня служила, — какая прекрасная соединила их, столь несхожих, любовь, счастливая, кажется, мгновенная и мимолетная, а на самом деле самая серьезная, озарившая и сломавшая обоим жизнь («Таня» — один из лучших рассказов!); и студента Мещерского, влюбившегося — тоже нечаянно — в подружку кузины Сони Натали, — как смело, подробно, с какой правдой пишет Бунин этот одновременный роман между ним, Соней и Натали и сколь чудный, неповторимо прекрасный образ эта Натали, с ее долгой, прошедшей столь мучительные дороги, сквозь всю жизнь любовью к этому вертопраху Мещерскому. «Это совершенно точно, — сказал я, бледнея, но крепнувшим голосом, сам себя уверяя, что говорю правду. — Ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед ними, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде: вина моя была все-таки не совсем вольная и даже в ту пору заслуживала снисхождения по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которое я попал. И потом я уже достаточно наказан за эту вину — всей своей гибелью».

Поразителен финал этого рассказа: последняя их встреча, будто случайная, их ужин, его желание ночевать в саду, в ротонде, ее неожиданный приход к нему — как все же она любила! «Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили, — она, лежа на постели, я, стоя на коленях возле и держа ее руку...» Любовь! Любовь! Оказывается, пройдя через все, через жизнь, они любят друг друга. Но Натали говорит: «И вот ты опять со мной и уже навсегда. Но даже видеться мы будем редко — разве могу я, твоя тайная жена, стать твоей явной для всех любовницей?..»

И далее — одна из страшных бунинских фраз, которыми он кончает свои рассказы: «В декабре она умерла на Женевском озере в преждевременных родах».

Смерть!..

Вот они, неразлучные подруги «Темных аллей», — смерть и любовь...

Читая жизнь свою, Бунин, по Пушкину, строк печальных не смыкает. Столь драгоценно для него все прошедшее, все, что было — не было — могло быть, — а значит, было, было. «Возможно, у каждого из нас найдется особенно дорогое любовное воспоминание или какой-нибудь особенно тяжкий любовный грех. Так вот Галя есть, кажется, самое прекрасное мое воспоминание и мой самый тяжкий грех, хотя, видит бог, все-таки невольный».

Сколько истерзанного, трепетно-нежного, горького сердца вложено в эти рассказы! Какая обширная у них география: Россия, Москва, Одесса, Париж, снова и снова Россия — усадьбы, деревни, постоянные дворы, гостиницы, вагоны,

вокзалы. Какая роскошь деталей, природы, полноты жизни, восторг жизни, счастье и,— выстрел, выстрел, будто на охоте: по самому красивому, живому, трепещущему теплым крыльями, учащенно мерцающему сердцу, сияющему и блещущему,— выстрел, выстрел, смерть, конец... Почему?.. «...ибо крепка, как смерть, любовь: люта, как преисподняя, ревность: стрелы ее — стрелы огненные: она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением» («Песнь Песней Соломона», 8).

Вся печаль и трагизм этих рассказов в целом оставляют у нас чувство ясной радости, праздничности и восторга, очищения,— перед мощью и чувственной, полной, богатой всеми на свете переливами любви-жизни, плотской, ликующей, трагически-ошеломительной. Не только эстетическое удовольствие, не один катарсис трагедии, как после «Ромео и Джульетты»,— нет, именно плоть жизни в этих рассказах, суть жизни человеческой, образ России воспоминаний, печаль о том лучшем, что было когда-либо с каждым из нас, создают праздничность и свет, струющийся среди темных аллей печально-запутанных бунинских любовных историй. Как-то не вяжется, не ложится сюда — вообще к Бунину! — слово «гимн», но именно так следовало бы назвать эту книгу: гимном любви, жизни, победительной крепости и силе любви над силой смерти. Опьяняющий восторг правды, точности; да, правда, пусть демон Смерти стоит наготове, караулит, швыряет свою секиру — если конец любви, если нет ее, то нечего и жить, незначем.

Рисую жизнь во всей полноте, писатель словно вновь рождает прежнее, создает в нетленности новую жизнь.

В «Грасском дневнике» Г. Кузнецовой есть такая запись:

«11 февраля. Вчера после завтрака осталась с И. А. в кабинете, и он рассказал свой сон. Он видел во сне Лику, выдуманную им, оживленную и ставшую по-степенно существом.»

— Вот доказательство того, как относительно то, что существует и не существует! — говорил он. — Ведь я ее выдумал. Постепенно, постепенно она начинала все больше существовать, и вот сегодня во сне я видел ее, уже старую женщину, но с остатками какой-то бывлой кокетливости в одежде, и испытал к ней все те же чувства, которые должны были бы быть у меня к женщине, с которой 40 лет назад, в юности, у меня была связь. Мы были с ней в каком-то старинном кафе, может быть, итальянском, сначала я обращался к ней на вы, а потом перешел на ты. Она сначала немного смущенно улыбалась... А в общем все это оставило у меня такое грустное и приятное впечатление, что я бы охотно увиделся с нею еще раз...

Слушая его и глядя на него, я думала, что и правда относительно существование вещей, лиц и времени. Он так погружен сейчас в восстановление своей юности, что глаза его не видят нас и он часто отвечает на вопросы одним только механическим внешним существом... Все время живет где-то там... Глядя на него, я думаю об отшельниках, о мистиках, о йогах — не знаю, как назвать еще, — словом, о всех тех, которые живут вызванным ими самими миром...»

Бунин всю жизнь играл козырными, а «Темные аллеи», если позволено такое преферансное сравнение, — словно еще козыри в прикупе, король и дама.

И все ведь придумано, сочинено, по его собственным признаниям,— вот они, русские сочинители, русская изящная словесность!

Надо непременно привести его хоть и известные, может быть, но очень важные строки из письма к Марку Алданову, одному из лучших друзей: «В молодости я очень огорчался слабости своей выдумывать темы рассказов, писал больше из того, что видел, или же был так лиричен, что часто начинал какой-нибудь рассказ, а дальше не знал, во что именно включить свою лирику, сюжета не мог выдумать или выдумывал плохонький... А потом случилось нечто удивительное: воображение у меня стало развиваться не по дням, а по часам, как говорится, выдумка стала необыкновенно легка, один бог знает, откуда что бралось, когда я брался за перо, очень часто совсем еще не зная, что выйдет из начатого рассказа, чем он кончится (а он очень часто кончался совершенно не-

ожиданно для меня самого, каким-нибудь ловким выстрелом, какого я и не чаял): как же мне после этого, после такой моей радости и гордости не огорчаться, когда все думают, что я пишу с такой реальностью и убедительностью только потому, что обладаю “необыкновенной памятью”, что я все пишу “с натуры”, то, что со мной самим было, или то, что я знал, видел!»

Вот это и есть дар, талант сочинительства, создание того, чего еще не было, не бывало, а стекает лишь с пера писателя. Память только дает толчок, — «счищает кнутовищем грязь с сапогов», — остальное делает воображение, тот творческий аппарат, почти механизм, которым наделен от природы художник. Так строится свой, почти независимый от реального мир, свои герои, случаи, неожиданности, порою невероятные, почти фантастические. Так создаются необыкновенные бунинские героини, часто они даже отрываются от примитивной реальности: с годами Бунин все более уходит от социальной характеристики — кто именно была «она», «он», не в этом суть.

«...Меня обвиняют в бесстыдстве, в низких побуждениях... Подлые души! Хорошо сказано в одной старинной книге: “Сочинитель имеет такое же полное право быть смелым в своих словесных изображениях любви и лиц ее, каковое во все времена представлено было в этом случае живописцам и ваятелям: только подлые души видят подлое даже в прекрасном или ужасном”».

И тем не менее «Темные аллеи», кроме всего, подобны дневнику, столь они личны, в каждом «приключении» виден автор — или он так «входит» в героя со своей способностью, почти актерской, перевоплощения. В каждом герое видишь самого Бунина, его властный, мужской, покоряющий женщин темперамент, донжуанский, беспощадный, охотничий жар, его напор и страсть. Вспомним, все эти рассказы пишутся стариком, больным и как будто бессильным, и он сам себе и Фауст, и Мефистофель, останавливающий, воскрешающий, воображающий прекрасные мгновения. Любовь прекраснее всего в первой, начальной ее стадии, достигнутое оборачивается печальным, бытовым, тленным — смерть настаивает ее почти мгновенно, в самом расцвете, а при той концентрации жизни, которую удается создать Бунину, при том сжатии времени, чувств, мысли, которой он добивается, любовь, вместе с жизнью, доводится до космической плотности «белого карлика», звездного вещества, входит в коллапс, во взрыв, в смерть. Конец любви, потеря ее — смерти подобны тоже.

Это запись под 2 декабря 1946 года.

Как хочется назвать этот день историческим!.. Ввести его в памятные даты русской литературы!.. Пусть бы в будущих учебниках, в их дальних веках интернетах стоит она вместе с датами рождения великих книг, событий жизни великих художников!.. Да будет ли?.. Что вообще будет дальше с русской литературой, русскими писателями? Где мы?.. Слишком много испорчено, извращено, подменено: по Ахматовой, «расхищено, предано, продано». Меня не очень занимает, скажем, какая в будущем будет выделка чугуна и стали, сколько зерна станут наконец собирать по осени, моя душа болит о литературе.

Помнится, приезжал в СССР госсекретарь США Шульц, захотел встретиться с нашими писателями. Встреча была в Переделкине, на даче у Андрея Вознесенского. Запомнилась речь неглупого Шульца перед нами — американцы изучали, прощупывали тогда наше мнение насчет перестройки: помогать нам или нет? Шульц говорил: «Человечество выходит на некие новые рубежи, на решение совсем новых проблем. Оно уже решило и придумало, как собирать много хлеба, чтобы всем хватило, и как каждому дать штаны. Вы, в России и еще кое-где в странах третьего мира, только и остались, кто не может никак одолеть этих примитивных в сути проблем. И это ваше частное дело. Мозги на это больше тратить не нужно. Мозги нужны совсем для другого: для изучения проблем глобальной экологии, астрономии, биологии, изучение самого мозга и т. п., на искусство и искусства».

В самом деле, старик в своем вечно-зеленом галстуке был, похоже, прав. Мы отстали от авангарда далеко-далеко, на общечеловеческом американском

полигоне давно решили то, о чем он говорил. Мы лишь болтали о техническом прогрессе, хвастали лунником и Гагариным, а сами все склеивали обмылками и запирали дверь газетой. Били себя в грудь: у нас-де душа, духовность против ихней глупой техники и роботов. А выяснилось, что душа-то устала и выщербилась, у иных и вовсе давно вышла... через пятки.

Без литературы, без культуры нам все равно не одолеть порчи. Без Бунина, о котором и заикнуться нельзя было более полувека.

Разумеется, литература есть лишь частное в общем потоке жизни и ее проблем, но она есть достаточно отчетливый индикатор того, что происходит с нацией, с миром вообще.

Литература не живет без земли, без родины, без народа, без языка. Мы свидетели, участники и пособники великой порчи того, другого и третьего. У нас теперь не смута, а порча, распад, вырождение.

Но может ли испортиться целый народ?.. Помните, профессор Преображенский у Булгакова говорил, что разруха не в писсуаре, а в головах?.. К сожалению, надо прямо глядеть в глаза правде: с головами плохо. Как ни стараешься думать оптимистически и по-прежнему верить, что и не такое бывало, но прошло же, миновалось, никуда не делись просторы земли, моря, леса и люди. Но каждый день, каждый час обнаруживается: и леса сгорели, и моря высохли, и поля оскудели, и, главное, зло и зверство в людях кипит и разрастается, как содержимое деревенского сортира, в который озорники швырнули пачку дрожжей. Плохо и бедно живем — еще полбеды, микроб зла и безумия кочует и заражает умы и души прямо-таки на глазах ежечасно — вот беда.

Литература призвана и должна звать человека к добру, красоте, братолюбию. Тысячи прекрасных книг стоят на полках, зывая человека к лучшему, божественному, доброму... Кто читает? Кто слышит? Чья заскорузлая душа обливается слезами над вымыслом?..

Горько сказать правду: мало кто.

Да и не так это, конечно. Воспитавшись на этой самой литературе, остаешься наивным верующим в величие красоты и добра.

Уж какую жизнь прожил тот же Иван Алексеевич Бунин, чего ни повидал, через что ни прошел, но упорствовал, работал, держал каждый день перо тремя пальцами, делал свое дело, оставив нам, как праздник, хоть те же «Темные аллеи»!..

Нет, не должны совсем пропасть ни земля, ни народ, ни язык (уж с ним-то что делают безграмотные, бездарные головы, поганые языки говорильщиков!). Не пропадут, не исчезнут. Не может быть.

ЛЕВ ТОЛСТОЙ. Новой и главной работой этого времени уже была книга «Освобождение Толстого», Иван Алексеевич как бы испытывал некую неловкость перед памятью Льва Николаевича, не имевшего Нобелевской премии, может быть, чуть лукавил перед собою, но сравнивал, сопоставлял — не в свою пользу: вот-де Толстой умел во всем оставаться Толстым, а мы, грешные, суетимся. Из полученных им семисот с чем-то тысяч франков 126 тысяч было сразу роздано нуждающимся. Бунин говорил, что получил две тысячи писем с просьбами о вспомоществовании.

Праздник был короток, а жизни впереди еще оставалось немало. Подкатила новая мировая война, жестокая битва России с Гитлером; в войну Бунины вновь жили в Провансе, в том же Грассе, только уже на другой вилле — «Жаннет», там писал он о Толстом, книгу о Чехове, правилось и готовилось полное собрание сочинений для берлинского издательства «Петрополис». Опять он жил, чтобы писать. В голоде, холоде, большим продолжал свое рыцарское служение литературе. Был и оставался все таким же — погруженным в память о России, о русских характерах, природе. Не изобретал, не выдумывал никакого особо «русского пути» — писал, что знал и любил, оставался русским писателем.

Ох, трудно быть русским писателем!

Если главный бог русского писателя — правда, то другой, несомненно, — свобода. Никуда не уйти опять от патриарха Пушкина, который раз и навсегда сообщил для всех писателей одну программу: чувства добрые лирой пробуждать, в жестокий век восславлять свободу и милость к падшим призывать.

Например, в итальянском государстве Флоренция крепостное право отменили еще в XII веке — сколь долгий путь пришлось пройти России во мраке своего рабства до освобождения несчастного народа от крепости! Первые и лучшие умы страны были столь же подневольны и унижаемы общим законом, как последний раб. Но дух свободы светился в каждой вольной душе, вольном уме.

Но ведь большей свободы, кажется, и не нужно бы человеку! Не происходит ли то и дело в истории — да и прямо на наших глазах сегодня, — что дается рабу свобода, «вольная» по-старому (тоже по-разному можно дать!), а раб, однако, остается рабом, либо не способным данную ему свободу осуществить, либо обратив ее лишь в свое «что хочу», попирая мигом тем самым свободу ближнего.

Кто-то из старших детей спросил меня недавно: «А какие же все-таки книги написал Иван Бунин?..» Пушкин — «Онегина», Лермонтов — «Героя», Гоголь — «Мертвые души», Толстой — «Войну и мир», «Анну Каренину», Достоевский — «Преступление», «Идиота», «Карамазовых», «Бесов», Некрасов — «Кому на Руси...» и «Русских женщин», Герцен — «Былое и думы», Тургенев — «Дворянское гнездо», «Записки охотника» и прочее, Чехов — рассказы и пьесы, «Чайку», Горький — «Клима Самгина». Конечно, все помнят у Бунина «Солнечный удар», «Легкое дыхание», «Деревню», еще отдельные рассказы. А книги, какие же книги?..

Этот «детский вопрос» тянется хвостом за Буниным всю жизнь. Великий писатель, мастер, поэт, а какие все-таки главные книги?..

Надо ответить. Твердо и определенно. Книга стихов «Листопад», «Гайавата». Объемный роман «Жизнь Арсеньева» (почти век русской жизни, русского человека). Книга рассказов «Темные аллеи» и, конечно, книга «Освобождение Толстого» — огромный труд одного русского писателя о другом, художественно-философский труд, биография великого писателя и великого человека, книга о Человеке: кто он, что он? Откуда он и куда движется?.. Бунин замечательно написал о любимом им Чехове, но это скорее лишь воспоминания, полные ярких и интересных эпизодов, встреч, чеховских высказываний, шуток и т. п. Книга о Толстом — подлинно философский труд, не просто пересказ великой жизни и лепка столь знакомого, кажется, всем образа: Бунин исследует Толстого лично, пристрастно, как самого себя, — и находя, кстати, много сходства, несмотря на столь определенную разницу между н и м и собою. Все, чем мучим был Бунин много лет, его мысли о жизни, о Боге, о смерти и бессмертии стало содержанием «Освобождения», превратив его в книгу о с о б у ю , в трактат.

Бунин так любит Льва Николаевича, столь много думал о нем всю жизнь, читал, вчитывался, затем уже специально изучал, что вместе с философией рождается живая биография, в е с ь Толстой. Весь, близкий Бунину; автору «Освобождения» интересны и фиксируются им все те моменты, которые сближают его с героем его труда. Дело не в желании походить на великого старца, — хоть, может, отчасти и так, — а в том, что на самом деле многое сходится, похоже, и Бунин заодно как бы исследует себя, свой путь и свой мир и образ. Метод примерно тот же, каков был в «Жизни Арсеньева», — от живой биографии, даже фотографии, к самому широкому обобщению всей жизни одного русского человека.

«Мало того, что пространство и время и причина суть формы мышления и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть большее и большее подчинение себя этим формам и потом опять освобождение от них...»

Бунину нравится, что Толстой разделил всю свою жизнь на семилетия, «говорил, что “соответственно семилетиям телесной жизни человека, признаваемым даже и некоторыми физиологами, можно установить и семилетия в развитии жизни духовной...”»

...В последние годы он делил свою жизнь на «фазисы». — Человек переживает три фазиса, и я переживаю из них третий. В первый фазис человек живет только для своих страстей: еда, охота, женщины, тщеславие, гордость — и жизнь полна. Так у меня было лет до тридцати четырех, потом начался интерес блага людей, всех людей, человечества (началось это с деятельности школ, хотя стремление это проявлялось кое-где, вплетаясь в жизнь личную, и прежде). Интерес этот затих было в первое время семейной жизни, но потом возник опять с новой и страшной силой, при сознании тщеты личной жизни».

3-ю главу целиком Бунин посвящает уходу Толстого из Ясной Поляны — его мучительное путешествие, последний земной путь: в Оптину пустынь, в Шармардино, к сестре Марии, которая была там монахиней, — все, что было до Астапова, и само Астапово, болезнь, муки о Софье Андреевне и прочее, вплоть до кончины. «И встал Иов, и разодрал верхнюю одежду свою, и остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: наг вышел я из чрева матери моей, наг и возвращусь туда».

Наг, как во чреве матери, был и тот, кто тихо скончался под чьим-то чужим кровом, на какой-то дотоле никому не ведомой железнодорожной станции...

«...Постоянно готовишься умирать. Учишься получше умирать...»

Конечно, Бунин, беря эти слова, не мог не обращать их на себя, не думать о себе.

— Я никогда никого, кроме тебя, не любил, говорил мне (слова Софьи Андреевны) всю жизнь Лев Николаевич. Но ведь не так легко было сделать счастливым Толстого! Я помню, как однажды наш друг поэт Фет сказал про меня: «Софья Андреевна по ножу ходит». По ножу я и ходила всю жизнь...

— Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!..

«В кабинете и в спальне все застыло с той ночи, когда он ушел, в полной неприкосновенности: подсвечник с догоревшей свечой и розеткой, окапанной стеарином, два яблока, подушка на диване, где он отдыхал, кресло, на котором около письменного стола любила сидеть Софья Андреевна, шахматы, три его карточки в разных возрастах и открытый на дне его смерти «Круг чтения». — Седьмого ноября. «Смерть есть начало другой жизни». Монтень.

...Эта комната особенно мертва, и в ней, около постели, большой лавровый венок с красными лентами и надписью: «Огласившему пустыню жизни криком “Не могу молчать”».

«...В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело, — не то ли я почувствую, когда буду умирать: я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело...»

Во всей всемирной литературе нет ничего похожего на эти строчки и нет ничего равного им.

— Подчинение и потом опять освобождение».

Как тщательно, как нервно выбирает Бунин эти цитаты! Как напряжен его ум, его душа той же заботой, теми же мыслями! Все похоже, похоже...

После всем известной сцены, как его младенцем пеленали, связывали: «Связывают». Впоследствии он будет неустанно все больше «развязываться», стремиться назад, «к привычному от вечности».

Разве и сам Бунин всю жизнь не искал свободы, себя «изначального», частицу вечности?..

«...Вскоре после смерти Толстого я был в индийских тропиках. Возвратясь в Россию, проводил лето на степных берегах Черного моря. И кое-что из того, что я думал и чувствовал и в индийских тропиках и в летние ночи на этих берегах, под немолчный звон ночных степных цикад, впоследствии написал:

— Некоторый род людей обладает способностью особенно сильно чувствовать не только свое время, но и чужое, прошлое, не только свою страну, свое племя, но и другие, чужие, не только самого себя, но и ближнего своего, то есть, как принято говорить, “способностью перевоплощаться”, и особенно живой и особенно образной (чувственной) памятью.

Для того чтобы быть в числе таких людей, надо быть особью, прошедшей в цепи своих предков долгий путь многих, многих существований и вдруг явившей в себе особенно полный образ своего дикого пращура со всей свежестью его ощущений, со всей образностью его мышления и с его огромной подсознательностью, а вместе с тем особью, безмерно обогащенной за свой долгий путь и уже с огромной сознательностью...

И вот — поэты, художники, святые, мудрецы, Будда, Соломон, Толстой...

Гориллы в молодости, в зрелости страшны своей телесной силой, безмерно чувственны в своем мироощущении, беспощадны во всяческом насыщении своей похоти, отличаются крайней непосредственностью, к старости же становятся нерешительны, задумчивы, скорбны, жалостливы... Сколько можно встретить в царственном племени святых и гениев таких, которые вызывают на сравнение их с гориллами даже по наружности. Всякий знает надбровные дуги Толстого, гигантский рост и бугор на черепе Будды, падучую болезнь Магомета...

Все, подобные им, сперва с великой жадностью приемлют мир, затем с великой страстностью клянут его соблазны. Все они сперва: великие грешники, потом великие враги греха, сперва великие стяжатели, потом великие расточители. Все они ненасытные рабы Майи — и все отличаются все возрастающим с годами чувством Всебытия и неминуемого в нем исчезновения...»

Далее Бунин рассказывает о своей давней, личной любви к Толстому, о встречах с ним, о толстовцах, через которых хотел попасть к Льву Николаевичу. «“Темными” называли их в Хамовниках, вся семья и сам Толстой. Они появлялись в хамовническом доме в своих блузах и туфлях, сапог, то есть “кожу убитых животных”, они не носили, молча сидели по углам, смотрели с вызывающим осуждением, угрюмые, нелюдимые, страшные на вид, заросшие мохнатыми бородами и волосами, — их называли еще дремучими. Не было тогда дома в Москве, где бы не обсуждали проповедей Толстого, не бранились по поводу него, не рассказывали о том, как он, в своей бекешке, с седой бородой, с жесткими и умными глазами под нависшими бровями, пробегает то там, то здесь по московским улицам и бульварам, как видят его иногда везущим бочку воды на обледенелых салазках...

В пору своей молодости ранней о нем тоже очень много говорили, но совсем иначе. Тогда все еще поражались тем, что граф, аристократ, богач, знаменитый романист вдруг надел мужицкую одежду, стал пахать, шить сапоги, класть печи, обслуживать самого себя. Поражались “Крейцеровой сонатой” и особенно “Послесловием” к ней, где человек, произведший на свет тринадцать детей, вдруг восстал не только против любви между мужчиной и женщиной, но и даже против продолжения человеческого рода. Чаще всего говорили, что “Крейцера соната” объясняется очень просто — его старчеством и тем, что он “ненавидит жену”. Еще тогда рассказывал мне Теноромо, будто Толстой сказал ему однажды: “Ненавижу Софью Андреевну, да и всех женщин! Умру, положат в гроб, закроют крышкой, а я вдруг вскочу, скину ее и крикну Софье Андреевне: ненавижу!”»

Бунин пишет, и чувствуется, как ему нравится этот ни на кого не похожий, всегда неожиданный, непокорный, всегда идущий против ветра Толстой.

Потому что он и сам такой, Бунин, пусть не столь ярко выраженный, иного нрава, иной поступи, но в душе, про себя такой же, точно такой.

Бунин с удовольствием подчеркивает его светскость, аристократизм, принадлежность к высшему кругу. Приводит слова Екатерины Лопатиной: «Ах, все, кто знали его когда-то, иначе и не называют его, как бывший светский лев! Да он и теперь, несмотря на все свои причуды, прежде всего светский человек и джентльмен с головы до ног, в обществе очарователен».

Она же подозревала его в некоторой психической ненормальности. «Хорошо сказал о нем наш кучер. Я раз ехала зимой и встретила его везущим на салазках обледенелую бочку с водой, и наш кучер, человек суровый и всегда пьяный, сказал мне: “Какой он черт граф! Он шальной”».

«Левочка несчастный человек,— говорил про него брат Сергей Николаевич.— Ведь как хорошо писал когда-то! Думаю, лучше всех писал. А потом свихнулся. Недаром с самого детства помню его каким-то странным...»

«...Сегодня я у Фета виделся с самим Толстым, который, ссылаясь на одного немца, а также и на основании собственных соображений, доказывал, что земля не вращается вокруг солнца, а стоит неподвижно и есть единственное нам известное твердое тело, солнце же и прочие светила суть лишь куски света, летающие над землей по той причине, что свет не имеет веса...»

Бунин обращается к портретам Толстого, с прозорливостью опытного и умелого физиономиста дает их анализ. «“Волчьи глаза” — это неверно, но это выражает резкость впечатления от его глаз: их необычностью он действовал на всех и всегда, с молодости до старости (равно как и особенностью своей улыбки).

Кроме того, что-то волчье в них могло казаться,— он иногда смотрел исподлобья, упорно.

Только на последних его портретах стали проявляться кротость, покорность, благоволение, порой даже улыбка, ласковое веселье. Все прочие портреты, чуть не с отрочества до старости, поражают силой, серьезностью, строгостью, недоверчивостью, холодной или вызывающей презрительностью, недоброжелательностью, недовольством, печалью...»

Невозможно не подумать о ранних портретах самого Бунина!..

Далее о Толстом. «“Проницательность злобы”, сказал он однажды по какому-то поводу, о чем-то или о ком-то. Это к нему непреложно. Справедливо говорил о себе: “Зол я никогда не был; на совести два, три поступка, которые тогда мучили; а жесток я не был”.

И все-таки, глядя на многие его портреты молодых и зрелых лет, невольно вспоминаешь эту “проницательность злобы”. “Дух отрицания, дух сомненья”, как когда-то говорили о нем, цитируя Пушкина, “разрушитель общепризнанных истин”...

Для таких определений он дал столько оснований, что их и не перечислить. Вот у меня на столе его швейцарский дневник 1887 г. Всюду он верен себе: “Странная вещь! из-за духа ли противоречия или вкусы мои противоположны вкусам большинства, но в жизни моей ни одна знаменито прекрасная вещь мне не нравилась”.

В зависимости от настроения, от той или иной душевной полосы, в которой он находился... он был то одним, то другим, и это тотчас сказывалось на всей его внешности... “С хорошими и дурными я совсем другой человек”. Все же в портретах его молодости, зрелости и первых лет старости всегда есть нечто преобладающее, такое, что, во всяком случае, не назовешь добротой».

Ну, просто крикнуть хочется, сколь похоже, сколь про себя говорит Иван Алексеевич, тоже добротой-то особой не отличавшийся!..

Далее, в последующих портретах, выделяет и отбирает Бунин тоже свое: то «взгляд холодный и надменный», то портрет того времени, «когда он приехал в Петербург из Севастополя и вошел в литературную среду, ему под тридцать лет, он в артиллерийском мундире совсем простого вида, худ и широк в кости, снят до пояса, но легко угадываешь, что он высок, крепок и ловок; и красивое лицо — красивое в своей сформированности, в своей солдатской простоте, тоже худое, с несколько выдающимися скулами и только с усами...»

И — вновь к швейцарскому дневнику Толстого, Бунин выбирает из него тоже свое, например, воздействие прекрасной природы: «Красота ослепила меня и мгновенно с силой неожиданного действовала на меня. Тотчас же мне хотелось любить, я даже чувствовал в себе любовь и жалел о прошедшем, надеялся на будущее, и жить мне становилось радостно, хотелось жить долго, долго, и мысль о смерти получала детский поэтический ужас... Физическое впечатление, как красота, через глаза вливалось мне в душу...»

В этом дневнике, вопрошает Бунин, где тут «волчьи глаза»? и почему даже и тут мысль о смерти? — он первый употребил совсем новые для литературы

того времени слова: «Вдруг нас поразил необыкновенный, счастливый, белый весенний запах...»

Иван Алексеевич пользуется текстом самого Толстого, явно предпочитая дать слово ему самому, нежели вести свои комментарии. И как внимательно отмечает он, примечает эти «новые для литературы» эпитеты, потому что, конечно же, это его эпитеты, это он сам уже так пишет, и ему важно и хочется опереться на авторитет Толстого.

Далее анализируются еще более поздние портреты Толстого: уже семьянина, помещика, барина, в расцвете сил, — вновь похоже на самого Бунина, на его собственные портреты благополучной поры. На этих портретах он опять отлично одет, на одном даже с цилиндром, позы у него непринужденные, гордо-красивые, глаза барски-презрительные, в небрежно оброненной руке папироса... Дивишься и другому: всегда легко плакавший, он даже и в эти годы мог в любую минуту вдруг горячо и умиленно заплакать. Умиленность, нежность — слова опять будто странные в применении к нему. Но вот он пишет Софье Андреевне: «Ужасно люблю! Переносусь в прошедшее — Покровское, лиловое платье, чувство умиленности — и сердце бьется».

Уж такие они странные, русские писатели, — чему дивиться!

Пройдем далее, по Бунину. «Пытливость, недоверчивость, строгость — откуда это? — Чтобы быть приняту в число моих избранных читателей, я требую очень немного: чтобы вы, читатель, были чувствительны... были человек религиозный, чтобы вы, читая мою повесть, искали таких мест, которые задевают вас за сердце...

Гете говорил: “Природа не допускает шуток, она всегда серьезна и строга, она всегда правда”.

Толстой был, как природа, был неизменно “серьезен” и безмерно “правдив”».

Конечно же, конечно, Иван Алексеевич Бунин почти выкрикивает эти слова от себя тоже, подписывается под ними, сообщает нам, что сие есть и его кредо!

Приводя далее известные слова о том, что герой его повести — правда, Бунин пишет еще уточнение: «И в жизни и в искусстве нужно лишь одно — не лгать».

Шопенгауэр говорил, что большинство людей выдает слова за мысли, большинство писателей мыслит только ради писания. Это можно применить ко многим даже очень большим писателям. Но вот уж к кому не применишь: к Толстому.

И Бунин продолжает, снова проецируя толстовское на себя, на свой, такой же эстетический критерий: «В смысле правдивости удивителен был даже язык его произведений, выделяющийся во всей русской литературе отсутствием всяких беллетристических красок, готовых стилистических приемов, условностей, поражающий смелостью, нужностью, точной находчивостью каждого слова».

Бунин так любит Толстого и так истово хочет быть подобным ему (оставаясь собою), что обращает внимание и фиксирует более мелкие, житейские черты: как Толстой говорил, как употреблял смело крепкое слово в речи, как был храбр, мужественен, как любил купаться, какой был страстный охотник, любил лошадей и собак. «Садясь на лошадь, он весь преображался, сразу делался моложе, бодрей и крепче; в лошадях знал толк, как истинный знаток, хвалил их без критики редко». Бунин вспоминает, как Тургенев, прочитав «Холстомера», сказал, что теперь верит, что когда-то Толстой был лошадейю.

Легко представить себе, что Бунин, пиша о Толстом, видел себя садящимся на лошадь и свое бодрое вспоминал чувство.

Ведя книгу о Толстом к концу, Бунин выводит следующее: «Насколько первобытен был по своей физической и духовной основе тот, кто при всей этой первобытности носил в себе столь удивительную полноту, сосредоточенность самого тонкого и самого богатого развития всего того, что приобрело человечество за всю свою историю на путях духа и мысли. Когда-то суть европейского мнения о нем очень недурно (в смысле европейской невежественности и самоуверенно-

сти) выразил Золя. Мнение это было, в общем, такое: да, крупный талант, но достаточно варварский, истое дитя крайне эмоционального народа, человек, наивно мудрствующий, открывающий давно открытые Америки, путающийся в том, что уже давно распутано... “Наивности” в нем было в самом деле немало, давно открытые Америки и вправду открывал, — в чужие открытия не верил, — во многом, что людям, подобным Золя, казалось давно распутанным, он долго путался, эмоционален был чрезвычайно...»

Но вот Бунин все ближе к самой сути своего труда, к самой сути своего героя. И к пониманию самого себя, к своему откровению.

«Было время, когда я тщеславился моим умом, моим именем, но теперь я знаю, что если есть во мне что-нибудь хорошего, то это доброе сердце, чувствительное и способное любить...»

С годами его чувствительность возрастала все более и более, в конце жизни дошла до крайней степени.

«...И думал: нет, этот мир — не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее для живущих с нами и для тех, которые после нас будут жить в нем».

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА. Кончат жизнь русскому писателю предопределено от Всевышнего: тех, кто помоложе, смерть косит, как хочет, и в двадцать с чем-то, и в тридцать — на войне ли, под пулей, с пулей у виска — всяко. В зрелые годы или в старости стереотип иной: доведет до полной усталости, до психического взрыва или срыва, до одиночества, редко кому дает собраться, одуматься, хоть мало уладить земные дела, покаяться и причаститься. Нет, все равно всем командует жизнь, смерть только часть ее — как жил, так и помирать будешь и хвататься за жизнь до последнего.

Нам остались немногие дневники Бунина и Веры Николаевны последних лет, уже полных приближения к бунинскому концу. Следует привести хотя бы некоторые записи, еще сделанные Буниным своей рукой.

«...Очень страдал весь день от воспоминаний своей протекшей жизни».

«5.4.42. ...Вдруг почему-то пришло в голову: Добчинский и Бобчинский... Да: Сквозник-Дмухановский, Яичница... даже Чичиков — все очень плоско, балаганно — и сто лет все с восторгом повторяют: Добчинский и Бобчинский!»

Как-то ночью, уже в постели, с книгой, в мертвой тишине дома вдруг точно очнулся, с ужасом: какое одиночество! И это последние дни и ночи жизни!»

«12.4.42. Воскресенье... Кончил перечитывать рассказы Бабеля “Конармия”, “Одесские рассказы” и “Рассказы”. Лучшее — “Одесск. р.”. Очень способный — и удивительный мерзавец. Все цветисто и часто гнусно до нужника. Патологическое пристрастие к кошунству, подлomu, нарочито мерзкому. Как это случилось — забылось сердцем, что такое были эти “товарищи” и “бойцы” и прочее! Какой грязный хам, телесно и душевно! Ненависть у меня опять ко всему этому до тошноты. И какое сходство у всех этих писателей — хамов того времени — напр., у Бабеля и Шолохова. Та же цветистость, те же грязные хамы и скоты, вонючие телом, мерзкие умом и душой...»

О Божьей Матери (икона в Ипатьевском монастыре, занятом текстильщицами): “Худая баба сидела, расставив колени, с зелеными и длинными, как змеи, грудями...”»

Нельзя не вспомнить об отношении Бунина к Блоку, Цветаевой, Маяковскому, о чем я уже говорил, — его ядовитое отношение к чужому и чуждому вообще перекрашивает его подлинный вкус, способность верной оценки. Настроение!.. (Чего вдруг напасть на Гоголя?)

«...Опять думал нынче: прекраснее цветов и птиц в мире ничего нет. Еще — бабочек».

«3.VI.42. Май был необыкновенный — соверш. чудовищные битвы из-за Керчи и вокруг Харькова. Сейчас затишье — немцы, кажется, потерпели нечто небывалое. А из радио (сейчас почти одиннадцатая вечера), как всегда, они заливаются. Удивительно — сколько блядского в этом пении, в языке! Думаю все время: что же это впереди! Если немцы не победят, полная погибель их. Если победят — как может существовать страна, ненавидимая почти всем миром? Но и в том и в другом случае — что будет со страной, у которой погибло все самое сильное чуть ли не с 15 лет до 50! А уже погибли миллионы и еще погибнут.

Франц. радио — нечто поразительное. Тонем во лжи и холопстве.

Читал вчера и нынче стихи — Г. Иванова, Гиппиус. Иванов все-таки поэт настоящий (в зачатке). Г. ужасна. Мошенница».

Опять и опять пристрастие оценок! Георгий Иванов, несомненно, большой поэт!..

«1.VIII.42. Среда. Двенадцатый час вечера. В одиннадцать радио: Севастополь взят. (Дорого, верно, достался!..) Все время полное безволие, слабость, — ничего не могу, кроме чтения лежа. Перечитал первый том “Бр. Карамазовых”. Три четверти — совершенный лубок, балаган. А меж тем очень ловкий, удивительно способный писака».

Если учесть, что чтение, тем более направленное, — для писателя тоже работа, то надо отдать должное страдающему недомоганием Бунину: он все время работает.

Через две недели он запишет еще: «Прекрасный день, попытка начать что-нибудь делать. Прочел (перечитал, конечно) второй том “Бр. Карамазовых”. Удивительно умен, ловок и то и дело до крайней глупости неправдоподобная чепуха. В общем, скука, не трогает ни-чуть...»

Вот и Федору Михайловичу достается, наравне с другими, — его, правда, Бунин никогда не любил.

Вера Николаевна записывает 14 августа: «Из Америки пришло приглашение: визы, даровой (или почти даровой) проезд и деньги на проезд и т. д. и т. д. А мне это кажется “приглашение на казнь”. Молю Бога, чтобы нам туда не суждено было уехать».

Далее опять Бунин.

«1.IX.42. Вторник... Сухое лето, сгоревшие цветы олеандра. Еврейские дни дошли и до нас. В Париже, говорят, взяли 40.000. Хватают по ночам. 10 минут на сборы. И мужчинам и женщинам бреют головы — и затем человек исчезает без следа. Детей отнимают, рвут их документы, номеруют — будет без роду-племени, где-то воспитают по-своему. Молодых евреек — в бардаки, для солдат. У нас взяли, говорят, уже человек 700—800...»

«7.IX.42. Перечитываю “Любовь в жизни Толстого” Жданова. Гадко — до чего обнажили себя и муж и жена насчет своей крайней интимности!»

«20.IX. В “Нов. журнале” (вторая книга) — “Натали”. И опять, опять: никто не хочет верить, что в ней все от слова до слова выдуманно, как и во всех почти моих рассказах, прежних и теперешних. Да и сам на себя дивлюсь — как все это выдумалось — ну хоть в “Натали”. И кажется, что уж больше не смогу так выдумывать и писать...»

«...Мой отец, моя мать, братья, Маша пока в некотором роде существуют — в моей памяти. Когда умру, им полный конец».

«Радио — кошмар. Не лжет только который час...»

«...Страшные мысли — вдруг останусь один. Куда деваться? Как жить? Самоубийство?»

Потом стал думать об этой кухарке на постоялом дворе. Все вообразил с страшной живостью. Возбуждение — и до того, что уже почувствовал все, что бывает перед концом. Мурашки, стеснение во всей грудной клетке...»

Нет, все же жив курилка!. Иван Алексеевич верен себе: от самоубийства — сразу — к телесам какой-то кухарки!..

«27.XII.42. ...Тем, что я не поехал с Цетлиным и Алдановым в Америку, я подписал себе смертный приговор. Кончить дни в Грассе, в нищете, в холоде, в собачьем голоде!»

«24.2.43. Нездоровится, повышенная температура.

Солнечно.

Я был умен и еще умен, талантлив, непостижим чем-то божественным, что есть моя жизнь, своей индивидуальностью, мыслями, чувствами — как же может быть, чтобы это исчезло? Не может быть!»

«2.4. Пятница.

...Продолжаю читать фр. перевод дневников С. А. Толстой (2 тома). Одержимая!..

Читаю записки Порошина, воспитателя Павла I. Обожествление мальчишки, часто очень гадкого и наглого.

Часто думаю о возвращении домой. Доживу ли? И что там встречу?..»

«10.4. Суб.

Кончил “18 год” А. Толстого. Перечитал? Подлая и почти сплошь лубочная книжка. Написал бы лучше, как он сам провел 18-й год! В каких “вертепах белогвардейских”! Как говорил, что сапоги будет целовать у царя, если восстановится монархия, и глаза прокалывать ржавым пером большевикам... Я-то хорошо помню, как проводил он этот год,— с лета того года жили вместе в Одессе. А клуб Зейдемана, где он был старшиной,— игорный притон и притон вообще всяких подлостей!»

Он продолжает тосковать о Галине.

«9.V. Воскр. ...Вечером, вернувшись, узнал о письме Г. к Вере (уже из Марселя): “Покидаем Францию. Бросилась в пропасть с головой...”»

Из записей Веры Николаевны (еще позже, 1944—1945 и т. д.):

«15.2. Немцами взяты у нас две комнаты наверху.

Нынче первый день полной нем. оккупации Alpes».

«17 февр. 44. ...Мы теперь в оккупационной зоне... Нас пока не трогают. Ян неустанно думает о смерти, с которой не в состоянии примириться. Ему бесконечно тяжело, мучительно жить... Тяжело прожить с человеком почти 40 лет и на самое важное и главное смотреть разное, а главное — чувствовать по-разному, воспринимать мир иначе...»

Бунин:

«С 8 на 9.V.44. Час ночи. Встал из-за стола — осталось дописать неск. строк “Чистого понедельника”. Погасил свет, открыл окно проветрить комнату — ни малейш. движения воздуха: полнолуние, ночь неяркая. Вся долина в тончайшем тумане, далеко на горизонте неясный розоватый блеск моря, тишина, мягкая свежесть молодой древесной зелени, кое-где мелькание первых соловьев... Господи, продли мои силы для моей одинокой, бедной жизни в этой красоте и в работе!..»

«Я жил затем, чтобы писать...»

«16.7. Воскр. ...Татарин Федя, другой татарин и самарский солдат. Вообще русские пленные у нас часто все лето.

Взято Гродно».

С этими русскими пленными, вдруг попавшими в Прованс, на юг Франции, Бунин часто общается, выпивает с ними, спрашивает, вместе поют русские песни, их угощают чем могут, напротив, те делятся тем, что принесут,— черным хлебом.

«22.7.44. Сон про свою смерть. Сумерки, церковь, я выбираю себе могильное место... Перечитал “Смерть Ивана Ильича”. Конец невразумителен. Все лживые, кроме самого Ив. Ильича,— он — слова, литература: все верно насчет него, но живого образа нет».

«14.5.44. 2¹/₂ *ночи* (значит, уже не 14, а 15 мая).

За вечер написал “Пароход Саратов”. Открыл окно, тьма, тишина, кое-где мутн. звезды, сырая свежесть».

«23.5.44. Вечером написал “Камарг”. Оч. холодная ночь, хоть бы зимой».

Так работает этот старый, голодный, измученный душой человек. Бывает с русскими писателями: чем хуже вокруг и тяжче в душе, тем быстрее бежит мысль и перо.

«4.VI.44. Вечер. Взят Рим! Вчера вечером вошли в него».

«6.VI.44. Вторник. В 5¹/₂ утра началась высадка в Нормандии. Наконец-то!.. Полнолуние».

«21.6. Среда. Взят Выборг. 3 года т. н., в ночь с 21 на 22, Гитлер, как он любил выражаться, “упал как молния в ночи” на Россию.

Ах, не следовало!»

«22.6. ...Уже почти час ночи, а хочется писать».

Вера Николаевна записывает **29 августа**: «В Париже образован корпус для расследования о сотрудничестве с немцами. Вот будет разделение на овец и козлиц... Ян сказал: — Все же, если бы немцы заняли Москву и Петербург и мне предложили бы туда ехать, дав самые лучшие условия, я отказался бы. Я не мог бы видеть Москву под владычеством немцев, видеть, как они там командуют. Я могу многое ненавидеть в России и в русском народе, но и многое любить, чтить ее святость. Но чтобы иностранцы там командовали — нет, этого не потерпел бы!..»

«**Полночь с 22 на 23 окт. 44.**

Роковой день мой — уже 75-й год пойдет мне завтра. Спаси, Господи.

Завтра в 8 утра уезжает Бахрах, проживший у нас 4 года. 4 года прошло!

Холодная ночь, блеск синего Ориона. И скоро я уже никогда не буду этого видеть. Приговоренный к казни».

«**2 декабря.** ...Ян сказал: “Привяжется мотив и все звучит. Сейчас — “Вы жертвою пали”...— Никогда не мог понять слов “любви беззаветной к народу”. Кто это так любил народ? Все выдуманное чувства, которыми жило несколько поколений. И что такое народ?..»

«**1 февраля.** ...Был болен Ян. Опять хрипы в легких, опять пенициллин. Очень ослабел, задыхается. Сегодня утром плакал, что не успел сделать, что надо. Потом просил беречься: “Если ты умрешь, я покончу с собой. Не представляю жизнь без тебя”. Плакала и я».

А вот почти последние записи их совместного дневника уже **1953 года**:

«**23 января.** Ян вчера не отпускал меня до 3 ч. Боялся остаться один».

Ночь с 27 на 28 января, почерком Бунина на отдельном листке:

«Замечательно! Все о прошлом, о прошлом думаешь и чаще всего все об одном и том же в прошлом: утерянном, пропущенном, счастливым, не оцененном, о непоправимых поступках своих, глупых и даже безумных, об оскорблениях, испытанных по причине своих слабостей, своей бесхарактерности, недалекости и о неотмщенности за эти оскорбления, о том, что слишком многое,

многое прощал, не был злопамятен, да и до сих пор таков. А ведь вот-вот все, все поглотит могила!

Он доживет еще до своего 80-летия, скромно будет отмечать юбилей: сам болен, деньги приходится занимать едва не каждый день у разных знакомых и друзей. Врачи, лекарства, питание — все требовало денег и денег. Их не было.

В минуты просветления Иван Алексеевич продолжал работать. Правил и правил рассказы, сокращал, улучшал, продолжал требовать от себя совершенства. Он знал, чего хотел, и знал себе цену.

«Жить мне осталось, во всяком случае, недолго. И приводя в порядок по мере моих уже очень слабых сил мои писания, в надежде,— тоже довольно слабой,— что они будут когда-нибудь изданы, я перечитал их почти уже все и вижу, что я не ценил их прежде так, как они того заслуживают, что они во многих отношениях замечательны по своей оригинальности, по разнообразию, сжатости, силе, по внутренней красоте,— говорю это не стыдясь, ибо уже без всякого честолюбия, только как художник. Некоторые из них мне особенно дороги, кажутся особенно восхитительны...»

Невозможно сказать о нем лучше!..

«4 июля. Ян чудесно прочитал Лермонтова “Выхожу один я на дорогу”, восхищаясь многими строками.

— Пожалуй, его смерть трагичнее пушкинской... Какая проза! И после таких поэтов — Есенин, Маяковский и т. д.».

Горько, но смерть пришла не с одними душевными муками: истощение, болезнь легких и сердца, видимо, перенесенный когда-то на ногах инсульт — были моменты, когда немела и отнималась то правая рука, то нога,— тяжелое под конец воспаление легких.

Есть свидетельство доктора Владимира Михайловича Зернова, который лечил Бунина: «Он страдал и склерозом легких и прогрессивным ослаблением сердечной деятельности... Все чаще и чаще я видел его лежащим в кровати... “Вот вы еще молодой,— говорил Иван Алексеевич,— вы полны жизни, вы не можете понять, что значит быть больным и старым...” Но, несмотря на болезнь, на слабость, Иван Алексеевич до последних дней своей жизни сохранил свой острый ум, память, резкость и меткость суждений, которые часто таили в себе некую желчность и даже озлобленность. Но наряду с этим у него было много сердечности и горячего отношения к окружающим... Думаю, что и большой и умирающий Иван Алексеевич страстно любил жизнь, ему хотелось жить, хотелось выздороветь, поправиться... я чувствовал, что он ждал каждого моего посещения, ждал, что доктор принесет ему что-то, что поможет ему жить, вернуться к той жизни, которую он так любил. В этом ожидании было нетерпение, и почти каждый раз, когда я приходил к нему, он брал свою палку, всегда лежавшую около его кровати, стучал ею в стену, разделявшую его комнату и комнату его жены, чтобы этим позвать ее. Если же она не появлялась сразу, то он звал ее: “Вера, Вера, иди скорей, слушай, что будет говорить доктор”. Но, как только торопливо прибегала уже плохо слышавшая и плохо видевшая Вера Николаевна, готовая исполнять все, что угодно для своего Яна, он нетерпеливо говорил: “Ну, что ты пришла, оставь нас вдвоем с доктором и приходи потом...” Был ли Бунин трудным больным? Болезнь его была мучительной, с многочисленными осложнениями, переносил он все терпеливо, без жалоб. В 1950 году он подвергся хирургической операции и вынес ее стойко и мужественно, по-видимому, страстно желая жить, но отдавая себе отчет, что жизнь приходит к концу и надежд на улучшение здоровья нет. Говорил об этом просто, как о неизбежном, ясно сознавая свое положение и не создавая себе иллюзий...»

Незадолго до своей смерти он говорил мне, что со смертью нельзя примириться: “Разве можно примириться, что тело скоро будут есть черви, вот этого я принять не могу”. Принять не мог, но говорил об этом спокойно, может быть, с некоторым раздражением, как говорил о плохо написанном литературном произведении.

Часто, часто наши разговоры возвращались к Родине. Иван Алексеевич горячо интересовался тем, что происходило в России, и, несомненно, его тянуло туда...

Вечером 8 ноября 1953 года меня вызвали по телефону к Бунину. Он задыхался, сердце слабело, приближался конец. Я сделал необходимые впрыскивания, успокоил больного и Веру Николаевну, обещал приехать, если нужно, попозже. Ночью меня вызвали снова. Когда я приехал...»

Прервемся, дадим слово Вере Николаевне, строкам из ее письма: «И. А. сидел. Я помогла ему лечь. Спросила, завтракал ли он? (Возле него дежурил Бахрах.) Оказалось, немного не доел телячьей печенки с пюре... Я сосчитала пульс — около ста и как ниточка. Позвонила Зернову, он обещал приехать... Уговаривала пообедать, но от еды, даже от груши, он отказался... Около десяти мы остались вдвоем. Он попросил меня почитать письма Чехова (это он все продолжал работать, думать, писал как раз о Чехове.— М. Р.). Мы вторично прочитывали их, и он говорил, что нужно отметить... “Ну, довольно, устал”.— “Ты хочешь, чтобы я с тобой легла?” — “Да”. Я пошла раздеваться, накинула легкий халатик. Он стал звонить. “Что ты так долго”. ...Затем, это было 12 часов, я, вытянувшись в струнку, легла на его узкое ложе. Руки его были холодные, я стала их согрывать, и мы скоро заснули. Вдруг я почувствовала, что он приподнялся, я спросила, что с ним. “Задыхаюсь. Нет пульса... Дай я спущу ноги”. Я помогла ему. Он сел на кровать. И через минуту я увидела, что его голова склоняется на его руку. Глаза закрыты, рот открыт...»

Далее пусть продолжит доктор: «Ночью меня вызвали снова. Когда я приехал, Бунина уже не было в живых.

По его желанию его верная Вера Николаевна закрыла его лицо платком, он не хотел, чтобы кто бы то ни было видел его лицо после смерти. Для меня она приоткрыла платок с лица покойника, и я в последний раз увидел красивое лицо, ставшее вдруг чужим и спокойным, точно он что-то увидел, что разрешило ему ту загадку смерти, которая мучила его в жизни.

Я помог привести в порядок тело и перенести его в другую комнату. Шью покойного Вера Николаевна повязала шарфиком. “Я знаю,— сказала она,— ему было бы приятно, этот шарфик ему подарила...” — и она назвала женское имя...»

..Я помню: 8 ноября 53-го я ехал в холодном плацкартном в Ленинград. На пол натаскали снегу, лампы тускло млели наверху, проводники носили в подстанниках вагонный чай, народ раскручивал из бумаги и резал прямо на нижних полках московскую колбасу с московскими батонами. Орало радио, а в двенадцать, отыграв курантами и спев «Союз нерушимый», стало передавать последние известия. И вдруг — среди прочего, впроброс, между прочим, далеко не полевитановски значительно, а так себе, скромненько: «В Париже скончался писатель Иван Бунин...» Ни слова более: ни одного названия, ни русский, ни нобелевский... Так я об этом узнал, так попрощался с Иваном Алексеевичем. Господи, как далеко был город Париж, как неведомо все то, что там происходило!..

Эти загадочные русские писатели, обладатели не менее загадочной русской души, все же умирают каждый по-своему.

Как и живут, впрочем.

И как не пытался, читатель, ваш покорный слуга намекать и выстраивать какой-то там стереотип, рок судьбы и тому подобное, наш герой оказался ори-

гинален, и своеобразен весь свой долгий почти век жизни, и верен себе во всем до конца.

...Вижу его живым, подтянутым, моложавым, в летнем костюме, в летний день, на ялтинском причале: сел на круглую медно-отдраенную лысину причального кнехта, подстелив под белые брюки квадрат столь же белоснежного платка, чуть скрестив ноги и опираясь легко на бамбуковую трость. Позади и вокруг летняя праздная толпа: женские шляпки и зонтики, белые офицерские кители, сверкающие золотыми начищенными пуговицами, соломенные канотье, парусиновые фуражки. Снуют голоногие круглоголовые татарчата с лотками, на которых сласти, рахат-лукум, ириски, миндаль; другие с банками воды — отмеряют здесь же стаканом. У пирса отшвартован прогулочный двухъярусный «Симеиз», сочится паром и откуда-то льющейся водой, сияет золотыми буквами названия на выстроенных поверх борта белых ведрах. По сброшенным на берег деревянным сходням туда-сюда топочут пассажиры, матросы в беретах, грузчики в холщовых робах. Где-то в рубке видны рулевой и капитан в белой твердой фуражке с рупором... Отогнув вверх край панамы, Бунин следит за кутерьмой чаек и черных нырков, которые, будто воробьи, сыпятся в воду, буравя ее. Под кормой посуды болтается на светло-бутылочной воде портовый мусор: щепки, яблоко, помидор, рыбешки, пробки, бутылка с наклейкой массандровского хереса, лист газеты. Чайки хищно кричат, бьют крыльями, падая на воду, что-то выхватывают из сора розово-черными крючками-клювами. От нырянья черных нырков вода будто вскипает, они с поражающей стремительностью вонзаются в нее и так же вылетают обратно. Позади — безмятежно зеленые горы, яйла, вершина Ай-Петри, над горами — кучами белопенные летние облака. Откуда-то из рестораника на набережной или с пароходика слышится треньканье оркестрика, скрипка, флейта и гитара ловят вместе некий невнятный мотив...

Вижу его живым, высоким, в черном зимнем пальто, барашковой зимней шапке — в морозный московский вечер идущим скорым шагом по Поварской, по правой стороне, в сторону Садового кольца. Поземка кружит белым платком по мостовой, во всю улицу, редкие фонари озаряют пятнисто сверху ее кружево. Вылетает сзади из переулка извозчик на санях, плюшки снега из-под копыт черной лошаденки взлетают в полосе света, как живые. «Эй!» — кричит он извозчику, но уже запоздало, вслед и, махнув перчаткой, продолжает торопливо идти сам.

Вижу его живым, легким, веселым, в Провансе, в парке, где пальмы и кактусы, под сияющими небесами, с Галиной Кузнецовой. Она остановила его у куста мелких красных роз. Вижу (и слышу), как «он посмотрел и сказал: «Нет, в моей натуре есть гениальное. Я, например, всю жизнь отстранялся от любви к цветам. Чувствовал, что если поддамся, буду мучеником. Ведь я вот просто взгляну на них и уже страдаю: что мне делать с их нежной, прелестной красотой? Что сказать о них? Ничего ведь все равно не выразишь! И, чуя это, душа сама отстраняется, у нее, как у этого кактуса, есть какие-то свои щупальца: она ловит то, что ей надо, и отстраняется от того, что бесполезно... Нет, мучительно для меня жить на свете! Все меня мучает своей прелестью!...»

Вижу его юным, двадцатилетним, в казачьей красной косоворотке, сапогах, в Орле, на скамейке городского сада, листающего, читающего, нюхающего типографией еще пахнущую, первую свою тоненькую книжку стихов, и вижу стариком в халате, в своем парижском кабинете правящим, ловящим опечатки и длинноты в немецки-превосходно изданном «Петрополисом» томе собрания сочинений.

Вижу его зимой, на вилле «Жаннет», в поздний час у приемника, слушающего радио английское, французское — ловит военные сводки о боях под Сталинградом: в памяти возникают Волга, Дон, знакомые места: летние, просторные поля, речные берега, розовые пароходы и рыбацьи лодки, но только теперь зима, там, должно быть, все в снегу, в дыму, идут черные танки, взлетает черны-

ми фонтанами земля. Иван Алексеевич тянется к портсигару, нервно закуривает папиросу. Волна переходит на немецкую станцию, немецкий диктор захлеб на противном всю жизнь Бунину языке что-то явно брешет: мы!.. мы! мы!.. взяли, сбили, отбили! Как в кинохронике, он видит черные шеренги пленных, замерзших фашистов в бабьих платках, русских валенках, жалкий сброд, подгоняемый немногими русскими в полушубках, касках, с автоматами. Захлебы диктора тем более звучат брехней... Но так же мелькают кадры вдребезги, до кирпичей, разрушенного, обугленного, на фоне волжской застывшей глади Царицына (никак не выговаривался — Сталинград), нашим, ясно, тоже доставалось, и это отдавало болью в сердце.

Вижу его ладную элегантную фигуру, затянутую во фрак, растерянную улыбку, оглядку вскользь, — видимо, на кого-то из своих, в толпе таких же офраченных, сияющих господ, мундиров с эполетами и иконостасами орденов сплошь по пузу, женских оголенных или в палантинах плеч, шей, выстроенных причесок. Нобелевский лауреат Иван Алексеевич Бунин! Звездный час!..

Вижу его мальчиком, загорелым и синеглазым, влезшим на корявую ветвистую яблоню, — уселся там, в развилке ветвей, оглядывает простор сада и окрестность: поле вдали, еще далее — голубой лес; облака плывут куда-то, птицы куда-то летят. Куда?..



Юрий БУЙДА

Т р и р а с с к а з а

...й ЭТАЖ

Григорию Чхартишвили

Прежде чем подняться наверх, я принимаю ванну — моюсь с ног до головы с хозяйственным мылом. И хотя после него кожа сохнет и чешется, ритуал есть ритуал, и менять его я не собираюсь. У каждого из нас свой ритуал перед подъемом на десятый этаж, и, хотя нет такого правила, чтобы люди рассказывали о своих приготовлениях, кое-что известно: Никодим, например — на зависть Бродяге, — всякий раз выпивает рюмку водки, а Старуха и дочь ее Мисси плотно ужинают. Иван Михайлович же, напротив, выходит натошак, предварительно, по своему обыкновению, проверив, выключены ли свет, вода и газ.

Я вовсе не считаю себя первооткрывателем Десятого этажа, а проще говоря, крыши нашей девятиэтажки. (Ясно: если бы я жил в четырнадцатизэтажном доме, *моим* стал бы пятнадцатый.) Во-первых, как тут вообще можно быть первооткрывателем? Во-вторых, впервые поднявшись на крышу и сообразив, что это то самое место, которое я так долго искал во сне и наяву, я и не предполагал, что оно станет Десятым этажом и постепенно привлечет людей. Ну и в-третьих, на крыше было множество следов пребывания случайных посетителей: кучки засохшего кала, прилипшие к асфальту презервативы, пачки из-под сигарет и т. п. — так что пришлось сразу озаботиться мерами безопасности. В ближайшем магазине я купил недорогой навесной замок с набором ключей и уже в следующий раз мог чувствовать себя на моей — тогда еще только моей — верхотуре в полной безопасности.

Дождавшись темноты, я крадучись поднимался на чердак. Отпирал дверь, ведущую на крышу, перевешивал замок на наружные скобы, поворачивал ключ — и на минутку расслабленно замирал. И уж только потом отправлялся на свое место, избранное однажды и, как оказалось, навсегда, — метрах в полутора от невысокого парапета, ограждавшего крышу по периметру, я устроил из картонных ящиков и двух сломанных стульев прекрасное гнездо, откуда можно было наблюдать за плывущими к горизонту огнями города, за звездами и ночными облаками...

Ради Бога, не ищите в моем ежевечернем пребывании на крыше идейной подоплеки или каких-либо причин психологического характера. Просто-напросто крыша девятиэтажки оказалась местом для меня. И это при моем страхе перед высотой: у меня голова кружится, стоит забраться на табуретку, чтобы поменять перегоревшую лампочку в люстре. Забавно. Уединиться можно и в парке, и дома, и в многолюдном супермаркете — да мало ли еще где! Я же искал не уединения, но именно — места-для-меня. Моего места. Не в жизни, не в Космосе и не в прочей философской ерунде — просто места. И я его нашел на крыше. Вот и все. Ни о чем таком особенном я не думал, проводя вечера и иногда прихватывая часть ночи на самом верху, подчас под дождем и снегом. Я просто сидел, глядя на растилавшийся внизу город или на небо, и это почему-то достав-

ляло мне огромное удовольствие. Да это чуть не со всяким бывает: переберешь в магазине готового платья дюжину пиджаков — и вдруг вот он, твой, именно твой: покрой, цвет, длина и так далее плюс еще что-то неуловимое, что и делает именно этот пиджак твоим.

Чтобы и вовсе покончить с досужими домыслами, сообщаю: я люблю свою работу — возня с компьютерами доставляет мне наслаждение — и поэтому если и испытываю к концу дня усталость, то приятную. Она «рассасывается» в кругу семьи: у меня прекрасная жена и десятилетняя здоровая дочка-умница. Повторяю: я не нуждаюсь в одиночестве. Я страдаю, оставаясь один, всюду, кроме Десятого этажа. Мои домашние это знают. Они деликатнейшие люди: когда жена и дочь загорелись было как-то составить мне компанию, я попросил их раз и навсегда забыть о Десятом этаже, что они и сделали. И еще: путешествия наверх вовсе не свидетельствуют о моем презрении к тем, кто остается внизу, — ни социальным, ни психологическим чванством я никогда не страдал. Верх — это верх, без каких-либо намеков на вознесение к Богу (вдобавок я и человек неверующий); низ — просто низ, а не богооставленное пространство. Словом, никакой теологии. Если угодно, одна геометрия.

В жизни моей после открытия Десятого этажа ничего не изменилось, если не считать возникновения острой нужды в Десятом этаже. Обнаружив свое место, я с той поры не мог представить себе вечера без похода на крышу. Не Бог, не отщепенец, я просто немножко другой, хотя и не могу выразить словами, чем эта моя инакость выражается. Собственной инакостью обладает каждый человек, но одни об этом не задумываются, другие мучаются или радуются и при этом лезут в собственную душу как можно глубже, чтобы уяснить свою инакость до мельчайших подробностей и оттенков. Мне это чуждо. Но свое отношение к предмету я лишь высказываю и только в ответ на вопрос.

Вторым на крыше оказался Никодим. Какое-то тридцать третье чувство подсказывало мне, что одиночеству моему — в чисто физическом виде — рано или поздно придет конец, то есть однажды кто-нибудь случайно придет сюда и вдруг обнаружит, что это его место. Я видел два выхода из ситуации: либо конфликт, уничтожающий место (ну не до поножовщины же дело доводить, я ведь не из таких), либо мирное сосуществование. И дело не в том, что крыша большая и места на ней довольно хоть для десятерых: новый человек мог посчитать это место своим совершенно по иным внутренним причинам и устроиться, допустим, хоть и бок о бок со мной, но как бы в ином мире, не имеющем с моим миром никаких границ, ничего общего. В случае с Никодимом так и получилось.

Впрочем, Никодим оказался на крыше не случайно. Потом он признался, что несколько дней следил за мною. Он не понимал, зачем я каждый вечер крадучись поднимаюсь на чердак, а потом запираюсь на крыше. Лезла в голову разная криминальная чепуха... И вместе с тем что-то заставляло думать обо мне не как о преступнике, да и самому давно хотелось побывать на самом верху, посмотреть на ночной город. Он подстерег меня у входа на Десятый этаж, назвался, и мне не оставалось ничего другого, как впустить его в мир, который вовсе и не был моим миром. То есть ведь он, этот Десятый этаж, мне не принадлежал. Не обращая на него внимания, я навесил и запер замок, устроился в своем гнезде и уставился на небо. Он молча бродил по крыше. Искал, понял я, где бы пристроиться. Мне действительно было все равно, где он сядет-ляжет-встанет. Я бы не удивился, прыгни он вдруг с парапета во тьму — вниз или вверх. Но он присел на корточках рядом со мной и в этой позе провел несколько часов.

Спустя две или три недели он довольно скупно рассказал о себе. Чуть больше года назад к нему за столик в уличном кафе подсел какой-то невзрачный, странноватый, но совершенно трезвый человек, который предложил Никодиму продать звук и букву «а». Был хороший теплый вечер, Никодим уже основательно нагружился пивом и был настроен пофилософствовать. Поэтому

он не стал высмеивать незнакомца или угрожать «скорой помощью». Он поинтересовался, зачем ему звук и буква «а», которыми Никодим владел просто потому, что умел говорить и писать. И потом, кому известно, сколько этот звук стоит? Ничего — или всех богатств мира? Можно оценить даже вид из окна или на закат с балкона отеля, но звук... Был бы Никодим известным актером, певцом-вокалистом... Да и как незнакомец собирался овладеть чужим звуком, и разве ему своего не хватает? «Разумеется, звук этот не исчезнет из вашей речи, а буква — из вашего письма,— ответил незнакомец.— Возможно, это все вам кажется абсурдным, но я очень хотел бы без всяких объяснений стать владельцем вашего звука. Он ваш, а владелец — я. Можете считать меня сумасшедшим, да хоть самым дьяволом, которому издревле известно, что в звуке “а” заключается душа человеческая, что чушь, разумеется,— просто у меня есть деньги и желание приобрести именно ваш звук “а”. А там посмотрим...» Оглядываясь по сторонам, он открыл лежащий на коленях кейс, и Никодим увидел ровные пачки американских долларов — их было не меньше миллиона. Незнакомец кивнул. Звук в обмен на деньги. Да и какой это обмен, если Никодим остается при звуке и при деньгах, а незнакомец бог весть с чем... Разве не сумасшедший? Никакой мистики и никаких контрактов, подписанных кровью. Джентльменская сделка. Действуя, как во сне, Никодим взял кейс. Незнакомец церемонно поклонился и ушел, растворился в толпе. Никодим крикнул: «Еще пива!» Рассмеялся: звук и впрямь остался при нем. Принесли пиво. А может, тут какой-нибудь подвох? Вот сейчас подскочат какие-нибудь крутые ребята с револьверами и закричат: «Ага, вон тот, с чемоданчиком!» — и откроют огонь... и так далее... Или деньги фальшивые? Или... Словом, Никодим извелся, пока добрался до дома. Уже через несколько дней он убедился в подлинности денег. Звук и буква «а» по-прежнему были его собственностью, абсолютно ничего в его жизни не изменилось, никаких ночных звонков и зловещих голосов: «А помнишь наш договор? Теперь слушай...» Ничего киношного, ничего леденящего кровь и т. п. Ничего. Он все честно — слово в слово — рассказал жене, разумной, трезвомыслящей женщине. Она поняла его сомнения, но рассуждала так же, как и он: продать звук — все равно что продать завтрашний закат или след динозавра, который сто миллионов лет назад смыла морская волна. Продать выдох — этот, именно этот, а не вчерашний и не тот, что был секунду назад. И что будет делать незнакомец со своим новоприобретением? Какую выгоду извлечет? Они перебрали сотни вариантов и пришли к единственному выводу: случилось нечто абсолютно абсурдное. Разум тут ни при чем. Пытаться проникнуть в смысл происходящего не нужно и невозможно в принципе: Эдгар По не стал бы поручать Огюсту Дюпену расследовать тайну маски красной смерти. Мухи отдельно — котлеты отдельно. Словом... Они купили хорошую квартиру, провели две недели в Венеции и неделю в Швейцарии, устроили болезненного сынишку в прославленный пансионат, где малыш быстро пошел на поправку. Никодим удачно вложил часть денег в некое предприятие, и теперь они преспокойно жили на проценты от доходов, позволяя себе заниматься чем угодно. Никодим, когда-то учившийся живописи, вернулся к любимому делу и в конце концов сумел даже выставить несколько своих работ — критики отозвались о них беззлобно, а какой-то австрийский искусствовед купил одно полотно... Жена счастливо забеременела, они ждали девочку. Нет, конечно, Никодиму не хотелось бы, чтобы у слушателя, то есть у меня, сложилась картина безоблачного счастья. Проблемы были и остаются. Но благодаря продаже звука и буквы «а» жизнь его стала иной. Он не ожирел, ему нравится живопись... и эти дорассветные мучения в мастерской, когда и впрямь готов душу черту прозакладывать, лишь бы получилось на холсте... И минуты отчаяния, и не такие уж частые мгновения подлинного счастья, никак не связанные с деньгами,— все как у всех. Но однажды он проснулся и с ужасом понял, что сию же секунду с ним случится что-то странное или даже

страшное. Ощущение это погасло почти сразу, и днем он уже и не вспоминал о нем, но через полмесяца все повторилось. И повторяется. Это никак не связано со звуком «а». Нет, не связано — ни прямо, ни косвенно, но суперсверхкосвенно. Он понял, что ощущение это возникло именно после того, как он обрел свободу. Возникло, конечно, не на пустом месте, не просто так, но сколько ни копался он в своей душе, в своем прошлом, причин так и не доискался. Возникло самое страшное из чудовищ — *чудовище безымянное*. Да, он лечился у лучших психиатров, и это помогало и помогает. Он не собирается воспользоваться моей любезностью и прыгнуть с парашюта вниз головой. Он хотел бы время от времени бывать здесь и дает слово, что больше не будет никого доносить своими излияниями...

Я успокоил его. Пусть выбирает какое угодно место на крыше — да хоть и рядом со мной, я не против — остальное же... Как сложится.

Никодим и впрямь не мешал мне. Он часами сидел или лежал на спине, молча глядя в небо. Если начинался уж слишком противный дождь, мы прятались под зонты и, покуривая, ждали прояснения. И вместе отправлялись по домам. В конце концов я доверил ему один ключ из связки, теперь он мог подниматься на крышу, когда ему заблагорассудится, и приводить с собой кого угодно.

Но за все время нашего знакомства он привел на Десятый этаж только Ивана Михайловича, жившего, кстати, лишь этажом ниже, — одинокого пожилого человека, который первым же делом попросил не вовлекать его в политические разговоры и не подсказывать ему названия звезд и созвездий, которые он любил разглядывать в трубку, свернутую из картона. Он являлся на крышу только в тех случаях, когда небо было чистое и можно было без усилий и нервотренировки следить за светилами северного полушария. Иван Михайлович устроился поодаль, метрах в десяти — двенадцати от нас, и никогда не донимал нас разговорами. Да и бывал-то, впрочем, он у нас не так часто: иногда мы не виделись неделями, а то и месяцами — из-за облачности, которая в средней полосе России, особенно осенью и зимой, держится подолгу, закрывая звездное небо надежнее тюремной двери. Однако в первый же вечер Иван Михайлович, как он выразился, «почел за долг» поведать вкратце нам свою историю. Больше двадцати лет он прослужил в раковой больнице в должности Луки. Помните героя пьесы Горького «На дне»? Можете ухохотаться до колик, но главный врач онкологической больницы пригласил его именно на эту роль — или должность, как кому будет угодно. «Вы будете служить утешителем, — заявил доктор. — И отнеситесь к этому серьезно. В противном случае у вас ничего не получится и нам придется расстаться. Попрошу также не смеяться над теми глупостями, которые я вам сейчас изложу в двух словах. Здесь множество безнадежных пациентов, но немало и таких, которые сжигают себя своей болезнью сами — психологически, хотя их заболевания поддаются излечению. И те, и другие — ваши подопечные, господин утешитель. Горьковский Лука — прошу перечитать пьесу, прежде чем приступать к исполнению обязанностей, — тем и замечателен, что в человеке, которого он утешает, открывает некое доброе начало и пытается помочь этому человеку воссоединить свою исковерканную сущность, свое бытовое бытие с этим самым добрым началом». Смех смехом, но такая должность сама по себе была сумасшедшим экспериментом и, разумеется, не предусматривалась никаким штатным расписанием. Иван Михайлович согласился попробовать. Долго рассказывать, как он сходил с больными и их родственниками, как навещал иных из них по ночам и какие выслушивал — о Боже, какие! — исповеди, зная наверняка, что этому человеку не суждено умереть и если б он про то пронюхал, то перерезал бы новоявленному Луке глотку, чтобы исповедь умерла вместе с утешителем. Эти характеры, эти истерики, эти часы тупого молчания... Поначалу было чрезвычайно тяжело, и он даже подумывал уйти с этой должности. Возвращаясь к себе, ужинаешь, читаешь, ложишься спать — а в голове и перед глазами эти люди,

их глаза, их лица, их страшные руки — иногда неподвижно и безвольно лежащие поверх одеяла, иногда нервно теребящие край простыни или носовой платок, иногда напряженные так, что, кажется, одной их напряженной энергии хватит, чтобы взорвать весь мир с его Богом... В конце концов Ивану Михайловичу пришлось просто-напросто переселиться в больницу. Квартира, конечно, оставалась за ним, но бывал он в ней редко. Больше двадцати лет его жизни прошли в стенах раковой больницы, в разговорах с пациентами. Одно время он даже навещал некоторых из тех, кто был выписан домой, но вскоре бросил это дело: нельзя разорваться между жизнью и жизнью. До сих пор вспоминает он одного сельского священника, который угасал у него на глазах, но ни разу не вспомнил о своей смерти, сострадая тем, кто умирал за стенами, рядом... А самоубийство юной красавицы, которая, поняв, что от смерти ей никак не уйти, сошла с ума, стала набрасываться на всех подряд мужчин в больнице, чтобы они срочно обрухали ее, — а потом ее нашли в туалете в луже крови: где-то раздобыла кусок оконного стекла... Иван Михайлович чувствовал себя куском хлеба в воде: душа его готова была вот-вот развалиться от перенасыщения чужими жизнями и смертями. Теперь его интересовали только звезды. То есть он сам, его собственная душа, из которой ему никак не удавалось выселить души чужие.

С прибавлением людей что-то менялось на Десятом этаже — понятно, что речь не о количественных изменениях, — но у меня всегда оставалась возможность тихо прикрыть глаза и отдаться полету — разве не ради этого я приходил сюда каждый вечер?

Со Старухой и ее дочерью Мисси я столкнулся у входа на чердак. Оказывается, эти бабы чуть не каждый вечер бросались сюда, чтобы покончить с собой, но увязали в споре о первенстве и в конце концов возвращались домой. Я пригласил их на крышу, и несколько месяцев они исправно посещали Десятый этаж, гуляя под ручку туда-сюда и громко разговаривая. Старуха была убеждена в том, что просто обязана покончить с собой: у нее был рак, она отжила свое и не хочет больше «заедать чужой век». Ее тридцатипятилетняя дочь, трижды или четырежды сбегавшая замуж, «уже не видела света в конце тоннеля». Однажды, доведя себя до белого каления жалобами на жизнь, они не сговариваясь бросились к парапету, но нечаянно сбили с ног зазевавшегося Ивана Михайловича, наблюдавшего за звездами. Наш утешитель довольно сердито отчитал женщин, после чего в деталях нарисовал им картину самоубийства и его последствий. Насколько я понимаю, он даже немного сгустил краски, живописуя разбрызганные мозги и полные вонючего дерьма трусики, — и все это будет комьями свалено в один полиэтиленовый мешок пьяными санитарями. Женщины притихли. Вскоре они перестали появляться на Десятом этаже: для некоторых людей сильнодействующим средством является деэстетизация идеи самоубийства путем перевода ее на язык безжалостного и бескрылого натурализма.

Никодим с поклоном поаплодировал Ивану Михайловичу, но старик остановил его жестом.

— Я слишком много пережил в больнице подлинных трагедий, чтобы наблюдать фарс. Когда-то я напряженно думал о самоубийстве и самоубийцах и даже кое-что записывал в тетрадку. Вот, к примеру, — цитирую себя да еще по памяти! — но вот: если ты руководишься в жизни какой-то идеей и готов ради нее пойти на смерть, то получается, что причина жизни и причина смерти — одно и то же, а это абсурд. Или вот: жить нужно для самой жизни, а не ради идеи, которая эту жизнь в конце концов предаст и пожират. И так далее, и тому подобные глупости... — Он вздохнул. — А на самом деле самоубийство совершенно незаметно, неощутимо созревает внутри человека, как таинственный плод, и часто неожиданно для человека и окружающих чаемое преобразование обретается на рельсах пригородной электрички...

И, церемонно поклонившись, он приник к своей картонной трубе, нацеленной на звездное скопление, имени которого он не знал и знать ни за что не хотел.

Возникшие как-то ночью на крыше бродяга с подружкой, сопровождаемые псом по кличке Сникерс, родившимся без хвоста, вопреки ожиданиям не причинили нам никаких хлопот. Они устроились подалее от нас на каком-то подобии тюфяка и, перекусив, тотчас стали трахаться. Бродяга лишь попросил не подглядывать.

— Но мы сидим к вам спиной,— сказал Никодим.

— А я говорю: кто-то подглядывает,— настаивал на своем этот случайно трезвый человек.— Это не глюки! У меня чутье лучше, чем у Сникерса...

Пес вдруг с визгом подпрыгнул, отскочил в сторону и зарычал на кого-то.

— Я же говорил,— упавшим голосом сказал бродяга.

Мы переглянулись.

— Можно только предположить...— начал было Никодим.

— А чего вы еще ожидали? — прервал его Иван Михайлович.

— Я думал, это случится раньше,— со вздохом заключил я.

Бродяга не выдержал.

— Да кто ж здесь еще, а? — крикнул он.— Невидимка, что ли? Ангел-срангел?

— Просто кто-то еще,— ответил я.— Больше я ничего не знаю. Да и никто не знает.

— И что... он сюда навсегда?

Никодим пожал плечами:

— Может быть. А может, утром исчезнет. Да не обращайтесь внимания: живите, как в жизни.

То же самое тридцать третье чувство позволяло мне с первого взгляда выхватывать из толпы людей, которые, если можно так выразиться, «созрели» для Десятого этажа. Взгляд, интонация, произвольный жест — и я уже узнавал *нашего человека*. Из этого, разумеется, не следует, что я тотчас бросался к нему, чтобы позвать в гости. В конце концов у каждого такого человека — *свой* Десятый этаж: угол в подвале, многолюдный рынок или мокрая парковая скамейка. Но эта женщина... От нее пахло вином, но, когда она посмотрела на меня, я чуть не вскрикнул от ожога и даже прижал ладонь к щеке. Видимо, моя реакция ее озадачила: она отвела взгляд и сделала вид, что дремлет. Я шел за нею до выхода из метро, но на улице не выдержал и, нарушая все свои правила, догнал, взял ее за руку и остановил. Мой сумбурный монолог Лиза восприняла как нормальный бред сумасшедшего, каких полно в многомиллионном городе, но согласилась пойти со мной, пояснив, впрочем: «Все равно я пьяная, идти некуда и вообще — все равно...» Обнадеживающее начало.

Ее удивило, что я привел ее на крышу обыкновенного девятиэтажного дома. Удивило и безразличие, с каким ее встретили Никодим и Иван Михайлович. Я помог ей устроиться поуютнее в своем гнезде и, присев рядом на корточки, попытался объяснить, что такое Десятый этаж. Говорил я долго, сбивчиво и, конечно, неубедительно. Наконец она отбросила окурки и заговорила:

— Я влюбилась как сумасшедшая. Каждую субботу ездила к нему электричкой за триста километров. Я пылала так, что встречные мужчины дымилась. Господи, как мы начинали нашу жизнь!.. Я даже не задумывалась о таких вещах, как прописка, работа, ребенок, я была счастлива родить от него, и только от него, и я родила... Но это же, оказывается, в высшей степени банальная история! Я не знала его совсем. Я была слепая, как все слепые на свете, вместе взятые. Я

не знала его друзей-алкоголиков, его самого — не знала, вот что. Однажды он напоил меня и подложил под одного из своих друзей. Утром набил мне морду и обозвал шлюхой. А через неделю это повторилось. Ему доставляло удовольствие... Как-то я очухалась среди ночи, попыталась скинуть с себя очередного его приятеля и вдруг увидела мужа, который сидел в двух шагах от постели с сигаретой и стаканом вина, внимательно наблюдавая за нами. «Да ладно,— с зевком сказал он,— дай человеку нормально кончить, и пойдем спать». Я отправила сына к матери... к бабушке... ушла... от подруги к подруге... целыми днями в метро... Иногда есть хочется, но чаще — курить...

Я протянул ей пачку, она снова закурила.

— А про крышу я все поняла. Это для всех вас окно. Приглашение к прыжку. Вот вы и размышляете день за днем о чем угодно, хотя на самом деле думаете об одном — прыгать или не прыгать... Вы угадали, я из ваших, своя. Только я никогда не предполагала, что жизнь и смерть станут для меня проблемами...

— А жизнь и смерть не проблемы,— тихо возразил Иван Михайлович.— Проблема в другом: что со всем этим делать? И кто еще поселился на Десятом этаже, кого мы не можем разглядеть, увидеть или услышать? Его чует только собака...

— Только не надо про Бога, ладно? — взмолилась она.— И про дьявола тоже не надо. Нас всех подстерегают случай и прочий ужас неминуемый... Если кто и поселился, то он тоже наш, свой, такой же. Вот и все. Иначе на кой хрен ему эта крыша?

Она вдруг уронила голову на грудь и уснула.

Я договорился с Иваном Михайловичем, что Лиза переночует у него, а завтра решим, как быть дальше.

— Так.— Он внимательно посмотрел на меня.— Рано или поздно приходится решать. Что ж, помогите мне доставить даму на ложе.

Я отнес ее на руках в его квартирку и уложил на диване. Иван Михайлович укрыл Лизу пледом и выключил свет.

— Я никогда не видел вас таким возбужденным.— Он осуждающе покачал головой.— Вам необходимо взять себя в руки. Во что бы то ни стало. Ведь нам предстоит выяснить, кто же еще здесь поселился, кроме нас...

— Спасибо.

Уходя, я оглянулся: она спала.

Всю ночь я провел наверху, а на рассвете ко мне поднялся Иван Михайлович. Держался он молодцом, когда, взяв меня твердо за локоть, подвел к папету.

Я долго смотрел вниз.

Наконец «скорая» уехала.

— Неужели вы на что-то надеялись? — вдруг спросил Иван Михайлович.— Впрочем, только ради этого мы и поднимаемся на Десятый этаж. Ради надежды, которая умирает миллионы раз на дню, чтобы только здесь, может быть, хоть изредка...

Меня покоробил его пафос.

— Я замерз,— прервал я его.— Пойдемте к вам пить чай. Какая к черту надежда! Романтика — уголовно наказуемое деяние.

Он заварил чаю покрепче.

Меня бил озноб.

— Может, закроем окно? — предложил я.— Холодно...

— Еще в больнице я твердо усвоил: чтобы жить по-настоящему, надо всегда держать окно открытым. Понимаете?

Я кивнул, отхлебнул горячего чая, подавил то, что готово было жутью рвануться наружу, снова глотнул.

Старик прав: нужно всегда держать окно открытым, иначе чего стоит эта жизнь?

У ПОРТАЛА

Порой у этого полуразрушенного портала собираются несколько десятков человек, но к ночи они разбредаются кто куда, остаются только постоянные люди. Хотя и их никто не держит. Да и я никому ничего не обещал. Просто я стал невольным свидетелем того, как четверо — мужчина, женщина и двое детей — вошли в портал и скрылись. Может быть, навсегда. Правда, мужчина сказал на прощание: «Нам было бы легче, знай мы, что кто-то здесь есть. Если бы мы встретили кого-нибудь здесь по возвращении, да, нам было бы легче. Конечно, мы не ожидаем, что это непременно будете вы. Считайте, что я говорю, ни к кому не обращаясь. Разговор с собой. Иначе мне было бы стыдно...» Вот и все. То есть не было никаких просьб. Просто разговор с собой. Не со мной, поскольку на моем месте в те минуты мог оказаться кто угодно, — здесь удобно прятаться во время бомбардировок. Район практически полностью разрушен, здесь никто не живет, кроме крыс и одуванчиков, и лишь высокое здание напротив выглядит более или менее пригодным для жилья: сохранилась крыша, и, насколько я могу судить, наблюдая в бинокль, целы внутренние стены и перекрытия. Правда, нет ни одного целого стекла, да и, похоже, все двери выбиты взрывной волной. Но живых людей в доме я ни разу не замечал. Хотя трупов там наверняка много — в комнатах, коридорах, в кабинах лифтов, а также в ваннах, где скелеты плавают в жидком желе, когда-то служившем телами. Чаще всего человеческими, но встречаются и собачьи скелеты, а однажды я встретил — в другом доме, разумеется, — скелет человекоподобного существа с длиннющим хвостом, состоявшим из крошечных костяных звеньев, — пародия на позвоночник, продолжением которого когда-то был этот хвост.

Женщине с ящерицей на поводке я так и сказал, что никого не жду у этого входа. И даже не уверен, вход ли это. Быть может, выход.

— Опять! — Она с усталым вздохом опустила на ступеньку рядом со мной. — Опять мне дураят голову. И так всю жизнь. Вход, выход... ненавижу философию! Вам что — жалко, если я просто посижу тут с вами? Ну и заткнитесь!

Когда заморосил дождь, она двинулась было в портал, под навес, но я предупредил ее, что обычно этого не делаю: спрятаться от непогоды можно рядом, под куском фанеры, который я с этой целью приладил между камнями.

— Опять меня учат, как надо жить! — взвыла она.

Но послушно отправилась за мной под фанеру, предупредив, что не потерпит грязных домогательств, да и нижнее белье на ней несвежее. А у кого оно свежее? Мы устроились в противоположных углах укрытия, и я привычно задремал, попросив ее разбудить меня, если кто-нибудь появится из портала. В ответ она лишь громко зевнула.

Вечером, когда появился Профессор с авоськой, набитой книгами, я рассказал им о тех четверых, которые исчезли в портале.

— Зачем? — спросила Опять.

— Не знаю. Я не спрашивал. Я же не собираюсь их ждать здесь до скончания века. И вообще — ждать кого бы то ни было.

— Интересно, — усмехнулась Опять. — Это еще ладно, если они отправились туда за какими-нибудь сокровищами или хотя бы за едой. А если они вернутся с каким-нибудь жутким зверем...

— Не знаю. Но за ними никто не гнался.

— А вы узнаете их, когда они вернутся? — спросил Профессор, отрываясь от книги.

— Не уверен, — честно признался я.

— Так какого же черта! — взвилась Опять.

— Милочка, вы мешаете мне читать, — мягко остановил ее Профессор. — Я впервые наткнулся на место, где можно спокойно почитать. Не лишайте меня этого удовольствия, прошу вас.

— Опять меня называют милочкой! — устало простонала госпожа Опять. — Я уже была рыбкой, ласточкой, сердечком, душенькой...

— Я понимаю, почему от тебя ушел муж, — сказал бородатый мужчина в шляпе и майке на голое тело, присаживаясь перед Опять на корточках. — У меня есть сигареты.

Мы — я, Опять и бородатый — с удовольствием закурили.

— Мужчины... — Опять покачала головой, облепленной крашеными-перекрашеными волосами. — Зато у меня есть она. — Она дернула поводок — ящерица открыла маленькую пасть и тихо зашипела. — Только не считайте меня сумасшедшей: иногда хочется, чтобы кто-нибудь был рядом. Это так глупо, что даже смешно.

Прозвучал сигнал воздушной тревоги. На всякий случай мы спрятались за камнями, хотя бомбили где-то далеко, за кольцевой автодорогой.

— Старое доброе русское развлечение, — с усмешкой сказал бородатый. — Стоять в очереди за чем-нибудь. Просто — за чем-нибудь. Или ждать кого-нибудь. Просто кого-нибудь, все равно — кого. Слава Богу, эта очередь не за жратвой. Однажды я дал себе слово не стоять в очередях за жратвой и сразу почувствовал себя свободным...

— Стать свободным и чувствовать себя свободным не одно и то же, — резонерски заметил Профессор, не отрываясь от книги.

— Ты или молчи, или читай вслух! — раздраженно заметила Опять. — Наверняка ты из тех, кто различает бомбы по звуку взрывов.

— Почему? — удивился Профессор.

— Потому что ты же их и придумал. Знала я такого одного...

Профессор с улыбкой покачал головой и углубился в чтение.

После отбоя воздушной тревоги к нам присоединилась девушка лет двадцати, в черном пиджаке с блестками, усыпанном известковой пылью, и в золотых колготках. Она молча прикурила от сигареты бородатого, привалилась спиной к камню и заснула. Она крепко спала, продолжая курить и выпуская дым через нос. Забавно.

— Ты ли, утра гость прекрасный, в этот поздний, мертвый час? — с улыбкой проговорил бородатый Бич (так его стала называть госпожа Опять), когда Золотые Колготки проснулись. — Я знаю наизусть тысячи стихов, но никогда не помню ни начала, ни конца.

— Меня зовут Валерией, — хмуро сообщила девушка. — Подружки прозвали Чебурашкой — из-за ушей.

Уши у нее были слегка оттопырены, но красивы.

— А вот и он, — без выражения проговорила она, тупо глядя перед собой. — Восьмой День.

Из-за угла полуразрушенного здания выбрался человек с чисто выбритой головой и вгатаурованным на лбу цветком лилии. На нем были только грубые брезентовые шорты с подвешенной к ремню кожаной сумкой и ботинки с подметками, вырезанными из автомобильных покрышек. Заметив обращенные к нему взгляды, он смутился и как-то бочком пробрался к нагромождению полусгоревших досок, где и устроился, уставившись на девушку неподвижным взглядом глаз, лишенных зрачков. Такими, во всяком случае, они казались издали.

— Восьмой день он ходит за мной по пятам, чертов маньяк,— тусклым голосом продолжала девушка.— Я предлагала ему деньги, оружие — у меня все есть, предлагала наскоро перепихнуться где-нибудь за углом — этого добра не жалко,— но он только молча качает головой и от всего отказывается. Маньяк. У меня есть квартира, но из-за него я туда не вернусь. Я ни за что не засну, если буду знать, что он дежурит под дверью или разгуливает под окнами...

— Он к тебе пристает? — поинтересовалась без всякого интереса Опять.

— В том-то и дело, что нет. Он трахает меня на расстоянии — я же чувствую, что это он. Иногда он доводит меня до оргазма этим своим взглядом. Воображаю, до чего он меня доведет, если мы останемся наедине в закрытом помещении... Вот и сейчас...

Полуприкрыв глаза, она прикусила нижнюю губу и судорожно свела колени. Восьмой День — так уж мы стали его называть — по-прежнему сидел неподвижно на корточках, не отрывая взгляда от девушки, при этом нельзя было понять, любитесь ли он ее коленками (они того стоили) или муравьишкой, пересекавшим ее плохо вымытый широкий лоб. Она вдруг выдохнула и резко открыла глаза.

— Отстань! — крикнула она парню.— Хватит! Я давно никому не даю даже за деньги. У меня давно ничего не осталось. Я не вру! Сиськи висят пустыми кошельками, живот изжеван, как промокашка, ляжки из одного желе, не поймешь, толстая я или худая, и всюду — кости, кости, кости... Господи, зачем человеку столько костей? Даже в голове... Отстань! Я уже кончила! Честное слово! Ты заставляешь меня проделывать это пять-шесть раз на дню разными способами. Я совершенно обессилела.

Восьмой День молчал. Она вдруг стянула с себя колготки и обвязала ими голову наподобие тюрбана, после чего снова заснула, посасывая сигарету.

Восьмой День остался с нами. Восьмой День — это как тридцать второе декабря. Или единорог. То, чего нет, но без чего не бывает настоящей жизни или подлинной смерти.

Около девяти вечера наступает тишина. Бомбардировщики улетают, чтобы вернуться к утру (хотя часто бывают и внезапные ночные налеты), и слышны только сирены аварийных машин, шум внезапно обрушивающихся зданий да шуршание крыс, катающих по выщербленному асфальту пустые жестянки из-под еды и пива.

Начинает темнеть, когда мы осторожно вползаем под козырек портала и замираем, вслушиваясь в звуки, иногда доносящиеся из темноты, и гадая об архитектуре подземелий, куда ведут засыпанные битой штукатуркой и камнем широкие ступени. По portalу и нагромождению развалин за ним трудно, даже, пожалуй, невозможно судить о здании, некогда высившемся здесь, на краю площади. Можно лишь предполагать, что это было какое-то важное строение вроде церкви или серьезного официального учреждения вроде суда или Генерального штаба: улицы и улочки, здания и строеньица вокруг площади — то есть, конечно, то, что от всего этого осталось,— как бы снизу вверх смотрели на дом с порталом, почтительно приближаясь к нему или робко держась в отдалении (если речь идет о многоэтажных зданиях). Да, судя по всему, дом с порталом был архитектурным фокусом площади и прилегающих кварталов. Но здание одним из первых было превращено в крошево, а фигуры и надписи, украшавшие чудом уцелевший портал, сбиты напрочь пушечно-пулеметным огнем еще в те годы, когда здесь велись ожесточенные бои с использованием пехоты и бронетехники. По обломкам же статуй или отдельным буквам было невозможно даже приблизительно составить представление о фризе, служившем смысловым завершением портала. Согнутая в локте рука без кисти, босая

ступня, обломок плеча да литеры А, F и R — вот все, что мне удалось обнаружить среди битого камня, раздробленных скелетов, ржавых солдатских касок и россыпей патронных гильз...

Что таилось в глубине — там, в непроницаемой тьме? Тайна? Но тайны враждебны человеку, ибо злоторны. Быть может, там начинался путь к спасению? Или к скорой и милосердно нечувствительной смерти? Тьма дышала прохладой. Иногда оттуда доносились звуки льющейся воды, голоса, хоровое пение, шаги, плач ребенка, однако я думаю, что скорее всего это были слуховые галлюцинации. Наше молчаливое вслушивание в черное безмолвие было сродни молитве, но это была молитва дикаря, лишенная разумного смысла и живущая лишь силой бесформенного чувства, которое невозможно — или даже просто страшно — назвать. Мы и не отваживались на это, лишь молча сидели у входа. Мы не ждали ни Бога, ни Годо, ни даже Кого Угодно. Ни знака, ни слова. Опасно наполнять каким бы то ни было смыслом свое пребывание в каком угодно месте. Если кого-то это не устраивает, сразу сказал я, тот может уйти. Я остаюсь, ибо мне просто некуда идти, некуда стремиться, некуда возвращаться и не на что надеяться. Надежда — это самая страшная из известных мне болезней: она убивает просто так, беспричинно. Поэтому ей нужно и противостоять беспричинно, уповая лишь на тот миг, когда что-нибудь вдруг само собой прояснится или изменится, к худшему или к лучшему, — само собой, без каких бы то ни было сознательных усилий человеческих, — и точно так же, беспричинно, следует принять то, что придет или произойдет, словно его и не должно быть, то есть не было, нет и не будет. Даже если будет. Я остаюсь лишь потому, что остаюсь. Мне ни к чему ад или рай, все эти жалкие уловки истории, как и изменения ее ландшафта, в котором я претендую на роль безымянной детали.

Иногда выпадали спокойные дни, когда обходилось без бомбежек, обстрелов и буйных пожаров. Именно в такой день неподалеку от нас появилась жалкая кучка потных людей, тащивших на санках завернутый в тряпье труп. Изнемогая от жары, они тянули и толкали эти сани, скрежетавшие полозьями по битому камню и асфальту, то и дело поправляя сползавшее набок мертвое тело, стремясь куда-то, где люди привыкли погребать своих мертвецов. Это было жалкое и забавное зрелище. Полтора десятка потных идиотов тащили на санях тронутое тлением тело через бескрайний город, давно превратившийся в руины — в огромное кладбище, где гнили тысячи мертвецов: кто в своих квартирах, кто — вплавленный в асфальт, кто — присохший бурями клочьями к изрешеченным осколками стенам домов. Кладбище не было, ибо оно было всюду. Но этим чудачкам хотелось добраться до какого-то определенного места, чтобы совершить некий обряд и со спокойной душой отправиться домой, чтобы, может быть, на поддороге погибнуть от взрыва авиабомбы. Их абсурдное упрямство вызывало сентиментальное сочувствие, и, если бы мы знали, где находится или находилось кладбище, мы непременно указали бы путь. Но мы не знали. А они к тому времени просто выдохлись. У них уже не было сил тащить и тащить эти санки под жгучим солнцем, среди развалин, через ядовито желтеющие лужайки одуванчиков, под аккомпанемент крысиного шуршания. Наверное, лишь помутнением рассудка можно объяснить их внезапное желание похоронить покойника вблизи портала, который, вероятно, внушил им мысль о чем-то священно значимом, связанном с законом и прочими штуками истории. Мы, конечно, не позволили им устраивать захоронение у нас под носом, но не имели ничего против могилы на месте скошенной взрывом автобусной остановки с сохранившимся номером 17. Быть может, само наличие номера окончательно убедило их в том, что здесь не только можно, но и нужно похоронить родственника, закутанного в тряпье. Близость некогда величественного портала и уцелевший номер возбу-

дили в них энтузиазм. Вооружившись кирками, ломami и лопатами, которые они тащили с собой, эти люди под заунывное пение мальчика в черном костюмчике и черной шапочке за какой-нибудь час вырубili в асфальте и кирпиче яму, в которой и закопали своего дорогого и незабвенного. Наконец, мокрые от пота и хорового пения, они шаткой походкой отправились восвояси, оставив под кривым железным столбиком с номером 17 мальчика в черном костюмчике. Он сел в тени и погрузился в сон. Девушка в золотых колготках на цыпочках приблизилась к нему и сняла с его головы шапочку: обтянутый млечно-голубоватой кожей череп мальчика был сплошь покрыт кровотокащими язвами. Сквозь небольшое отверстие в затылке можно было различить крупных муравьев, сонно ползавших по огромной слипшейся яйцекладке. Из глаз спящего мальчика изредка выкатывались бледные слезинки.

Мне стоило труда уговорить остальных не трогать мальчика и не прогонять его.

— Пусть он останется со мной. Вам нет до него никакого дела — и не надо. — Я упорствовал. — Месяца два назад мне ночью подбросили умирающего — вот это был номер! Все бы ничего, но он безостановочно портил воздух. Я благословил судьбу, когда он выпустил всю свою сгнившую душу и навсегда успокоился. Остальное сделали крысы и жара.

Не знаю, убедил ли я их, но мальчик остался со мной. По вечерам он вместе с нами вползал под козырек портала, вслушивался во тьму и затягивал какую-то заунывную песню без слов. Госпожа Опять с присущим ей чувством юмора стала называть наши вечерние бдения у портала концертами.

Девушка в золотых колготках продолжала изматывающую борьбу с молчаливым Восьмым Днем. Госпожа Опять, делая вид, будто отношения молодых людей ей ничуть не интересны, внимательно наблюдала за сюжетом их романа. Вероятно, молодой человек чувствовал это: иной раз он ни с того ни с сего переводил взгляд с девушки на Опять, и она начинала растерянно ерзать, крутить головой или, прижав ящерицу к сердцу и поглаживая ее головку указательным пальцем, срывающимся голосом с вызовом вдруг говорила:

— Мне пятьдесят шесть лет. Пятьдесят шесть.

Молодой человек отворачивался — мне казалось, что в это мгновение губы его вздрагивали от улыбки.

Где-то в развалинах он отыскал велосипед без переднего колеса, установил его так, чтобы машину можно было использовать в качестве тренажера. Девушка с нескрываемым страхом следила за его манипуляциями. Наконец он взгромоздился на седло и поставил ноги на педали. Скрипнула ржавая цепь. Девушка в ужасе зажмурилась и легла на живот, зажав уши ладонями. С бесстрастным выражением на лице Восьмой День принялся крутить педали, с каждой минутой увеличивая скорость вращения. Вытатуированная у него на лбу лилия покрылась капельками пота. Девушка мычала, извиваясь на земле, потом вдруг встала на четвереньки и закричала что было сил, и кричала, пока не сорвала голос и потеряла сознание. Похоже, велосипедист тоже был на грани обморока. Хрипло дыша, он замер с закрытыми глазами на велосипеде. Лицо, шея, грудь — все было покрыто крупными каплями пота.

Бич, задумчиво вычесывая из бороды вшей, вполголоса, но с чувством продекламировал:

О, как убийственно мы любим,
Как в буйной слепоте страстей
Мы то всего вернее губим,
Что сердцу нашему милей!

— Это начало или конец? — поинтересовалась девушка.

— По-моему, все равно, — вяло откликнулся Бич. — Само по себе.

Вечером, стояло Восьмому Дню приблизиться к велосипеду, девушка вскочила и, торопливо натягивая колготки, закричала:

— Нет! Не надо! Погоди же! Я уже почти готова... Но пеняй на себя!

Он терпеливо ждал, пока она оденется и почистит пиджак. Взяв его под руку, она глубоко вздохнула, как перед прыжком в бочку с серной кислотой. Они ушли, не обращая внимания на отдаленный гул взрывов: воздушный налет еще не кончился.

— А может, все же пойти туда и раз и навсегда решить, стоит ли нам тут сидеть? — задумчиво проговорил Профессор, когда мы в очередной раз вслушались в темноту, которая напознала из глубины портала. — Я ведь тоже ничего и никого не жду, но я не видел тех людей, которые скрылись там...

— Если бы вопрос стоял так, — сказал я, — я давно сделал бы это. Но вопрос стоит иначе — во всяком случае, для меня. Так что вы можете поступать, как вам заблагорассудится.

Профессор с извиняющейся улыбкой обвел нас взглядом. Мальчик, держась обеими руками за шапочку, смотрел на него неподвижными глазами.

— В конце концов я дочитал книгу, — сказал Профессор.

— О! — с искривленным усмешкой лицом воскликнула Опять. — Вы стали Тем-Кто-Дочитал-Книгу! Опять! Но мы все такие. Поэтому мы даже и не начинаем читать. Мы-то давно поняли, что на самом деле мы — Те-Кто-Дочитал. — Погладила ящерицу. — Нам будет недоставать вас...

Он ушел. Из темноты доносились его осторожные шаги.

Когда все стихло, мальчик тихонько запел.

Пошел дождь.

Спустя два дня вернулся Восьмой День. Разумеется, один, без девушки. Кожаная его сумка была на месте. Он присел на корточки рядом с Бичом и молча закурил. Мы переглянулись, но промолчали: это был как раз тот случай, когда словами горю не поможешь. Ночью госпожа Опять со вздохом подвинулась и, обняв его рукой за шею, снова заснула. Я слышал, как он поскуливал — тихо-претихо, чтобы никого не разбудить.

В самом начале осени, когда зарядили дожди и мы приступили к постройке дома, Восьмой День серьезно заболел. Это была не просто простуда. У него долго держалась высокая температура, он бредил. А то вдруг норовил показать содержимое своей сумки.

— Да не бойтесь же! — умолял он нас. — Там только инструменты!

Но мы были непреклонны.

Госпожа Опять разрывалась между стройкой и больным. Она трогательно и преданно ухаживала за ним.

— Мне пятьдесят шесть лет, — говорила она при этом, хотя никто ее ни о чем не спрашивал и никто не осуждал. — Пятьдесят шесть.

Дней за десять мы соорудили жилище — стены из обломков бетонных плит и кусков фанеры, щели между ними заткнуты тряпьем, крыша — из крыла самолета, обнаруженного нами в получасе ходьбы от портала: сбитая ракетой машина была искорежена, но одно крыло было более или менее цело. Мы кое-как оторвали его от фюзеляжа и пристроили вместо крыши, хорошенько закрепив проволокой и подперев с боков камнями и ржавыми железными бал-

ками. В таком доме можно было пережить дожди и холода, благо зимы давно стали мягкими.

В последние дни Восьмой День в бреду порывался сходить за девушкой.

— Она там! — выстывал он. — Это недалеко!

К счастью, у него не было сил осуществить свое желание. А мы — мы-то понимали, что даже если отыщем девушку, то сможем лишь сообщить ему, что мы ее нашли. Если, конечно, ее можно было бы узнать.

Он умер. Мы похоронили его под номером 17. Мальчик исполнил свою заувывную песню без слов. Госпожа Опять держалась молодцом и только перед сном, когда разошедшийся дождь громко забарабанил по крыше, печально проговорила:

— Мне пятьдесят шесть лет. Пятьдесят шесть.

Бич лег с нею рядом, поцеловал в губы, и они мирно уснули.

Даже во сне я помогал мальчику придерживать шапочку, чтобы она ненароком не сползла с его головы.

В холода мы разводили огонь в углу, где сложили из кирпичей что-то вроде очага. На растопку шли книги, оставленные Профессором. Все, кроме госпожи Опять, каждый день отправлялись на вылазки в поисках топлива. Она болезненно переживала пропажу ящерицы и беременность. Во всяком случае, она утверждала, что у них с Бичом обязательно родится девочка. Живот у нее и впрямь увеличился в размере.

— Мне пятьдесят шесть лет, — шептала она. — Пятьдесят шесть. Опять!

Остается лишь надеяться, что нам удастся надежно спрятать новорожденного, прежде чем она придет в себя.

Наступившая весна, как всегда, стала временем смутных тревог и разгула бандитов, которые иногда прикидывались членами благотворительных организаций, раздающих бесплатную еду и одежду. Конечно, нам не по силам было выстоять против организованной преступной группировки, но серьезных уголовников мы не интересовали, с одиночками же Бич справлялся сам, лишь иногда призывая на помощь меня. Мы оттаскивали их подальше от остановки, чтобы их разлагающиеся тела не оскверняли две могилы под номером 17, — для нас это почему-то было важно.

Одуванчиков в этом году стало еще больше, от этого факта никуда не уйдешь: они переживут нас и даже, быть может, крыс. Правда, поблизости от портала ни тех, ни других пока не видно.

Внезапно вернулась ящерица — мальчик обнаружил ее греющейся на солнышке и принес госпоже Опять, чем растрогал ее до слез. По этому случаю я разрешил малышу посмотреть в бинокль туда, куда без особой нужды обычно мы не смотрим.

Вечерами мы по-прежнему забираемся под козырек портала. Из глубины доносятся звуки капли и едва различимое хоровое пение. Кажется, это детский хор. Мужчина, женщина и двое детей, если мне не изменяет память. Впрочем, это не важно.

— Кто-то мне говорил, что выходящие никогда не похожи на входящих. — Бич старается не смотреть на меня. — И потом, мы просто могли проморгать их выход, пока спали...

Я едва удерживаюсь от улыбки: все, что он говорит, разумеется само собой. Что тут обсуждать-то?

Госпожа Опять ждет нас дома — с ее вздувшимся животом любые вылазки небезопасны. Она жадно расспрашивает нас о новостях, что смущает меня: значит, она и впрямь беременна. Я пока побаиваюсь заводить разговор с Бичом о

судьбе новорожденного, уповая на зрелый разум взрослого мужчины, пусть и читающего наизусть обрывки стихотворений. В конце концов не он же их сочинил. Но рано или поздно разговор должен состояться. Жаль, если они оставят нас с мальчиком наедине с порталом. С другой стороны, если они уйдут, ничего не изменится. Потому что нечему меняться.

Бич засыпает под боком у Опять, чье тяжелое дыхание заполняет все жилище.

Я устраиваюсь у двери с биноклем и смотрю вверх: оно проплывает. Если не очень синее, похоже на любовь. А если совершенно белое, — на реку в цветущей пустыне. Или на прощальный взмах руки, длящийся часами.

Придерживая обеими руками шапочку, из-под которой течет тонкая струйка муравьев, мальчик поет.

Оно проплывает снова. Иногда оно напоминает меня, но все равно проплывает...

НА ЖИВОДЕРНЕ

Иногда к воротам подъезжали огромные грузовики с решетчатыми кузовами, иногда — автобусы с занавешенными окнами, иногда же скот пригоняли, что называется, своим ходом — стадами, — и всех их, людей и животных, сторож Филя встречал неизменной улыбкой. У него была плохая память на лица, и он не мог бы сказать, что узнает водителей скотовозов или автобусов, протягивавших ему в окошко пропуск с красной полосой, чтобы он доложил куда надо и ворота базы открылись, пропуская транспорт внутрь. С Филей они обменивались молчаливыми приветствиями — взмах руки, кивок, усталая улыбка, да вряд ли кто и знал, как зовут этого здорового лобастого парня с сияющими бледно-серыми глазами, в аккуратной синей униформе и фуражке с кокардой, на которой был выбит номер 8991-Л. Точно такой же номер красовался на воротах и арке над ними, и никому в голову не приходило гадать, что означают этот набор цифр и замыкающая буква. Только жители городка с их неистребимой склонностью к безапелляционным суждениям называли базу скотобойней, а то даже и живодерней...

Эти несколько бетонных и кирпичных корпусов с двухскатными крышами, над которыми торчала дымившая днем и ночью невысокая труба, — база номер 8991-Л, обнесенная четырехметровым забором с двумя воротами, — располагались в километре от окраины городка и пользовались почему-то дурной славой. Утверждали — конечно, без каких бы то ни было оснований, будто на базе убивали и обдирали не только скот, но и людей. Может быть, эти слухи возникали лишь потому, что мало кто мог разглядеть животных, доставлявшихся в зарешеченных фургонах (то ли там коровы, то ли свиньи, а то ли и вовсе какие-нибудь верблюды или пингвины), и тем более тех, кто прибывал в автобусах с занавешенными окнами. Вероятно, дело было только в том, что все, кого привозили на базу, никогда не подавали голоса. Молчание царствовало в прибывающем транспорте и за высокой оградой, и, что происходило внутри, никто не знал. Оставалось лишь гадать о дыме, круглосуточно клубившемся над трубой, да о фургонах и автобусах, покидавших базу через задние ворота. Персонал базы привозили издалека, а может быть, рабочие и служащие и жили на базе до окончания срока контракта. Но если кто и увольнялся, этих людей никому не довелось встретить в вокзальном буфете, где можно скоротать время до прибытия очередного поезда за стаканом вина.

Когда у Филя спрашивали, что происходит за стенами живодерни, он с неизменной дружелюбной улыбкой отвечал: «Не знаю». Он не был идиотом, но ему верили.

В городке хорошо знали его семью — тихих богобоязненных супругов, которых издали было нипочем не отличить друг от друга, и самого Филю, при кре-

щении получившего имя Филимон. Когда его извлекли из купели, цветы в руках святых на иконах и даже терновый венец Иисуса вдруг пышно расцвели и заполнили церковь таким густым запахом, что погасли все свечи, а паук, слившийся под куполом в объятиях с полуиздохшей мухой, вдруг предложил ей руку и сердце, выходил ее и научил охотиться на комаров.

Филя никогда не врал, не крал, не бил животных и не давил башмаками жучков и букашек, ползавших летом по тротуарам, не рвал цветов и не употреблял мяса животных в пищу, не подглядывал за раздевающимися женщинами, а когда его стали обуревать мучения плоти, сжигал их в молитвах, как трупы в крематории.

Ему нравилось читать жития святых, и однажды он смущенно признался священнику, что завидует участи мучеников за веру. Особенно часто он перечитывал житие Моисея Угрина, лишившего себя православного уда, лишь бы не отвечать на домогательства прекрасной вдовы-польки. Но времена были другие, да и красавицы-католички в городке замечены не были, поэтому Филя недогнувшей рукой начертал углем на стене дома очень соблазнительный женский силуэт, изо рта которого коварной змеей выползала надпись: «Все равно ты будешь мой!» «Никогда!» — воскликнул Филя и при помощи наиострейшей бритвы создал у себя между ногами место голо, пустынно и дико. Всевышний не только остановил кровотечение, но и перестроил Филин организм таким образом, чтобы он мог все естественные надобности отправлять через анальное отверстие, как, например, лягушки или ангелы.

Узнав об этом, священник, нимало не колеблясь, и предложил Филину кандидатуру администрации базы 8991-Л, с которой он каким-то неведомым образом состоял в связи, отрекомендовав своего протеже как работника в высшей степени надежного, терпеливого, смышленного и умеющего держать язык за зубами. Вскоре Филя и занял свое место в будке у главных ворот живодерни.

Как только в городке об этом прослышали, к Филе бросились любопытствующие. Их интересовало все. Что делают с людьми на живодерне? Разделявают на мясо или пускают на фарш? За какие провинности люди попадают сюда, а не в тюрьму? И много ли среди них тех, кто в последнее время пропал невесть куда из городка?

Филя чуть не рехнулся. Первым его побуждением было откусить себе язык и выплюнуть его в эту глупую толпу, но он вовремя вознес молитву Господу, который сурово велел рабу Своему говорить, а не молчать. Филя со вздохом покорился высшей воле и сообщил глупцам, что никаких людей на бойню не привозят (кроме персонала, разумеется), следовательно, ни на мясо, ни на фарш, ни на пуговицы их не перерабатывают. А о тех, кто внезапно пропал из городка, лучше поинтересоваться у железнодорожного кассира Бардадыма, который помнит в лицо всех прибывших и убывших из городка за последние сорок лет. Если же и это не поможет, почему бы не пошарить баграми в речушках да озерах или не поискать на чердаках? Ведь был же случай, когда известный обжора Аркаша Стратонов так увлекся едой, что не остановился и на дне помойки, где и уснул в то время, как его засыпали с ног до головы объедками и огрызками, так что ему пришлось после пробуждения четыре дня выедаться наружу, и все это время — в сумме семь дней — он считался без вести пропавшим.

— Но ведь на этот раз за некоторыми приезжали по ночам, — возразили Филе. — Других вызвали повесткой в милицию, а милицию ликвидировали, оставив одного участкового, да и того пьяного и ничего не ведающего. Его случайно обнаружили в лопухах, разросшихся в огороде сумасшедшей Круглой Дуни, где участковый спяну заблудился...

Филя только руками развел, заверив еще раз, что людей на живодерню не привозят, а если он что-нибудь такое услышит, то немедленно даст знать горожанам.

Напоследок сумасшедшая Общая Лиза успела попросить Филю не пропустить мимо глаз ее чокнутую дочь Лизетту, всегда носившую просторный балахон на голом теле, чтобы не затруднять мужчин, на просьбы которых она охотно откликнулась...

— У нее еще родинка вот тут! — И Общая Лиза показала где, окончательно смутив Филю, который захлопнул дверь и заперся изнутри на два замка.

Будка сторожа, где он поселился, на самом деле оказалась уютным домиком с гостиной, спальней, теплым туалетом и душевой, с прихожей-приемной, где Филя работал с документами. Еду Филе регулярно доставляли из столовой базы (учитывая, разумеется, его вегетарианские наклонности), так же регулярно меняли постельное белье и одежду, начиная с носков и кончая фуражкой с кокардой.

Филя завел себе слепого щенка, случайно оказавшегося у ворот базы, и решил не покидать свою будку никогда, о чем по телефону сообщил родителям и священнику, мотивировав свое решение страхом перед глупцами, окружавшими его плотным кольцом, стоило ему выйти в город.

— Наверное, ты прав, — сказал рассудительный отец. — Поступай, как считаешь нужным. Матери сейчас пока нет дома. Неделю назад она ушла в магазин за укусом и не вернулась. Наверное, задержалась у подружек-болтушек. Конечно, я передам ей от тебя привет.

Священник, выслушав Филю, после некоторой паузы сказал:

— Не будет дома — и не рухнет дом. — И со вздохом добавил: — Святые не испытывают чувства одиночества. Когда это чувство совершенно угасает, можно с уверенностью говорить, что ты достиг святости. Опасайся только одного — воображения: лекарь всегда может обернуться убийцей.

Филя хоть и мечтал о святости, но от чувства одиночества избавиться не мог. Напротив, со временем оно лишь усиливалось. Он вспоминал невинные забавы детства; школьных товарищей и подружек, среди которых выделялась Лизетта с красивыми бедрами, впоследствии почему-то сошедшая с ума; вечерние домашние чаепития под музыку Брамса и матушку, дремавшую с вязаньем на коленях...

Чтобы отвлечься от грустных воспоминаний, он играл со щенком, пытаясь научить его выполнять простейшие команды, да читал жития святых, среди которых однажды обнаружил узкую глянцевою закладку, на которой была изображена обнаженная красотка со спелыми бедрами («Как у Лизетты», — машинально отметил Филя), и только чувство собственного достоинства не позволило ему тотчас швырнуть порнокартинку в печку. Пусть останется, решил Филя, и я буду знать, где она лежит, чтобы никогда на нее не смотреть даже краешком глаза. Это было испытание, и Филя гордился тем, что борется с искушением, как и подобает кандидату в святые. Эта игра развлекала и занимала его вечерами. Ночами же он боролся с глянцевою красоткой, пытавшейся захватить его сновидения и обосноваться в них, как в собственном доме, но крепость Филина оставалась неприступной, хотя по утрам между ногами у него что-то бурлило под гладкой кожей, словно безумный гном в красной шапочке, поселившийся в темной пещере его души, норовил именно здесь вырваться на волю...

Немало времени ушло у него на изучение и заучивание наизусть служебной инструкции, которая висела на стене рабочей комнаты и снаружи на двери, чтобы посетители были осведомлены о правах и обязанностях сторожа. Когда Филя впервые взял документ в руки, он решил, что это шутка, но строгий голос начальника в телефонной трубке мгновенно отрезвил его: «Наизусть. Обязательно. В чрезвычайных ситуациях этот текст должен быть воспроизведен слово в слово, знак в знак, иначе может случиться непоправимое». Филя не отважился спросить, что это за возможные чрезвычайные ситуации и что непоправимое может случиться, если он, сторож, пропустит хоть слово, хоть знак в инструк-

ции. Впрочем, подумал Филя с присущим ему разумным смирением, не всегда и не сразу открывался людям смысл того, что сообщал им Всевышний; прошли столетия, прежде чем слова Его прояснились до глубины глубин, да и то даже сейчас находятся люди, готовые оспаривать смысл Откровения...

Помолясь, он положил перед собой инструкцию и стал переписывать ее от руки — так лучше запоминалось. Операцию пришлось повторить около ста раз, прежде чем текст врезался в мозговое вещество так, что это подтвердило даже рентгеновское исследование. Рентгенограмму мозга с текстом инструкции Филя повесил на стену рядом с оригиналом, который гласил:

«Те не питто 76 фаллос коттаю анно 321 лютеллия старз номо эт коттаю сола коль амиле 90 тристия уллла алосса и са не тор края 55 у эстер те фил куннилингус с аннобох опали 43—67 мув афалли аберрок не 14—03 фелляция кормляю стелла нежная прописью вулли лютер вертерог 2313189 ан комали гумер миролохи с правой резьбой аморе 09870 паллонай бехер 23-й и далее ли когда адорате рох глосса финита».

После этого ему прибавили жалование и стали привлекать к некоторым работам во дворе, между главными воротами и производственными корпусами жиvodерни, из которых, как ни прислушивался Филя на всякий случай, не доносились никаких звуков.

Любопытствующие донимали редко и, как правило, поодиночке, но раза два или три к приемной в Филином доме стекались ни с того ни с сего сотни людей, требовавших ответить, куда вдруг запропали их родные и близкие. Иные даже приносили одежду и продукты — передачи, словно в тюрьму. Действуя по инструкции (*лютер вертерог и не питто 76*), Филя с бесстрастным лицом принимал посылки и, как предписывалось (*куннилингус аннобох опали 43—67*), регистрировал письменные — только письменные — запросы о судьбе якобы пропавших без вести граждан. Среди просителей оказался однажды и его отец, который после долгих извинений попросил сына выяснить хоть что-нибудь о судьбе жены — Филиной матушки.

— Конечно, папа,— заверил его Филя.— Мне ведь даже предписано: *комали гумер миролохи*. Я постараюсь, даю тебе слово.

Однако вскоре поток посетителей иссяк так же внезапно, как и возник.

Филя позвонил отцу, но ему ответил незнакомый голос: «Такие здесь больше не проживают». Поколебавшись, Филя не стал сообщать об этом начальству. В ту ночь слепой пес ни с того ни с сего завыл в голос. Перепуганный хозяин спросонья швырнул в собаку башмаком, и пес умолк.

А после того как и священник сменил место жительства, Филя впервые подверг себя самобичеванию. И хотя вопреки ожиданиям эта процедура не доставила ему ни удовольствия, ни облегчения, он несколько часов безостановочно и остервенело лупцевал себя по голому телу грубой веревкой, пока от усталости не потерял сознание. Очнулся он оттого, что слепой пес принялся зализывать его раны.

Работы во дворе, как правило, ограничивались уборкой территории от теней. Старший по команде сухо объяснил Филе, что иногда тем, кого сюда доставляют, приходится часами ждать своей очереди в цех. И так уж получалось, что, невзирая на погоду и время суток, на чистом, гладком бетоне оставались тени ожидающих. Малоизученный, но естественный физико-химический эффект. Рабочие поливали бесформенное сизое пятно водой и, вооружившись скребками и метлами, удаляли тени с бетона. Некоторые тени так глубоко въедались в поверхность площадки, что их приходилось поливать бензином и сжигать, после чего оставалось лишь хорошенько поработать метлой, стараясь не размазывать черные хлопья по площадке, и окатить это место водой из шланга.

По очертаниям теней Филя пытался понять, кому они принадлежали, но удавалось это редко. Толпа оставляла огромное пятно смешавшихся теней, и лишь в тех случаях, когда кто-нибудь отбивался от стада, можно было разобрать очертания теленка, козы или даже человеческой руки с растопыренной пятерней. Пятерня удивила Филю, но старший по команде скучливо напомнил об инструкции и добавил, что «все это скоро, слава Богу, кончится».

Что он имел в виду, старший не объяснил, но Филя и сам давно заметил, что транспортов на базу приходит все меньше, а дым из трубы иногда вьется тонкой струйкой...

В тот день, когда Филю в очередной раз — и как всегда по телефону — вызвали на уборку теней, работать ему пришлось в одиночку. Он довольно быстро управился с небольшим бесформенным пятном и уже собирался возвращаться к себе, как вдруг внимание его привлекло сизое пятно метрах в пятнадцать — двадцати от входа в цех. Вскинув метлу и скребок на плечо, он приблизился к оторвавшейся тени. Под навесом серебрились канистры с бензином. Спички... Филя хлопнул себя по карману: спичек у него не было. То есть они были, но в доме, потому что обычно эту нехитрую операцию выполнял старший по команде. Что ж, придется сходить за спичками. Но ноги не слушались. Он остановился в двух шагах от тени, по инерции думая о спичках, — у его ног распласталась тень молодой женщины со спелыми бедрами, в балахоне на голом теле и с родинкой там, где...

Он присел на корточки, осторожно положив рядом с собой метлу и скребок, и коснулся тени руки той, которую когда-то все называли Лизеттой. От жары в глазах у него потемнело. С трудом выпрямившись, он подхватил инструменты и, пошатываясь, убрался домой, где первым делом сунул голову под кран с холодной водой.

Кое-как поужинав, он перечитал инструкцию, но, так и не уяснив, что он должен предпринимать в подобных случаях, лег на кровать и стал ждать телефонного звонка. Сведя брови на переносье и сжав губы, он ждал звонка, тогда как по инструкции это он сам должен был доложить начальству об отбившейся тени и получить вместе с выговором дальнейшие инструкции. Но наступил вечер, вспыхнули фонари и прожекторы, а звонка так и не было.

Выглянув в окно, Филя хорошо различил застывшую на белой поверхности площадки тень Лизетты. Вспомнил: когда он коснулся ее, пальцы ощутили тепло. Бетон в солнечные дни сильно нагревался и долго удерживал тепло.

В вышине прогрохотало. Быстро приближался грозовой фронт, и Филя, привычно помолвившись, с печальной улыбкой подумал о ночном ливне, лег и уснул.

Утром он не нашел завтрака на кухонном столе. Но зато тень несколько не пострадала от обвального дождя, бушевавшего всю ночь. Бормоча инструкцию строка за строкой, Филя осторожно коснулся тени Лизеттиной руки. Она была теплая. И ему показалось, что она сделала такое движение, будто хотела ответить рукопожатием. Почудилось, конечно. Искушение...

Но в том, что это была именно Лизетта, он уже не сомневался. Это лицо, балахон, красивое место между грудями, эта родинка...

Филя проговорил вслух инструкцию с начала до конца еще раз и вдруг понял, что в тексте сокрыт некий тайный смысл, который можно выявить, убрав, например, цифры и расставив слова в другом порядке. Но каков должен быть этот порядок? Какому закону он должен подчиняться? Гармонии небесных сфер? Здесь, на живодерне, куда, выходит, привозили и людей... И еще он понял, почувствовал, что, даже если ему и удастся выполнить эту операцию, тексту будет недоставать двух или даже трех слов, которые в нем просто-напросто отсутствовали. И где их взять, если их не было в тексте? Быть может, они содержатся в каком-нибудь другом тексте? Например, в словообильных житиях святых? Или даже в тех текстах, которые сохранились в его памяти со школьных

лет? С детства? А вдруг — эта мысль едва не парализовала его — ему придется самому придумывать эти недостающие слова? Но ведь слов в мире не меньше, чем мух...

От волнения он взмок.

Стараясь обрести душевное равновесие, он решил обойти территорию базы. На это понадобилось не так много времени, как ему сперва представлялось. Здание канцелярии было абсолютно пусто — ни стула, ни забытой бумажки, ни закатившегося в угол огрызка карандаша. Главные и задние ворота были запорты, но в отсутствие охраны любой ловкий человек мог пробраться на территорию базы. Не без сердечного трепета Филя открыл ворота ближайшего цеха. Он был пуст. Ни оборудования, ни пятен на полу или стенах, ни обрывка проволоки или обгоревшей спички на полу. То же самое было и в остальных корпусах. Только лампочки горели всюду. И все. Значит, на базе остались Филя и тень. Он вдруг обернулся на слабый шум: сзади подошел и ткнулся носом в колено слепой пес. Значит, их трое. Он лег у стены цеха, закрыл глаза, увидел мать с вязаньем на коленях, священника с дрожащими лиловыми губами, шептавшего о радости, услышал слова, некогда звучавшие здесь и обладавшие такими смыслами, которые не могла вместить его душа, и провалился в небытие — в сон.

Очнувшись после обморока и убедившись, что тень на месте, он бегом вернулся в дом и склонился над инструкцией. Убрал цифры. Что-то изменилось, но незначительно. Однако Филя вдруг с изумлением обнаружил, что некоторые фрагменты текста обладают определенным ритмом. Он взялся беспорядочно, наугад переставлять слова. Текст иногда вдруг обретал какой-то смутный, невнятный смысл — просто смысл сам по себе, который угасал, стоило поменять местами два-три слова или поставить знак препинания. Нет, впопыхах такую работу ни за что не сделать.

С бумагой и карандашом Филя устроился рядом с Лизеттиной тенью и, читая вслух то, что получалось, принялся выстраивать слова в том или ином порядке, словно советуясь с тенью, хотя и понимал, что со стороны это выглядит смешно, но единственным свидетелем был слепой пес, и Филя продолжал писать, зачеркивать и начинать все сначала. Он очень устал, и от усталости ему даже показались на миг, что тень придвинулась ближе к нему, а в какой-то момент коснулась его руки. Он уснул тут же, на площадке, положив исписанные листки под себя, чтобы в случае ночного дождя сохранить в целости текст.

— Черт возьми,— прошептал он, медленно погружаясь в сон,— а ведь ты была единственная женщина, кроме мамы, с которой я целовался. В первый и последний раз... В детстве, помнишь?

Утром ему не хотелось есть. Мысль о еде и в голову не приходила. Зато вдруг вспомнилось, как улыбалась Лизетта, раздеваясь на берегу реки, и как прыгала через скакалку, и какие у нее были глаза, когда она сердилась... Это было наваждение, и, защищаясь от бешеного напора этого наваждения, того непонятного, влекущего и пугающего, что открылось ему вдруг в пустых цехах заводерни, он схватился за карандаш.

Тень Лизетты едва заметно улыбнулась.

Спустя неделю строчки на бумаге, помимо Филиной воли, выстроились в таком порядке, в каком принято выстраивать стихи. Ошеломленный Филя перечитал написанное и тупо уставился на тень. В это мгновение он вдруг понял, каких слов недостает в конце. Вписал их и прочел вслух:

Те ан комали, лютер вертерог —
Гумер аморе, лав — те ан комали.
Но миролохи — те не паллоной ли,
Когда и бехер адорате рох.
Лютеллия! А вулли аберрок?

Не филио, не мув и не опали,
 Не без отеро, нежная афалли,
 О куннилингус! — Стелла аннобох...
 Но тристия, те глосса и улла,
 Те ан амиле, са не тор у края,
 Коль отто фил, то эстер те фулла.
 Не питто фаллос, номо, эт кормляю,
 Фелляция, лютеллия,— сола! —
 Коттаю анно: я тебя **любляю**...

— Любляю,— прошептал он.— На этом языке, вероятно, так произносится «люблю».

Когда люди из городка наконец отважились взломать главные ворота и вошли на территорию базы номер 8991-Л, они не обнаружили никаких признаков живодерни, вообще никого и ничего. Только три сизые тени на ослепительно белом бетоне — слившиеся в нежном объятии мужскую и женскую и чуть поодаль — тень слепой собаки. Грозно рыча, зверь оскалился, не подпуская к теням на бетоне живых людей.

Люди ушли.

— Пусть это звучит и нелепо, но *любляю* мне нравится больше,— прошептала тень Лизетты.

— Жизнь — лишь тень поэзии,— откликнулась тень Фили,— и кому придет в голову сравнивать высокое *любляю* с немощным *люблю*? Только не мне. *Сола*...

— *Сола!*..



Срубленное дерево ЖИЗНИ

МОЖНО ЛИ СЕГОДНЯ РАЗМЫШЛЯТЬ О ЧЕРНЫШЕВСКОМ?

1. О человеческом достоинстве

Начнем с заглавия. Кто имеется в виду? Ответ ясен из подзаголовка — Чернышевский. Кто его так назвал? Цитирую: «Конечно, *не использовать* такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием. <...> В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к Древу Жизни: но — взяли да и срубили его»¹. Но Розанов — парадоксалист, мог и сам себе возразить. Сколько раз так бывало. Мог. Однако не возразил. А-а, скажут, зато Набоков, роман «Дар»... Тема Набокова особая, все его творчество — тяжба с русской классической литературой. В «Даре» его герой пишет трактат о Чернышевском, где изображает последнего нравственным монстром, сухим, холодным, ничего не видящим под собственным носом. Это прямо противоположно воспоминанию Достоевского из «Дневника писателя»: «Я редко встречал более мягкого и радушного человека, так что тогда же подивился некоторым отзывам о его характере, будто бы жестким и необщительным. Мне стало ясно, что он хочет со мною познакомиться, и, помню, мне тоже это было приятно»². Впрочем, еще один каторжанин (современный) возразил Набокову.

«Дар» мне дали на пару дней — как книгу запрещенную, а на дворе 1966-й. И, конечно, на меня, третьекурсника, прочитанная тайком книга произвела впечатление. Чернышевский мне был (сам тогда не знал почему) симпатичен и интересен, потому и набоковский роман прочитал я особенно внимательно. Тогда я общался с Камиллом Икрамовым, отсидевшим свое положенное. Через него-то я и получил роман. Возвращая, поинтересовался мнением Камила. К моему удивлению, он ответил: «Мне очень не нравится, как Набоков изобразил Чернышевского. И, думаю, любой зек-лагерник со мной согласится». На мое растерянное «почему» пожал плечами: «Из лагеря любой хочет уйти. И если предлагали просить помилование, то люди соглашались, лишь бы очутиться на воле. А Чернышевский отказался от помилования. Такую силу духа нельзя не уважать, более того, не благоговеть перед ней». Позднее я узнал, *как* этот узник отказался. На предложение написать прошение о помиловании (и он тут же будет увезен из вилюйских снегов, болот и страшного одиночества) Чернышевский ответил: «За что мне, простите, просить помилования? За то, что у меня голова устроена иначе, чем у ваших министров?» «Так вы отказываетесь, Николай Гаврилович?» — пролепетал растерянный чин. Ссылный был вежлив, как всегда: «Положительно отказываюсь».

Я писал как-то книгу — так и не завершенная мною до сих пор работа — «Поянные письма русских писателей», анализируя оправдательные и жалобные, полные мольбы и приниженности прошения к царю и правительству от попавших в тюрьму или опалу русских писателей (тут имена Радищева, Чаадаева, Бакунина, Достоевского, не говоря уж о недавних диссидентах). Перо не поднимется их упрекать, но все же приведу письмо Н. Г. Чернышевского (в дальнейшем для краткости иногда — Н. Г. Ч.). Из тюрьмы он пишет царю, спокойно опровергая аргументы обвинения, тоном свободного человека.

¹ Розанов В. В. Уединенное. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1990, с. 207—208.

² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Т. 21. Л., 1980, с. 26.

«Государь, <...> благоволите, прошу вас, *оказать мне справедливость* повелением об освобождении меня от ареста.

Вашего величества подданный Н. Чернышевский
20 ноября 1862 »³.

А стоит сравнить подпись великого анархиста Бакунина под письмом к царю, где он себя именует «какющийся раб и грешник Мишка Бакунин» с гордой и достойной подписью Н. Г. Ч. — «ваш подданный», даже не верноподданный. Мы-де находимся в подзаконных взаимоотношениях и перед законом равны. Очевидно, Чернышевский понимал свою дерзость, поэтому в тот же день пишет письмо к петербургскому военному генерал-губернатору А. А. Суворову, объясняя свой тон: «В письме к его величеству я не употребляю ни одного из принятых в обыкновенных письмах к государю выражений чувства; это оттого, что, по моему мнению, человек в моем положении, употребляющий подобные обороты речи, оскорбляет того, к кому обращается, — обнаруживает мысль, что лицу, с которым он говорит, приятна или нужна лесть» (XIV, 461).

Письмо его и впрямь необыкновенное, письмо человека, чувствующего равноправие с первым лицом государства, с Божьим помазанником, не потому что равен происхождением, не дворянским достоинством, а удивительным чувством христианского равенства, что перед Богом и Божьим судом все равны. И кесарю он готов отдать кесарево, но не более того.

Его судили и обвиняли в революционности как вождя грядущего бунта, *а он всеми силами пытался противостоять бунту*. В «Письмах без адреса» незадолго до ареста говорит о возможном народном восстании: «Все лица и общественные слои, отдельные от народа, трепещут этой ожидаемой развязки. Не вы одни, а также и мы желали бы избежать ее. Ведь между нами также распространена мысль, что и наши интересы пострадают от нее, <...> — интерес просвещения. Мы думаем: народ невежествен, исполнен грубых предрассудков и слепой ненависти ко всем отказавшимся от его диких привычек. Он не делает никакой разницы между людьми, носящими немецкое платье; с ними со всеми он стал бы поступать одинаково. Он не пощадит и нашей науки, нашей поэзии, наших искусств; он станет уничтожать всю нашу цивилизацию» (X, 92). Эти письма — отчаянная попытка воззвать к разуму царя и правительства: «Презренная писательская привычка надеяться на силу слова отуманивает меня» (X, 92—93). Но, будучи арестованным, он не стал робко объяснять, что он тоже против бунта, ни разу не унизил себя оправданием такого рода. И принял каторгу и Сибирь — в духе терпеливого русского страдальца.

Если русские радикалы призывали к *жертвоприношению* — желательной царской семьи, правительства и либералов (впрочем, и себя готовясь принести в жертву — абсолютно языческое миропонимание)⁴, то Чернышевский отнюдь не стремился к жертвенности, даже очень хотел *пронести эту чашу мимо своих уст*, но выхода не было, и он с достоинством ее выпил. Не случайно пугливый Некрасов (рукопись «Что делать?» потерял, наверно, не случайно, а желая избежать ответственности) тем не менее не удержался и изобразил Чернышевского, хотя и спустя годы после его казни (1874)... как пророка, почти Христа:

Его еще покамест не распяли,
Но час придет — он будет на кресте:
Его послал бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Очень христиански точно — *напомнить*, а не заменить, ибо заменяет только Антихрист. Но при этом писалось это как бы о будущем («он будет на кресте»), а Чернышевский уже двенадцать лет спокойно и безропотно нес свой крест, никого не прося о помощи, стойчески и достойно⁵. Именно это как самое важное для облика Н. Г. Ч. определил Владимир Соловьев: «Все сообщения печатные, письменные и устные, кото-

³ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 15-ти т. Т. XIV. М., 1949, с. 461. В дальнейшем все ссылки на это издание даны в тексте. Курсив во всех цитатах из Чернышевского мой. — В. К.

⁴ Вот что написано было в прокламации «Молодая Россия»: «Мы не страшимся ее (революции. — В. К.), хотя и знаем, что прольется река крови, что погибнут, может быть, и невинные жертвы; мы предвидим все это и все-таки приветствуем ее наступление, мы готовы жертвовать лично своими головами, только пришла бы поскорее она, давно желанная. <...> Как очистительная жертва сложит головы весь дом Романовых» (Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый. Под ред. Е. Л. Рудницкой. М., 1997, с. 144).

⁵ Эту ситуацию он сам вполне предвидел, иронически, как всегда, заметив в письме Добролюбову (1858): «Мы берем на себя роли, которые выше натуральной силы человека, *становимся ангелами, христами и т. д.* Разумеется, эта ненатуральная роль не может быть выдержана, и мы беспреостанно сбиваемся с нее и опять лезем вверх» (XIV, 359). Но он выдержал, несмотря на самоиронию. А может, и благодаря ей.

рые мне случилось иметь об отношении самого Чернышевского к постигшей его беде, согласно представляют его характер в наилучшем свете. Никакой позы, напряженности и трагичности; ничего мелкого и злобного; чрезвычайная простота и достоинство. <...> Нравственное качество его души было испытано великим испытанием и оказалось полновесным. Над развалинами беспощадно разбитого существования встает тихий, грустный и благородный образ мудрого и справедливого человека»⁶.

Это что же, спросят меня, *апология*? Да, если понимать слово не в расхожем («восхваление»!), а в словарном смысле — как *защиту* кого-либо. Да и как не попытаться защитить!

Такая судьба, конечно, производит впечатление. Ибо в этом человеке видно именно то, что называется истинным человеческим достоинством. Но как возникла в полуазиатском рабском мире такая сознающая себя как ценность личность?

2. Кто же вы, магистр Чернышевский?..

Не забудем такого важнейшего обстоятельства, что Чернышевский был сыном священника, саратовского протоиерея, в отличие от многих русских священнослужителей образованного и давшего сыну весьма хорошее образование (античные языки, современные европейские и восточные), достаточно сказать, что Н. Г. Ч. часто писал отцу письма по-латыни. Формально он окончил семинарию, но на самом деле обучение было домашнее, экзамены сдавал экстерном. Отношение к отцу было в высшей степени почтительное, да и духовная близость очевидна. Приведу отрывок из письма (Воронеж, 1 июня 1846 г.): «Монастырь св. Митрофана очень широк, но... вообще втрое менее нового собора; к тому же стеснен столпами. <...> И до того тесно, что негде занести руку перекреститься. <...> Иконостас мне понравился. <...> Вообще собор должен бы быть несравненно великолепнее. Даже самая рака, в которой покоятся мощи, не слишком богата» (XIV, 14). И так далее, почти в каждом письме — и из Москвы, и из Петербурга. А такое: «Целую ручку у своего крестного папеньки» (XIV, 118)?! А вот восклицание начинающего студента (1846 г.): «Содействовать славе не преходящей, а вечной своего отечества и благу человечества — что может быть выше и вожделеннее этого? Попросим у Бога, чтобы он судил нам этот жребий» (XIV, 48). Не забудем и того, что его сочинения по философии в семинарии считались богословскими достижениями, их даже хотели издать. А проезжий епископ, останавливавшийся и гостивший у саратовского протоиерея, называл его сына Николеньку «надеждой русской церкви». Да и очень долго философия была для него «несравненно ближе связана с религиею, нежели русская история и словесность» (отцу, 1850 г.; XIV, 175). В университете на филологическом Н. Г. Ч. был любимым учеником великого филолога И. И. Срезневского, сидел над житиями и летописями (из письма 1850 г.: «Я на днях начал заниматься опять Ипатьевскою летописью. Теперь отделяю букву Д»; XIV, 174). Уже после написания своей знаменитой диссертации, которую у нас до сих пор трактуют как чистый атеизм, он писал отцу (3 июля 1855 г.): «Милый папенька! Честь имею поздравить Вас с днем Вашего ангела; буду молиться Богу, чтобы и в этот день и год, начинающийся им для Вас, и все следующие годы проведены были Вами в радости и здоровье. Буду молить Бога и о том, чтобы он наставил нас и дал нам с Олиньюкою доставлять Вам утешение» (XIV, 304—305). У него рождается сын, и он извещает отца (1858 г.): «Мишу в четверг мы крестили» (XIV, 366), то есть никакого отрицания обрядов, как у записных нигилистов. Но стоит ли множить сущности, доказывая христианскую основу его человеческого и духовного бытия, ту основу, которая не может не определять и все его сочинения?..

Не забудем и того, что христианство — это европейская религия, резко отделившая Россию от степной — языческой и мусульманской — Азии. Однако так сложилась русская история (и это весьма существенно), что священники были, по сути, выведены за пределы того общества, которое могло оказывать влияние на судьбу страны. Еще Пушкин писал о русском «азиатском невежестве»⁷, которое в высшем обществе преодолелось после Петра Великого европейским просвещением, говорил о глубокой думе, с какой иноверцы глядят на «крест, эту хоругвь Европы и просвещения»⁸, но при этом понимал, что священники оторваны от высшего общества, а потому не могут воспитывать нацию: «Бедность и невежество этих людей, необхо-

⁶ Соловьев В. С. Из литературных воспоминаний. Н. Г. Чернышевский. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1989, с. 650.

⁷ Пушкин А. С. Собр. соч. В 10-ти т. Т. VIII. М.-Л., 1949, с. 122.

⁸ Там же. Т. VII, с. 344.

димых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностью. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии»⁹. Сын священника лучше многих других видел эту невозможность через церковь воздействовать на публику, не случайно едет он учиться в университет, ищет других путей, чтоб с помощью Бога, как он писал, пригодиться своему отечеству. Но чего же нужно желать России? Как и Пушкин, он думает об избавлении от «азиатского невежества».

Несмотря на идущую европеизацию (гласность как эвфемизм свободы слова и т. п.), на его взгляд, в России оставалось слишком много «азиатства», а «азиатством называется такой порядок дел, — писал он, — при котором не существует неприкосновенности никаких прав, при котором не ограждены от произвола ни личность, ни труд, ни собственность. В азиатских государствах закон совершенно бессилен. Опирайтесь на него — значит подвергать себя гибели. Там господствует исключительно насилие» (V, 700). Он и погиб, пытаясь опереться на закон. Европеизирующееся государство, в котором бродило еще слишком много азиатчины, собрав эту азиатчину в кулак, сколько могло сильно ударило человека, который вел себя так, будто он уже и вправду живет в законопослушном и благоустроенном европейском государстве.

3. Как преодолеть «азиатство»?

Что же Н. Г. Ч. хотел противопоставить азиатчине? Просвещение. Но просвещение идет через конкретных людей, а не вообще просвещается некая абстрактная совокупность — народ. Двигатель общественного развития, благоустройства общества — для него самостоятельная личность: «Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности от притеснений. Привычка не может быть ограничиваема какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе» (V, 695). И поныне звучит это весьма актуально. Важнейшим завоеванием западноевропейской истории он считал «обеспечение частных прав отдельной личности» (IV, 738). Не вообще народ есть производитель материальных и духовных ценностей, а только те русские люди, которые способны к самостоятельному труду. Но именно личности не хватало России. В решении этой проблемы — путь к дальнейшей европеизации России и подлинному глубинному усвоению христианства.

При чем здесь, однако, христианство? Сошлюсь на Владимира Соловьева: «Через европейское просвещение русский ум раскрылся для таких понятий, как человеческое достоинство, права личности, свобода совести и т. д., без которых невозможно достойное существование, истинное совершенствование, а следовательно, невозможно и христианское царство»¹⁰. Славянофилы, усвоив, как иронизировал Герцен, у немца Гакстгаузена идею, что особенность России в ее общине, а православие — наиболее чистая и не замутненная примесью христианская конфессия (да мы еще и общинны как первохристиане), забыли о личностном характере христианства. Ведь ранние христианские общины складывались из личностей, из людей, способных взять на себя ответственность за выбор своей жизненной позиции. Община, разумеется, становилась хозяйственной единицей. Но их хозяйственная деятельность сообщества была следствием объединения личностей. Но не наоборот. А потому надеяться, не решив проблемы свободы и личности, что без особых усилий Россия превзойдет Запад, было опрометчиво. Впрочем, и Чаадаев, и Герцен рассуждали, что Россия со временем станет «совестным судом» Европы и, как страна молодая, пойдет дальше отягощенного комплексами и проблемами доживающего свой век Запада.

В отличие от Чаадаева, славянофилов, Герцена, утверждавших, что мы пришли позже, а пойдем дальше, воспользовавшись опытом Западной Европы, Н. Г. Ч. полагал необходимым прежде преодолеть национальный архетип, не позволяющий стране развиваться: «Мы также имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам так же трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться» (VII, 616). Верил ли он в революцию, моментально переиначающую жизнь, избавляющую нас от азиатства, насилия и произвола? Вот его ответ: «Весь этот сонм азиатских идей и фактов составляет плотную кольчугу, кольца которой очень крепки и очень крепко связаны между собой, так что *Бог знает, сколь-*

⁹ Пушкин А. С. Собр. соч. В 10-ти т. Т. VIII, с. 126.

¹⁰ Соловьев В. С. Византизм и Россия. Соч. в 2-х т. Т. 2. М., 1989, с. 578.

ко поколений пройдут на нашей земле, прежде чем кольчуга перержавеет и будут в ее прорехи достигать нашей груди чувства, приличные цивилизованным людям» (VII, 616—617). К теме революции мы еще вернемся, пока же замечу, что в своей философии истории он был абсолютно оригинален, не повторяя «последних слов» Запада, ибо исходил из конкретных особенностей отечественной истории. Мало кто из современников заметил его оригинальность, но стоит привести слова о Чернышевском наблюдательнейшего консерватора А. С. Суворина: «Он не уступит лучшим характерам прошлого времени», к тому же сделал то, о чем только мечтали славянофилы — посмел «выйти из пеленок западной мысли и <...> говорить от себя, <...> свои слова, а не чужие»¹¹.

Он был, как Пушкин, *настоящий русский европеец*, желавший перенести в Россию не слова, не идеи, не формы, а *установочные принципы*, которые своею силою творили бы Россию как европейскую страну, как и положено ей по ее христианскому происхождению. И главное, повторяю, для него заключалось в развитии личности. Поэтому, принимая общину, он толковал ее не как враждебную индивиду, даже не как хор, а как защитницу личностного принципа, наподобие цехов и коммун в Западной Европе. Но принятие общины, которую *можно*, как он надеялся, перевести в освободительный регистр, вовсе не означало *идеализации народа* с его привычкой к произволу и бесправии.

Чернышевского называют демо-**кратическим** мыслителем. Скорее можно его назвать демо-**критическим**. И тут он резко противостоял опять-таки **всем**. Народ обожествляли и православные мыслители, и разночинные писатели, и радикалы, и Герцен, и Толстой, и даже Достоевский, забыв, что, даже если народ — богоносец, он не есть Бог, что, напротив, Бог — судия над любым народом. О народе в шестидесятые годы боялись плохо сказать (страдалец, мол). Беспощадная пьеса позднего Толстого «Власть тьмы» или еще более жестокие чеховские «Мужики» и бунинская «Деревня» — все это пришло на рубеже веков. Пока же, пожалуй, один Чернышевский смел написать такое: «Забудемте же,— убеждал он собратьев по перу,— кто светский человек, кто купец или мещанин, кто мужик, будемте всех считать просто людьми и судить о каждом по человеческой психологии, *не дозволяя себе утаивать перед самими собою истину ради мужицкого звания*» (VII, 862). В этом и заключался его демо-**критизм** писать «о народе правду без всяких прикрас» (VII, 856). В противном случае неизбежно опять-таки впадение в азиатчину, ибо забывается главное условие христианского жизнеповедения — ответственность за самого себя. «Делая человека ответственным,— писал Достоевский,— христианство тем самым признает и свободу его»¹².

А без свободы немислимо и просвещение, что очевидно показала толстовская идеализация народных взглядов. Лев Толстой писал, что «народ постоянно противодействует тем усилиям, которые употребляют для его образования общество или правительство». Чернышевский отвечал: «Мало ли чему может иногда противодействовать народ! При Иосифе II в Бельгии и в Венгрии он противодействовал разрушению феодального порядка; при Аранде и Флориде Бланке в Испании он противодействовал отменению инквизиции; у нас он противодействовал попыткам ознакомить его с возделыванием картофеля. <...> В некоторых,— пожалуй, в довольно многих,— случаях народ довольно упорно противился заботам об его образовании. Что ж тут удивительного? *Разве народ — собрание римских пап, существ непогрешительных? Ведь и он может ошибаться, если справедливо, что он состоит из обыкновенных людей*» (X, 505—506).

Конечно же, не мог победить Н. Г. Ч., ибо народу не льстил и не идеализировал его. «Грязь и пьяные мужики с дубьем» — так он видел грядущее восстание народа. Впрочем, не льстил ради того же народа. Когда идеалист, нечто вообразивший себе, составивший возвышенный образ народа, сталкивается с его реальностью, он начинает подминать реальный народ под воображаемый идеал. Что и проделывали *наивные комиссары* первых лет революции (Н. Коржавин).

Любопытно, что идея народности, народа как основы культуры пришла от немецких и французских романтиков. Но тут мы сталкиваемся с поразительным феноменом усвоения «русскими мальчиками» (термин Достоевского) западноевропейских идей. Как нерадивые школьники, не дослушавшие урока до конца, начинают ставить себя выше учителя, доказывать ему, что давно это все знали, так и «русские мальчики» *любомудры* (в данном случае славянофилы) начали утверждать, что все

¹¹ Литературное наследство. Т. 86. Ф. М. Достоевский. Новые материалы и исследования. М., 1973, с. 380.

¹² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 21, с. 16.

то, что Запад только ищет, у нас всегда было: и любовь к народу, и вера в народную мудрость, и смиренное, «божеское» отношение высших сословий и царской власти к простолюдину-кормильцу — в отличие от гнусных феодальных отношений на Западе. Даже почвенник Достоевский возмутился: «Вы говорите, что у нас не было ничего подобного феодальным отношениям на Западе? Ну нет-с; одно другого, верно, стоило. <...> “Крестьянин,— говорите вы,— не был для помещика *виледем*, а рабом божим, христианскою душою”. А холоп, хам, халуй, хамлет? — что эти названия, по-вашему, благороднее *виледея*?»¹³.

И, правда, народ был обращен в крепостных рабов, причем даже не иностранцами, а своей же властью. Разумеется, в попытке оправдаться, а заодно самовозвеличиться впади в другую крайность — в идолatriю народа, в его обожествление. Примерно то же произошло и с идеей социализма, вы-де на Западе только ищете, а мы самим жизнеустройством к социализму призваны. Такое прочтение западных идей и было одной из предпосылок российского бед. Чернышевский опирался на принципы, выработанные в Западной Европе, прежде всего на идею важности жизни одного отдельно взятого индивида, не раз повторяя великую мысль Канта о том, что человек сам себе цель, но отнюдь не средство, какое бы благо не было впереди обещано. Н. Г. Ч. по всему духу своему был европейцем, вырос и воспитался не только на русской, но и на классической европейской литературе (Шиллер, Жорж Санд, Лессинг, Диккенс, Гете) и философии (от Платона и Аристотеля до Канта, Гегеля, Фейербаха), писал о западноевропейских классиках, переводил с немецкого, английского, французского, вел в «Современнике» раздел зарубежной политической хроники, то есть знал Западную Европу как мало кто. Но он боялся — и не мог не бояться — тех неопитов, которые обращаются к западной мысли как к отмычке русских проблем. Ибо исходить надо из своих реальностей.

Прочитав уже в Вилуйске «Капитал», он не принял марксизма как объяснения русской жизни. Ведь еще на воле он писал: «Говорят: нам легко воспользоваться уроками западной истории. Но ведь пользоваться уроком может только тот, кто понимает его, кто достаточно приговорен, довольно просвещен. *Когда мы будем так же просвещены, как западные народы, только тогда мы будем в состоянии пользоваться их историей, хотя в той слабой степени, в какой пользуются ею сами они*» (VII, 617). Поэтому вначале — просвещение, вначале надо научиться, а не то не только ранним славянофилам, но и пореформенной молодой разночинной интеллигенции так легко покажется этот Запад превзойти! Именно это и доказали крайние радикалы начала 60-х. В прокламации «Молодая Россия» было написано: «Мы изучали историю Запада, и это изучение не прошло даром: мы будем последовательнее не только жалких революционеров 48 года, но и великих террористов 92 года, мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения современного порядка придется пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90 годах»¹⁴. Вспомним бесконечные упреки Ленина западным марксистским социалистам в их недостаточной революционности, именно русскую — радикальную — трактовку марксизма объявлял он наиболее истинной. «Дайте русскому мальчику карту звездного неба, и он наутро возвратит вам ее исправленной», — писал Достоевский. Именно так и происходило. Сам Маркс, кстати, как и Чернышевский, считал, что его теория к России отношения не имеет, что ее выводы имеют прогностический характер только для Западной Европы, прежде всего для Англии.

Но не Чернышевский ли звал Русь к топору? Во всяком случае, такое мнение утвердилось в общественном сознании. Пусть серьезные исследователи отрицают этот факт, но так нас партийные учебники учили, вот и выучили, так выгодно было «победившим бесам». Им же практически на слово поверила наша «свободомыслящая» интеллигенция, причислив и Н. Г. Ч. по бесовскому ведомству, не удосужившись почитать его тексты.

4. Против российского произвола

Кто же был автором злополучного и провокационного «Письма из провинции» (1860), опубликованного в «Колоколе», где вполне серьезно утверждалось: «Наше

¹³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 19, с. 66.

¹⁴ Молодая Россия // Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый. Под ред. Е. Л. Рудницкой. М., 1997, с. 146. Надо сказать, хоть в сноске, что этот сборник — самое полное документальное собрание высказываний русских крайних радикалов, дающее наконец-то реальное представление о том, на каких идеях вырастала ленинская партия большевиков. Тираж этой ценнейшей книжки, к сожалению, всего 1000 экземпляров.

положение ужасно, невыносимо, и только топор может нас избавить, и ничто, кроме топора, не поможет!»¹⁵? И подписался этот автор не как-нибудь, а в твердой уверенности, что выражает мнение *всех* — «Русский человек», показывая тем самым, что сущность национальной психеи, достижение национального единства видит в кровавой мясницкой резне. Но к стихийной, *разбойничьей* революции призывал Бакунин, идею разбоя взяли на вооружение Ткачев и Нечаев. А Чернышевского с Нечаевым все же сумели развести историки русской философии из «шестидесятников»¹⁶.

Я помню свой разговор с Н. Я. Эйдельманом, когда я сказал, что отрицаю авторство Чернышевского, ибо автор этого письма говорит, что жил в «глухой провинции» во время Крымской войны, но Саратов никогда не был глухой провинцией, да к тому же в это время Н. Г. Ч. уже переехал в Петербург, а в провинции застрял другой совсем человек, будущий эмигрант. «Вы намекаете на Огарева? — задумчиво так спросил Н. Я. — Действительно “Р. Ч.” и “Русский человек” его постоянные псевдонимы. Но чтобы друг Герцена — вряд ли... Во всяком случае, ясно, что это не Чернышевский». Я не думал тогда об Огареве, но быстрота реакции Эйдельмана показала, что он-то думал именно о нем. И правда, Огарев, друживший во второй эмигрантской жизни скорее не с Герценом, а с Бакуниным, называвшим страсть к разрушению творческой страстью, активно поддерживавший Нечаева, больше подходил этому письму, нежели ироничный и осторожный Чернышевский, считавший самым важным не гибель, а жизнь человека. В конце 60-х Огарев выступил уже открыто с самыми бешеными призывами к насилию в стилизованном стихе-прокламации «Гой, ребята, люди русские!...»:

Припасайте петли крепкие
На дворянские шеи тонкие!
Добывайте ножи вострые
На поповские груди белые!
Подымайтесь, добры молодцы,
На разбой — дело великое!

А вот что пишет Чернышевский. Прочитаем следующие строки внимательно. Пишет ли их экстремист, желающий волевым усилием, без учета российской истории «перепахать» страну, или перед нами реалист, понимающий весь трагизм нашей исторической судьбы? «До половины XVII века вся Европейская Россия была театром таких событий, при которых можно дивиться разве тому, что уцелели в ней хоть те малочисленные жители, которых имела она при Петре. *Татарские набеги, нашествие поляков, многочисленные шайки разбойников, походившие своей громадностью на целые армии* (не Болотников ли это с Булавиным? — **В. К.**), — *все это постоянно дотла разоряло русские области*. Они опустошались также страшною неурядицею управления. <...> Только с XVIII века внешние разорители были обузданы и внутренняя администрация стала несколько улучшаться. <...> Если теперь производят вещи, тысячной доли которых не мог описать Щедрин, то *рассказы наших отцов и дедов свидетельствуют, что в их времена господствовал произвол, невероятный даже для нас*» (V, 690). Произвол и насилие — самые ненавистные для Чернышевского понятия.

Именно поэтому так боялся он законодательного закрепления общины. Славянофилы во время реформ настояли на *обязательности* общинной формы хозяйства, а поскольку фискальный ее смысл был ясен и государству, то оно приняло требование славянофилов, закрепив ту общину, с которой потом пытался бороться Столыпин и которую в форме колхозов восстановил Сталин. Надевшийся на то, что община сможет быть защитой личности от внешних притеснений, Н. Г. Ч. категорически выступил против насильственного навязывания общинности, ибо это было не защитой личности, а, напротив, ее притеснением: «Трудно вперед сказать, чтобы общинное владение должно было всегда сохранять абсолютное преимущество пред личным. <...> Трудно на основании фактов современных положительно доказать верность или неверность предположения о будущем (*вот вам и утопизм, и проекты переустройства общества у Чернышевского, не было такого!* — **В. К.**). Лучше подождать, и время разрешит эту задачу самым удовлетворительным образом. Вопрос о личном и общинном владении землей непременно разрешится в смысле наиболее выгодном для большинства. Теория в разрешении этого вопроса будет бессильна...» (V, 847).

¹⁵ Письмо из провинции // Революционный радикализм в России. Век девятнадцатый. Под ред. Е. Л. Рудницкой. М., 1997, с. 84.

¹⁶ См. напр.: Володин А. И., Карякин Ю. Ф., Плимак Е. Г. Чернышевский или Нечаев? М., 1976.

Об этом же и пресловутая, осмеянная либералами (которые потом аплодировали большевикам) Вера Павловна, устраивая свою мастерскую, говорила работникам: «Надобно вам сказать, что я без вас ничего нового не стану заводит. Только то и будет новое, чего вы сами захотите. Умные люди говорят, что только то и выходит хорошо, что люди сами захотят делать. И я так думаю. <...> Без вашего желания ничего не будет»¹⁷. Не наблюдается ли в этом некая последовательность?.. Экспериментов на людях, как большевики, он делать не хотел.

Ленин, правда, говорил, что Чернышевский его «перепал». Но, *во-первых*, мало ли кто кого *перепалывает*. Может, нам и Ницше не читать, раз им Гитлер и нацисты клялись, говоря, что он их вдохновил. Организатор большевистской партии, конечно же, ближе совсем другим российским деятелям — это *во-вторых*. Как констатировал Федор Степун, «следы бакунинской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать только в программе и тактике большевизма»¹⁸. А *в-третьих*: зачем нам верить Ленину, Гитлеру, большевикам, нацистам, а не юдофилу и германофобу Ницше и не гуманисту Чернышевскому, пытавшемуся в публичных и самых своих зрелых произведениях (выше цитированных, за которые попал на каторгу) *предотвратить катастрофическое течение событий*, а для того изменить саму систему российских ценностей, где кровь людская как водица, а человек ни во что не ставится. Именно об этом и в его знаменитой прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» (1861), где *он призывает, уговаривает крестьян не восставать*, ибо, договорившись с умом, можно людям без крови жизнь устроить: «Что толку-то, ежели в одном селе булгу поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить да себя губить. <...> Мы уж увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. <...> Тогда и легко будет волю добыть. <...> А мы все люди русские промеж вас находимся, только до поры до времени не открываемся, потому что *на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли*»¹⁹ (курсив мой. — В. К.). Как тактичен! Ведь в этот момент в деревнях волнения («баре истинный царский манифест от народа скрыли!»), бунты подавляет армия, крайние радикалы, включая Герцена, просят восстающих не жалеть крови, зовут Русь к топору. А Чернышевский, вроде бы соглашаясь с восставшими и возмущенными, призывает их остановиться, побережь себя, ибо для «доброего дела», которое должно быть сделано «легко», то есть без крови, не нужно гибнуть. Да и не верил он в «бессмысленный и беспощадный» русский бунт («Письма без адреса»).

Герцен свое вольное книгопечатание начал угрозой (1853), еще до всяких восстаний в селе Бездна (название символическое — в эту *Бездну* потом и рухнула Россия) пообещав новую пугачевщину: «Страшна и Пугачевщина, но скажем откровенно, если освобождение крестьян не может быть куплено иначе, то и тогда оно не дорого куплено»²⁰.

Достоевский настолько испугался прокламации «Молодой России», что пришел к Чернышевскому с просьбой образумить радикалов — в надежде, что они его послушаются. *Они не слушались*. Он стал для них идолом, которого всеу называли учителем, но учиться у него не хотели. Это идолопоклонничество, царившее вокруг Н. Г. Ч., отмечали многие (скажем, С. М. Соловьев). Идола могли мазать жертвенной кровью, но вкладывали в его уста лишь то, что хотели сами услышать. Клянясь его именем, перечили самой сути его учения (особенно явно потом это проделал Ленин). Поэтому не только эта, но и написанная вроде бы сторонником Чернышевского Н. Шелгуновым прокламация была выпадом-ответом на прокламацию *учителя*, да и на всю его деятельность. Скажем, Н. Г. Ч. предлагал крестьянам брать за образец социальное и политическое устройство Западной Европы (французов и англичан): «У французов да и англичан крепостного народа нет. <...> У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь, значит, для всего народа староста, и народ, значит, над этим старосту, над царем-то, начальствует. <...> И при царе тоже можно хорошо жить, как англичане и французы живут»²¹.

А нигилисты возражали, да резко: «Хотят сделать из России Англию и напитать нас английской зрелостью. <...> Нет, мы не хотим английской экономической зрелости, она не может вариться русским желудком. <...> Мы не только можем, мы

¹⁷ Чернышевский Н. Г. Что делать? Л., Наука, 1975, с. 132.

¹⁸ Степун Федор. Встречи и размышления. London, 1992, с. 112.

¹⁹ Барским крестьянам от их доброжелателей поклон // Революционный радикализм в России. С. 92.

²⁰ Юрьев день! Юрьев день! // Революционный радикализм в России. С. 57.

²¹ Барским крестьянам от их доброжелателей поклон // Революционный радикализм в России. Сс. 89, 90.

должны прийти к другому. В нашей жизни лежат начала вовсе не известные европейцам. Немцы уверяют, что мы придем к тому же, к чему пришла Европа. Это ложь. <...> Европа не понимает, да и не может понять, наших социальных стремлений; значит, она нам не учитель в экономических вопросах. Никто нейдет так далеко в отрицании, как мы, русские. <...> У нас нет страха перед будущим, как у Западной Европы; вот отчего мы смело идем навстречу революции; мы даже желаем ее»²².

Поразительно, как совпали в неприятии идей и позиции Чернышевского и нигилисты, и самодержавие. Обе эти силы, вроде бы противостоявшие друг другу, всё в России хотели делать силой прихоти, силой произвола. Впрочем, как не раз замечалось и в западной, и в нашей литературе, радикальные нигилисты и большевики, по сути, отражали худшие черты самодержавия, да еще в гротескно увеличенном виде. Конечно, портреты Чернышевского после казни повисли на стенках в каждой интеллигентной и тем более нигилистически настроенной семье, кружке, квартирке. Так в застойные времена диссидентствующих узнавали по портретам Солженицына в рамочке. Эту славу — революционера-страдальца — подарил Н. Г. Ч. самодержавие. В ней он не нуждался. Но она была тем сильнее, чем беззаконнее выглядело решение суда. Сознание государственного произвола по отношению к независимому мыслителю было всеобщим, особенно явно у *русских европейцев*. На вопрос Александра Второго, что делается в литературе, граф Алексей Константинович Толстой ответил, что «русская литература надела траур — по поводу несправедливого осуждения Чернышевского». Был возмущен этим актом С. М. Соловьев. А спустя тридцать лет его сын В. С. Соловьев все с той же страстью негодования на несправедливость напишет: «В деле Чернышевского не было ни суда, ни ошибки, а было только заведомо неправое и насильственное деяние, с заранее составленным намерением. Было решено изъять человека из среды живых — и решение исполнено. Искали поводов, поводов не нашли, обошлись и без поводов»²³.

Не случайно шутили в советское время, что некоторых русских царей необходимо посмертно наградить орденом Октябрьской Революции за создание революционной ситуации в стране. Это надо уметь — выкинуть из жизни человека, который мог воздействовать благотворно на развитие страны, выкинуть из страха перед его самостоятельностью и независимостью! Снова обратимся к Розанову, чтоб оценить *государственный* масштаб Н. Г. Ч.: «Это — Дизраэли, которого так и не допустили бы пойти дальше “романиста”, или Бисмарк, которого за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь “драться на рапирах” и “запретили куда-нибудь принимать на службу”. Черт знает что: рок, судьба, и не столько *его*, сколько *России*. <...> Поразительно: ведь это — прямой путь до Цусимы. Еще поразительнее, что с выходом его в *практику* — мы не *имели бы* и *теоретического нигилизма*»²⁴. А уж от цусимского поражения лишь один шаг до первой русской революции и далее. Иными словами, Розанов считал, что губительное преступление самодержавия — испугавшись личности такого масштаба, уничтожить его и как деятеля, и как соперника (вины не было!), убрав подальше от способной к самодвижению России. «Он бы Россию благоустроил», но его согнали с причитавшегося ему кресла законодателя, а когда свято место стало пусто, место это заняли бесы.

5. О христианском пафосе Н. Г. Ч.

Что же так корежило и крайне левых, и крайне правых при соприкосновении с его идеями? Почему его вырвали из среды живых и отправили в *Мертвый дом*? Надо вообразить, что это был период, когда роль христианской церкви, по сути, приняла на себя литература, чувствуя малоэффективность церкви и крайне слабую христианизацию страны, отсутствие в навике российского бытия самых элементарных христианских ценностей. Отсюда страстная христианская проповедь Достоевского, Вл. Соловьева и прочих неорелигиозных русских мыслителей. Ибо только в усвоении этих ценностей есть, как говорил Достоевский, единственное убежище Русской земли от всех зол. Иначе лезут изо всех щелей разнообразные бесы — от гоголевских и Щедринских чиновников до отрицающих все и вся нигилистов.

Посмотрим в этом контексте на идеи Чернышевского. Бердяев замечал: «Чернышевский был очень кроткий человек, у него была христианская душа, и в его ха-

²² К молодому поколению // Революционный радикализм в России. Сс. 98, 99, 100.

²³ Соловьев В. С. Из литературных воспоминаний. Н. Г. Чернышевский. С. 649.

²⁴ Розанов В. В. Уединенное. С. 208.

рактуре были черты святости»²⁵. Правда, десятью строчками ниже он продолжает: «Чернышевский был материалистом, последователем Фейербаха, и вместе с тем идеалистом земли»²⁶. Мне же кажется, что Н. Г. Ч. так же, как и его великие современники, пытался ответить на запрос эпохи — о пробуждении в России христианских идеалов. Хочу напомнить реакцию (1865 г.) на его роман «Что делать?» архимандрита Феодора (А. М. Бухарева). Он полагал, как справедливо замечается в предисловии к постсоветскому изданию его текстов, что Чернышевский не сделал новых открытий в области нравственности, что только отпавшим от христианства могли показаться странными отношения героев в его романе. Архимандрит писал, что если мужчина и женщина будут «становиться в сообразность» с христианскими «первообразами», то «тогда самые высшие догматы истины Христовой будут проводиться и раскрываться и в самых низменностях нашей жизни. У г. Чернышевского удивительное на это чутье. Вот Господь наш столько возлюбил человечество, что ради человека принял в единство Своего лица человеческую природу, и таким образом “Я”, так сказать, стоит за каждое человеческое “Я”, только бы не отвергал человек такой благодати. И кто действительно и совершенно принимает и усваивает такую благодать Господа, в том она становится всем, впрочем, не поглощая не только его личности, но и национальности, и возраста, и пола, напротив, сама дивным образом входя в меру его личности, национальности, пола. Вера Павловна у г. Чернышевского ощутила, хоть только в сновидении, и эту тайну благодати, разнообразно возбуждающей и руководящей человека... <...> Рассмотрев с этой точки роман г. Чернышевского, я не могу не видеть в нем замечательного выражения русской мысли, неудержимо рвущейся к свету истины»²⁷.

Зная из личного опыта беспомощность русской церкви, Н. Г. Ч., по сути дела, дал русскому обществу систему глубоко христианских ценностей, секуляризованных в современной ему позитивистской одежде. Каких же?

Одна из важнейших евангельских тем — жизнь вечная, жизнь против смерти, то есть отказ от языческой установки, где человек прежде всего жертва безличных сил, а не свободно выбравший путь к истине, ведущей к жизни. «Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоан. 14, 6). А принявший христианскую систему ценностей тем самым «перешел от смерти в жизнь» (Иоан. 5, 24). Евангелие ориентировано не на смерть, не на убийство, а на воскрешение, возвращение в жизнь. Так Христос воскрешает девицу: «И, взяв девицу за руку, говорит ей: “талифа-куми”, что значит, “девица, тебе говорю, встань”. И девица тотчас встала и начала ходить» (Мар. 5, 41—42). Сцена, особенно умилявшая Ф. М. Достоевского. То есть Богочеловек дает не только жизнь вечную, но и печется о жизни здешней, земной, видит в ней смысл и ценность.

Я не буду писать о евангельских парафразах в текстах Чернышевского, замечу только, что так возмущающее многих словосочетание «новые люди» не им придумано, а напрямую заимствовано из Евангелия. Да и в русской литературе имеет устойчивую традицию. Напомню из «Повести временных лет», как после Крещения князь Владимир назвал крестившихся русичей: «Владимир же был рад, что познал Бога сам и люди его, посмотрел на небо и сказал: “Христос Бог, сотворивший небо и землю! Взгляни на *новых людей* этих и дай им, Господи, познать тебя истинного Бога, как познали тебя христианские страны”»²⁸ (курсив мой. — В. К.). Такие устойчивые евангельские и библейские словосочетания в языке мыслителя заслуживают специальной работы. Задача, которую я постараюсь разрешить, иная и, кажется, более сложная. А именно: отойдя от трагической судьбы Н. Г. Ч., показать систему его взглядов на какой-либо его большой работе.

Можно взять, конечно, любой текст, но наиболее общественно значимых два — диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности» и роман «Что делать?». Однако если о романе иногда писались кисло-одобрительные соображения (но не забудем слов Бахтина, что именно с романа Чернышевского начинается в России «идеологический роман», высшие образцы которого дали Толстой и Достоевский), то диссертация восхвалялась всегда такими фигурами от советской философии, что невольно хотелось вперекор им назвать диссертацию гнусной и губительной для искусства. Что наши эстетствующие оппозиционеры с удовольствием и делали, пролистывая, но не читая сочинение Н. Г. Ч.

²⁵ Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990, с. 42.

²⁶ Там же.

²⁷ Архимандрит Феодор (А. М. Бухарев). О духовных потребностях жизни. М., 1991, с. 146—147.

²⁸ Памятники литературы Древней Руси. XI — начало XII века. М., 1978, с. 133.

Даже те, кто пытался противопоставить Чернышевского Нечаеву, о диссертации старались не распространяться. Между тем именно в ней впервые прозвучала с такой силой неожиданная для русского общества, а потому и непонятая, *евангельская тема жизни*. Прозвучала в контексте российских бытийственных архетипов, что тоже понятно, к несчастью, не было. Значительность текста современники чувствовали, но читали, исходя из мелких сиюминутных проблем. Отстояние почти в полтора столетия лет дает возможность посмотреть на этот трактат спокойно, заодно разглядев и ту нелепицу, которая потом так победно утвердилась в понимании диссертации Чернышевского (приблизиться к ее пониманию я хотел давно). Попробуем же увидеть *истину*, то есть исходя из этимологии слова, то, что *есть*, а не соображения по поводу.

Начнем с полемики вокруг второго издания диссертации, ибо именно оно вызвало шквал откликов. Автор был уже на каторге, что придавало особую остроту всем *за и против*. Как камертон к дальнейшим рассуждениям хочу привести едва ли не единственную в те годы положительную оценку его диссертации, но зато оценку, которая стоит многих других, данную, кстати, когда имя Н. Г. Ч. еще по-прежнему запрещено было поминать в печати. Говоря о том, как собирается «целое человечество вокруг невидимого, но могучего центра христианской культуры»²⁹ и роли искусства в этом собирании, ища в русской культуре зачатки такого христианского понимания искусства в эстетической теории, В. С. Соловьев именно трактат Чернышевского (1894 г.!) называет «первым шагом к истинной положительной эстетике»³⁰.

6. Воскрешение, или Жизнь после казни

19 мая 1864 года состоялась «гражданская казнь» Чернышевского, 20 мая он был отправлен на каторгу в Сибирь. А 4 ноября того же года в Санкт-Петербурге было «дозволено цензурой» печатание маленькой книжки, почти брошюры, всего 152 страницы небольшого формата, которая и вышла в начале следующего года без имени автора: «Эстетические отношения искусства к действительности, издание второе, А. Н. Пыпина». И вот уже в третьем номере «Современника» за 1865 год было помещено объявление, что «в книжном магазине, при главной конторе редакции “Современника” в С.-Петербурге, на Невском проспекте, против Николаевского (Аничкова) дворца, в доме № 64 (Меншикова) продаются следующие книги...». Седьмым номером шли «Эстетические отношения искусства к действительности». СПб., 1865, ц. 75 к., вес за 1 ф.». В том же номере статья М. А. Антоновича «Современная эстетическая теория», посвященная книге безымянного мыслителя.

Буквально в самом начале статьи критик «Современника» заявил: «Первое издание этого сочинения было отпечатано в 1855 году, и этот год нужно считать эпохой в истории наших литературно-эстетических воззрений; в этом году и в этом сочинении в первый раз были высказаны, доказаны и развиты те эстетические воззрения, которые в настоящее время получили право гражданства и почти исключительное господство в нашей литературе»³¹. В апрельском номере «Русского слова» появилась статья В. Зайцева, первые слова которой перекликались со словами его постоянного оппонента из «Современника»: «Мне особенно приятно поговорить с читателем об одной небольшой книжке, где десять лет тому назад были изложены главные основания того взгляда на искусство и отношение его к действительности, которому мы следуем»³². В следующем номере этого же журнала была помещена статья Писарева «Разрушение эстетики», дававшая свою трактовку диссертации Чернышевского. В мае журнал «Книжный вестник» помещает в разделе «Дополнение к прежней библиографии» сообщение о выходе книжки под номером 372-м с такой преамбулой: «В этой брошюре изложены основания реальной эстетической критики, обуславливаемой духом нового времени, неумолимо рвущейся в жизнь и отстранить которую невозможно, несмотря ни на какие усилия отживающих эстетиков старой школы»³³.

²⁹ Соловьев В. С. Первый шаг к положительной эстетике // Соловьев В. С. Собр. соч. В 10-ти т. Т. 7. СПб., б. г., с. 73.

³⁰ Там же, с. 74.

³¹ Антонович М. А. Литературно-критические статьи. М.-Л., 1961, с. 196.

³² Русское слово. СПб, 1865, № 4, отд. 2, с. 80.

³³ Книжный вестник, 1865, № 9, 15 мая, с. 183.

Одновременно второе издание книги Чернышевского вызвало и нападение либерально-охранительной части русских литераторов. В мартовском номере «Отечественных записок», в разделе «Литературная летопись» после извещения о выходе книги «Об эстетических отношениях (!) искусства к действительности» следовало краткое редакционное примечание: «Грустное впечатление производит это второе издание “Эстетических отношений”. И нужно бы сказать, что теория сапогов, которые лучше Шекспира, а также много других положений, теперь совершенно ясных, кроются в упомянутом нами сочинении, как принципы еще несмелые и едва появившиеся на свет Божий — но мы отлагаем до другого раза»³⁴. И действительно, вскоре журнал публикует подряд пять статей известного в 60-е годы сторонника «чистого искусства» Николая Соловьева под общим заглавием «Вопрос об искусстве». Две из них специально посвящены подробнейшему разбору диссертации Чернышевского, причем главный тезис автора, определяющий весь пафос его сочинения, следующий: «У искусства, можно сказать, не было еще такого сильного врага, как автор “Эстетических отношений”»³⁵. В свою очередь, славянофильская газета «День» публикует статью (1865, № 27 и № 30) своего постоянного сотрудника, беллетриста и публициста Н. Ф. Павлова (под псевдонимом «Н. Б.»), полную сарказма по поводу влияния эстетики Чернышевского на современный литературный процесс: «Эта книга для реалистов составляет нечто более священное, чем алкоран для мусульманина» (№ 27, с. 645). А в апрельской «Библиотеке для чтения» (1865, №№ 7, 8) Н. Н. Страхов печатает свою статью о романе «Что делать?», которую начинает с пространной цитаты из статьи, помещенной в газете «День», и далее, анализируя роман, на его материале полемизирует с эстетикой Чернышевского. Эстетика эстетикой, но Чернышевского почитали мужиком демократом, который, как говорилось в хорошо известном современникам приговоре, «злоумышлял к ниспровержению существующего порядка»³⁶. И в проснувшемся вдруг интересе к его диссертации невольно просматривали охранители (и, к сожалению, справедливо, добавим) революционный интерес. Поэтому «Московские ведомости» М. Н. Каткова дали ряд передовых статей, посвященных прославлению русского самодержавия, которому русский народ «сознательно и доверчиво» вручил все свои политические права: «Политическая жизнь течет успешно <...> там, где политические интересы <...> основаны на чувстве обязанности, где политические права стоят на втором плане... Русский народ, не зная политического властолюбия, совершенно чужд и политической зависти... Никто так не ошибается насчет России, как те, которые называют ее демократической страной. Напротив, нет народа, в котором демократические инстинкты были бы слабее, чем в народе русском»³⁷. Размышления, кстати, вполне архетипичны, а потому и кажутся, что словно из сегодняшней газеты.

Однако вернемся к эстетике. Сразу все желающие высказаться не успели. Еще года два или три продолжались споры вокруг второго издания диссертации. Так самый первый оппонент Чернышевского Е. Н. Эдельсон в своей работе «О значении искусства в цивилизации» хотя и утверждал, что «это странное сочинение запутало все эстетические понятия», ибо в нем «скрывалось явное и полное пренебрежение ко всякой художественной деятельности», тем не менее понимал и признавал за диссертацией то достоинство, что она «ясно и последовательно развивает известное учение, которое таким образом получило окончательное выражение, формулировалось так ясно и положительно, что с ним можно считаться»³⁸. Напротив, поэт К. Случевский просто заявил, что «вся гибельность влияния Ч. (так он обозначал запретное имя. — В. К.) была в оглулении людей»³⁹. В 1867 году следом за этими двумя работами вышла книжка А. Немировского «Наши идеалисты и реалисты», в которой он сделал попытку примирить враждующие стороны, но о диссертации говорил скорее негативно. И уже в 1868 году перешедшие к тому времени в руки Некрасова «Отечественные записки» публикуют статью молодого сотрудника журнала, позитивистски настроенного А. М. Скабичевского, в которой тот пытался «оправдать» теорию Чернышевского, уверяя, что она доказывает «не ничтожество искусства вообще, а ничтожество его в таком только случае, если мы будем смотреть на него с узкой точки зрения старой эстетики»⁴⁰.

³⁴ Отечественные записки, 1865, март, кн. II, с. 77.

³⁵ Там же, 1865, май, кн. II, с. 308.

³⁶ Дело Чернышевского. Сборник документов. Саратов, 1968, с. 430.

³⁷ Московские ведомости, 1865, № 8, 12 января, с. 2.

³⁸ Эдельсон Е. О значении искусства в цивилизации. СПб., 1867, сс. 10, 11.

³⁹ Случевский К. Явления русской жизни под критикою эстетики, ч. III. СПб., 1867, с. 11.

⁴⁰ Скабичевский А. Соч. в 2-х т. Т. I. СПб., 1890, стлб. 64.

Таким образом, «юбилейное» издание диссертации (спустя ровно десять лет после первой публикации) явилось поводом, чтобы помянуть мыслителя-каторжанина и снова задать свои вопросы теории, которая столь явно вызывала интерес всех направлений русской общественной мысли.

7. Значит, не «мертвечина»!..

Чем еще знаменательны эти споры? *Во-первых*, они говорят о жизненности той самой теории, которая при первом своем появлении была названа «мертвечиной»⁴¹ и которой в силу этого предрекалось быстрое забвение. Более того, обсуждение диссертации после расправы правительства с ее автором демонстрировало противостояние значительной части общества явно выраженному велению правительства забыть и вычеркнуть из жизни весь комплекс идей и настроений, связанных с именем Чернышевского. С положительным ли, с отрицательным ли знаком, но все спорившие отмечали, что диссертация безымянного автора явилась событием в духовной жизни русского общества.

Во-вторых, из этой полемики видно, какая из идей диссертации больше всего занимала умы современников и, следовательно, была в ту эпоху наиболее актуальной. «Главное положение,— замечал «Книжный вестник»,— к которому сводится новая теория изящного, есть его определение: прекрасное есть жизнь»⁴². Именно это положение выделяют как основное и другие участники полемики: одни, видя в нем высочайшее завоевание мысли, другие — источник всех бед, постигших русское искусство. Исходя из этого тезиса (и это *в-третьих*), современники выводили диссертацию за пределы собственно эстетической теории.

Действительно, Чернышевский как будто давал основания для такого прочтения. На первых же страницах диссертации он так характеризовал свое кредо и задачу: «Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априорическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам, вот характер направления, господствующего ныне в науке. Автору кажется, что необходимо привести к этому знаменателю и наши эстетические убеждения, если еще стоит говорить об эстетике» (II, 6). Во всяком случае, Писарев, процитировав вышеприведенную мысль, восклицал: «Если еще стоит говорить об эстетике — оговорка очень замечательная! <...> Автор, разумеется, имел в виду не основание новой, а только истребление старой и вообще всякой эстетической теории»⁴³. Плеханов замечал на это, что «Писарев плохо понял Чернышевского»⁴⁴. Это и так, и не так. Чернышевский действительно не собирался губить эстетику, но существенно другое: не только эстетика и ее проблемы волновали его в диссертации, через проблемы искусства он хотел судить об обществе, решать социальные и культурно-строительные проблемы, а не только эстетические. И это-то было почувствовано в спорах середины 60-х годов⁴⁵.

Эстетические вопросы, полагал Чернышевский, были для русских мыслителей со времен Белинского «по преимуществу только полем битвы, а предметом борьбы было влияние вообще на умственную жизнь» (III, 25). Объяснял он это неразвитостью русской жизни, тем, что только через литературу можно было действовать на общество, не имевшее других способов развития и саморегуляции. «В странах, где умственная и общественная жизнь,— писал Н. Г. Ч.,— достигла высокого развития, существует, если можно так выразиться, разделение труда между разными отраслями умственной деятельности, из которых у нас известна только одна — литература... Литература у нас пока сосредоточивает почти всю умственную жизнь народа, и потому прямо на ней лежит долг заниматься с такими интересами, которые в других странах перешли уже, так сказать, в специальное заведение других направлений умственной деятельности» (III, 303). К сожалению, этот исто-

⁴¹ Тургенев И. С. Собр. соч. В 12-ти т. Т. 12, М., 1958, с. 184.

⁴² Книжный вестник, 1865, № 9, с. 183.

⁴³ Писарев Д. И. Соч. В 4-х т. Т. 3, с. 420. И далее Писарев замечает: ««Прекрасное,— говорит автор,— есть жизнь...» Это определение до такой степени широко, что в нем совершенно тонет и исчезает то, что называется красою» (там же, с. 422).

⁴⁴ Плеханов Г. В. Избр. филос. произв. В 5-ти т. Т. V, с. 245.

⁴⁵ «Что значит — «прекрасное есть жизнь»? — задавал вопрос А. Немировский.— Дает ли эта фраза какое-либо определение прекрасного, если под жизнью понимать жизнь во плоти? Ведь и истинное — такая жизнь, и нравственное, и полезное — такая жизнь,— и в границах такого определения нет, в сущности, никакой разницы между прекрасным, полезным, нравственным, истинным и искусство не отделяется от науки, наука от ремесла» (Немировский А. Наши идеалисты и реалисты. СПб., 1867, с. 150).

рический контекст, как бы двойной счет, по которому оценивал русский мыслитель искусство и эстетику, в свое время понят не был. Поэтому, когда пытались подойти к его теории с сугубо эстетической точки зрения, то видели в ней либо существенные недостатки, либо приписывали те «достоинства», которыми должна была бы обладать строго эстетическая теория наподобие гегелевской, но не обладает трактат Чернышевского.

Вместе с тем его концепция до сих пор не рассматривалась в контексте тем и проблем, поставленных русской художественной культурой, тех символических образов, в которых литература выражала свое понимание действительности. А между тем ее темы, ее образы были тем реальным материалом, на котором выростала и на который опиралась русская философская и общественно-эстетическая мысль⁴⁶. Тут можно назвать имена и Чаадаева, и Белинского, и И. Киреевского, и Герцена, и А. Григорьева, и других. Диссертация и явилась в известном смысле теоретическим выражением *противо-стояния* (как на реке Угре, без битвы) русской художественной культуры самодержавию. На этом фоне, в этом контексте мне и хотелось бы рассмотреть текст Чернышевского. К тому же вопросы, недоумения, полемика вокруг второго издания, сама конкретная ситуация — очевидная неслучайность ареста, гражданской казни и каторги автора книги — позволяют показать реальный пафос эстетической теории Н. Г. Ч., направленной против системы ценностей, укорененной в самом способе, стиле общественно-государственного бытия России.

8. Тень смерти, или Система ценностей николаевского царства

«Первый главный тезис, изложенный в сочинении,— писал о диссертации Н. Соловьев,— есть *определение прекрасного*... Но в чем же состоит это определение, так категорически выставленное в статье? “Прекрасное есть жизнь”. Но это не определение. Тут неопределенное определяется еще более неопределенным, прекрасное — жизнью. А что такое жизнь?..»⁴⁷ Очевидно, с точки зрения строгих категорий, к которым апеллировал Н. Соловьев, принятых в классических философских системах немецкого идеализма, определение Чернышевского не выдерживало критики. Однако стоит вспомнить тот общественно-исторический и художественно-культурный контекст, ту эпоху, когда создавалась диссертация Н. Г. Ч., чтобы основной его тезис обрел культурно-историческую обязательность.

Диссертация вышла в свет в начале 1855 года, а писалась, как известно, в 1853-м (!). У нас обычно связывают ее появление с крымским поражением и общественным подъемом середины 50-х, начиная со смерти Николая I (1855). Напомним, однако, что шли годы тридцатилетнего николаевского царствования, последние годы «мрачного семилетия» (1848—1855), но конца им никто не видел. Когда умер Николай I, то руководитель диссертации Чернышевского профессор А. В. Никитенко записал в дневнике: «Я всегда думал, да и не я один, что император Николай переживет и нас, и детей наших, и чуть не внуков»⁴⁸. И теория молодого мыслителя была непосредственной реакцией на то состояние общественной жизни, которое он наблюдал вокруг и о котором мог читать в лучших произведениях отечественной литературы тех лет.

Что же это были за годы? Это был очевидный современникам антипетровский переворот, совершенный после декабристского восстания Николаем I, направленный против западноевропейского просвещения и образования, отчаянная и довольно успешная попытка удержать Россию в неподвижности, огражденной от живой жизни Запада. «Моровой полосой» назвал Герцен это тридцатилетие. «Человеческие следы, заметенные полицией, пропадут,— писал он об этом времени,— и будущие поколения не раз останутся с недоумением перед гладко убитым пустырем,

⁴⁶ У нас, писал Белинский, «только в одной литературе, несмотря на татарскую цензуру, есть еще *жизнь* и движение вперед» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. X, М., 1956, с. 217; курсив мой.— В. К.). В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте с указанием тома и страницы.

⁴⁷ Отечественные записки. 1865, май, кн. II, сс. 309, 310.

⁴⁸ Никитенко А. В. Дневник. В 3-х т. Т. 1. Л., 1955, с. 402. Вообще влияние Никитенко на молодого студента Чернышевского практически не освещено в научной литературе. Никитенко как общественный деятель был умеренным либералом, соредактором «Современника» в 40-е годы, однако «потаенный» Никитенко, каким он встает в своем дневнике, достаточно остер, зол, наблюдателен и радикален. Можно предположить, что некоторыми своими мыслями он делился со студентами (см. об этом: Прокопенко З. Т. А. В. Никитенко и Н. Г. Чернышевский // Русская литература, 1978, № 2, сс. 127—129).

отыскивая пропавшие пути мысли»⁴⁹. В конце 1847 года, когда грянули громы над литературой и искусством, удрученный окружающей обстановкой профессор Никитенко писал в дневнике: «Жизненность нашего общества вообще проявляется: мы нравственно ближе к смерти, чем следовало бы, и потому смерть физическая возбуждает в нас меньше естественного ужаса»⁵⁰. Хуже прочих было вступающим в жизнь молодым писателям, мыслителям, поэтам. В их житейском опыте не имелось сопереживания государству в его попытках либерально-европейского развития России. Сразу же их деятельность по просвещению страны оказывалась под запретом. Вспомним хотя бы смертный приговор петрашевцам и Достоевскому, приговоренному «к смертной казни расстрелянием» за чтение вслух письма одного литератора другому (Белинского — Гоголю). Ссылки, каторга, солдатчина — вот что ждало многих. Разумеется, погибали не все, стоит назвать имена Герцена, того же Достоевского, Чернышевского, но сколь хрупко и ненадежно было их существование.

«В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей; они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа, *но остаются*, и если умирают на полдороге, то не все умирает с ними. Это начальные ячейки, зародыши истории, едва существующие, как все зародыши вообще» (Герцен, IX, 35). Увиденная их глазами николаевская Россия напоминает «убогое кладбище» (Герцен), «Некрополис», город мертвых (Чаадаев), «Сандвичевы острова», то есть, по представлениям людей XIX века, место, где поедают людей (Никитенко), а обитатели этого мира поголовно — «мертвые души» (Гоголь)⁵¹. В 1854 году Грановский писал Герцену за границу: «Надобно носить в себе много веры и любви, чтобы сохранить какую-нибудь надежду на будущность самого сильного и крепкого из славянских народов. Наши матросы и солдаты славно умирают в Крыму; но жить здесь никто не умеет»⁵². В том же 1854 году бывший каторжанин Достоевский задумывает свои «Записки из Мертвого (!) дома»; рисуя находящиеся в каторжных стенах все сословия необъятной русской земли, восклицает: «И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь даром»⁵³.

Характерна и не случайна метафизическая тоска, прозвучавшая в стихах Пушкина уже в первые годы николаевского царствования:

Дар напрасный, дар случайный
Жизнь, зачем ты мне дана?

Живущие в установленной самодержавием системе ценностей по сути своей не живут: это философическое углубление понятия «жизнь» мы находим в трагическом вопросе Пушкина, в гоголевской поэме... «Мертвое царство», населенное «мертвыми душами», — так показал николаевскую империю Гоголь. Гоголевская поэма была задумана как трехчастная, восходящая наподобие дантовской «Божественной комедии» от «Ада» к «Раю». Но действительность дала писателю материал только для «Ада», где по разным кругам подземного царства разъезжает скупщик «мертвых душ», который не только не хочет живых душ, но и не видит их вокруг себя. Второй том, предполагаемое «Чистилище», уже показал писателю невозможность, оставаясь в пределах предложенного действительностью реального материала, осуществить свой замысел. К «Раю», к третьему тому, он и не приступал. Исправление Чичикова в результате столкновения с «живыми душами» (Костанжогло, Муразов) не состоялось.

⁴⁹ Герцен А. И. Соч. В 30-ти т. Т. IX. М., 1956, с. 35. В дальнейшем ссылки на это издание даны в тексте с указанием тома и страницы.

⁵⁰ Никитенко А. В. Дневник. Т. I, с. 308. Называя николаевскую Россию Сандвичевыми островами, Никитенко писал: «На Сандвичевых островах всякое поползновение мыслить, всякий благородный порыв, как бы он ни был скромн, клеймятся и обрекаются гонению и гибели» (там же, с. 315).

⁵¹ Так воспринимали николаевскую империю не только русские писатели: «Здесь можно двигаться, можно дышать не иначе как с царского разрешения или приказа. Оттого здесь все так мрачно, подавлено, и мертвое молчание убивает всякую жизнь. Кажется, что тень смерти нависла над всей этой частью земного шара» (Кюстин де, Астольф, маркиз. Николаевская Россия. М., 1990, с. 74).

⁵² Т. Н. Грановский и его переписка. Т. 2. М., 1897, с. 448.

⁵³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Т. 4, с. 231. Надо сказать, что первым из деятелей русской культуры выступил против самодержавно-государственного пренебрежения к человеческой жизни М. В. Ломоносов, хотя объяснял он ценность человеческой жизни, еще исходя из пользы государства: «Полагаю самым главным делом: сохранением и размножением российского народа, в чем состоит величество, могущество и богатство всего государства, а не в обширности, тщетной без обитателей» (Ломоносов М. В. Соч. М., 1957, сс. 444—445).

У Гоголя и Чаадаева речь уже шла не о физической, физиологической жизни, а о жизни духовной. Именно она в самодержавной России прежде всего обрекалась на смерть. Но в основе, разумеется, лежало пренебрежение к жизни, физической жизни любого человека — личности или еще не выработавшегося в личность. Поэтому если обычный законопослушный подданный просто *приносился в жертву* (то есть тоже язычески) целям государства (что с беспощадной откровенностью показал Радищев, сравнив российскую монархию со стозевным чудищем), то обладатель духовной жизни, самосознания подвергался каре, целенаправленно уничтожался. Вспомним мартиролог деятелей русской культуры, предъявленный Герценом самодержавию⁵⁴. Именно это имел в виду Белинский, когда в своем знаменитом письме Гоголю писал, что в николаевской России нет «никаких гарантий для личности, чести и собственности» и первейшая ее нужда — «пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе» (Белинский, X, 213). Духовно уснувших и погибших людей (описанных в русской литературе) от гоголевского Тентетникова и гончаровского Обломова до чеховского Ионыча можно насчитать не один десяток. О том, что это равнодушие к духовной жизни рождено не сегодня, а в традициях и обычаях еще домосковской Руси, Чернышевский говорил неоднократно. По его словам, равнодушие русского общества «ко всем высшим интересам общественной, умственной и нравственной жизни, ко всему, что выходит из круга личных житейских забот и личных развлечений... <...> — наследство котошинских времен, времен страшной апатии. Привычки не скоро и не легко отбрасываются отдельным лицом, тем более народом <...> Мы до сих пор все еще дремлем от слишком долгого навыка к сну» (III, 351). Это типичный «мертвый сон», и кто пробуждается от него, духовно оживает, тот закономерно уничтожается государством. Продолжая и теоретически осмысляя традицию великой русской литературы, борющейся против этого «сна-смерти», «мертвого сна», навеваемого русским самодержавием, той гласно не объявленной, но реально и безостановочно действующей системы ценностей, когда жизнь человека ничего не стоит, Чернышевский и выдвигает свой знаменитый тезис: **прекрасное есть жизнь**. Это и в самом деле был тезис, который знаменовал собой переворот в ценностной ориентации всего общества.

Стоит напомнить эпиграф к начавшему выходить в 1857 году герценовскому «Колоколу» (спустя два года после публикации диссертации): «Зову живых!» Да и сам символ «колокола», отзванивающего по павшим и умершим, который вместе с тем мог звучать, как набат, «звонить», созывать живых людей, будить их от мертвого сна (вспомним хотя бы характерный для русской поэзии того времени образ «вечернего колокола» как символа задавленной московским самодержавием Новгородской республики). Если же говорить, как этот тезис связан с искусством, не противоречит ли ему, то достаточно напомнить фразу Льва Толстого, который в 1865 году начал публикацию «Войны и мира» и, разумеется, не принимал участия в развернувшихся спорах вокруг диссертации Чернышевского, однако в письме (лето 1865 г.) к П. Д. Боборыкину написал, иронизируя над его пристрастием к *зlobe дня*: «Вопросы земства, литературы, эмансипации женщин и т. п. полемически выступают у вас на первый план, а эти вопросы в мире искусства не только не занимательны, но их нет. Вопросы эмансипации женщин и литературных партий невольно представляются вам важными в вашей литературной петербургской среде, но все эти вопросы трепещутся в маленькой луже грязной воды, которая кажется океаном только для тех, кого судьба поставила в середину этой лужи <...> *Цель художника... в том, чтобы заставить любить жизнь в бесчисленных, никогда не истоцимых всех ее проявлениях*»⁵⁵ (курсив мой. — В. К.).

9. Прекрасное есть жизнь... личности

Однако о какой «жизни» идет речь? Вл. Соловьев одним из важнейших тезисов диссертации назвал признание Чернышевским объективной красоты в природе. Это

⁵⁴ «Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их толкает в могилу неумолимый рок. История нашей литературы — это или мартиролог, или реестр каторги» (Герцен, VII, 208).

⁵⁵ Толстой Л. Н. Собр. соч. В 22-х т. Т. XVIII. М., 1984, с. 634. Любопытно, что Боборыкин, спустя 30 лет выступив против эстетики Чернышевского, напал именно на этот ее тезис: «Вся суть диссертации Чернышевского, затормозившей дальнейшее научно-эстетическое движение нашей художественной критики, заключается в признании безусловного преимущества жизни над искусством»// Вопросы философии и психологии, 1893. № 1. С. 107.

верно, и о важности этого тезиса сегодня можно говорить в связи с лавиной экологических предсказаний, пророчеств и тревог. Но сам же Соловьев, указав на христианский смысл диссертации, позволяет взглянуть дальше. Ведь основная проблема ее была все же в том, что речь тут прежде всего шла о *жизни человека*. «Прекрасное есть жизнь, — писал Чернышевский и, уточняя, добавлял: — И ближайшим образом жизнь, напоминающая о человеке и о человеческой жизни» (II, 13). Однако же и люди бывают разные, вследствие этого еще пояснение: «прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такую, какова должна быть она по нашим понятиям» (II, 10). Однако современники справедливо могли сказать, что «наши понятия» бывают разные. Чернышевский вполне предвидел этот вопрос. Говоря о сложившемся в самодержавной России восприятии красоты среди разных слоев населения, в своей диссертации Н. Г. Ч. выстраивает своеобразную триаду.

В основание ее он кладет представление о красоте у «простого народа»: «В описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе» (II, 10). Отрицанием этой простой жизни, близкой к природному процессу, является жизнь высшего света, для которого характерно «увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса» (II, 11). Но синтезисом, как тогда говорили, высшей точкой у него выступают жизнь и представление о красоте «образованных людей», которые уже различают «лицо», личность: «Всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатывается в выражении лица, всего яснее в глазах — потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек нам кажется прекрасен только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза» (II, 11). Напомню здесь евангельские слова, которые дают существенный контекст к высказыванию Н. Г. Ч.: «Светильник тела есть око» (Лк. 11, 34). Не очевиден ли первоисточник? Я уж не говорю, что впервые в русской нерелигиозной литературе звучит тема *лица, лика!*

Эти выражения: «истинно образованный», «истинная жизнь» — говорят нам, что Чернышевский видел именно в «жизни ума и сердца» высшую точку развития человека. Иными словами, то, что каралось самодержавием, тех людей — «поэтов, мыслителей, граждан», — которых Герцен заносил в мартиролог погубленных влостью, Чернышевский называет выразителями истинного понимания о жизни. Впоследствии, в «Что делать?», он о таких людях скажет: «новые люди», лучшие среди которых — «двигатели двигателей», «соль соли земли». Опять же евангельский парадокс: «Вы — соль земли», — говорит Христос своим ученикам (Мф. 5, 13).

Разумеется, «антропологизм» Чернышевского есть еще и результат влияния Фейербаха. Об этом писал он сам в предисловии к третьему изданию диссертации, это обстоятельство неоднократно отмечалось всеми. Существенно, однако, что применялись им идеи Фейербаха совсем в иной исторической, политической и культурной ситуации и, соответственным образом переосмысленные и развитые, служили ответом на совсем иные вопросы, вопросы, которые ставила русская действительность перед русским мыслителем. В этом плане имеет смысл обратить внимание на критическое отношение Чернышевского к гегелевской системе. Гегеля называли идеологом государственности; примерно так оценивал политическую позицию Гегеля и Герцен: «Гегель видел в монархии на манер прусской, с ее потсдамской религией, абсолютную политическую и религиозную форму государства» (Герцен, XIV, 171). Чернышевский полагал невозможным совместить эгистический монархический принцип с правами личности⁵⁶. «Мы <...> — писал он, — выше человеческой личности не принимаем на земном шаре ничего» (V, 597). В России были к тому же особые счеты с Гегелем и его системой, ибо в свое время формулу немецкого философа («все действительное разумно; все разумное действительно») русские мыслители

⁵⁶ Самодержавие, или «дурное управление», как именовал его Чернышевский, ведет народ к бедности, а, «говоря о бедности, производимой дурным управлением, мы уже видели, что оно производит ее через подавление нравственной энергии в народе. Действительно, может ли быть энергичным человек, привыкший к невозможности отстаивать свои законные права, человек, в котором убито чувство независимости, убито благородная самоуверенность? Соединим теперь упадок нравственных сил с бедностью, и мы поймем, почему дремлют также умственные силы нашего народа. Какая энергия в умственном труде возможна для человека, у которого подавлено и сознание своего гражданского достоинства, и даже энергия в материальном труде, который служит школой, подготавливающей человека к энергии в умственном труде?» (V, 709).

прочли как оправдание самодержавия и деспотии Николая I, а Белинский в своей знаменитой статье «Бородинская годовщина» поставил идею самодержавного государства, воплощенную в *царе*, выше идеи отечества, а личность и ее жизнь ставил в полную зависимость от нужд империи: «Под словом «народность» должно разуметь акт слития частных индивидуальностей в общем сознании своей государственной личности и самости. И наше русское народное сознание вполне выражается и вполне исчерпывается словом «царь», в отношении к которому «отечество» есть понятие подчиненное, следствие причины <...> Пора сознать, что мы имеем *разумное* право быть горды нашею любовью к царю, нашею безграничною преданностию его священной воле, как горды англичане своими государственными постановлениями, своими гражданскими правами, как горды Северо-Американские Штаты своею свободою» (Белинский, III, 247). Как известно, он впоследствии проклял свое «гнусное стремление к примирению с гнусною действительностию» (Белинский, XI, 556)⁵⁷. «Агентом отрешения» критика, как говорили современники (П. В. Анненков), стал Лермонтов, который решительно развел понятия государства и отечества. Официозному прославлению государства, его величия в прошлом и настоящем он противопоставил любовь к простой жизни, соразмерной человеку:

Люблю отчизну я, но странно любовью!
 Не победит ее рассудок мой.
 Ни слава, купленная кровью,
 Ни полный гордого доверия покой,
 Ни темной старины заветные преданья
 Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Принимая диалектический метод, Чернышевский выступил против того, что ему казалось в гегелевской эстетике пренебрежением к человеку и человеческой жизни и в этом смысле корреспондировало с реальной практикой и системой ценностей российского самодержавия. Он писал, что проповедовать в России «повиновение властям — не значит ли это совершенно не понимать характера и положения людей, с которыми имеешь дело? <...> Все мы воспитаны обществом, в котором властвует обскурантизм, застой, произвол; потому, какими понятиями ни пропитываемся мы потом из книг, все-таки большая часть из нас сохраняют привычное расположение к обскурантизму, застою и произволу» (V, 648, 666). Отсюда и понятно его стремление к смене системы ценностей во всех областях жизни, в том числе и «к изменению понятий и о самой сущности искусства» (II, 31).

10. Красота спасает не мир, но индивидуальность

Надо сказать, что не только противники каторжанина, но и его сторонники, вроде Варфоломея Зайцева, увидели в диссертации категорическое отрицание искусства, вовсе не поняв того обстоятельства, что Чернышевским отрицался определенный *тип* искусства. Прочитав фразу Чернышевского, что «искусство льстит нашему искусственному вкусу» (II, 72), и весь дальнейший пассаж, объясняющий эту «третью причину»⁵⁸ любви человека к искусству, В. Зайцев именно ее объявляет характерной и самой важной и раздражается следующим умозаключением: «Я недаром привел такую <...> выписку: ею доказывается как нельзя лучше то мнение автора «Эстетических отношений», которое напрасно некоторые пытаются затушевать, — мнение, что искусство не имеет настоящих оснований в природе человека, что оно не более как болезненное явление в искаженном, ненормально-развившемся организме; что, по мере совершенствования людей, оно должно падать и что оно заслуживает полного и беспощадного отрицания. И я, право, не понимаю, как можно пытаться ступать мнение, столь ясно выраженное? Человек начал с того, что объявил искусство несравненно ниже действительности, чем уже совершенно лишил его видного значения; затем оно признано порождением искажившейся до лживости, дошедшей до фантастических потребностей природы современного европейского общества; признано, что даже невозможно угодать эстетическим потребностям общества; что такое угождение навлекает только насмешку или даже презрение. Кро-

⁵⁷ В том же письме (к В. П. Боткину) он, продолжая эту мысль, восклицал: «Для меня теперь *человеческая личность* выше истории, выше общества, выше человечества. Это мысль и дума века!» (Белинский, XI, 556).

⁵⁸ Первая причина любви к искусству, по Чернышевскому, в том, что оно есть результат «человеческого труда» (II, 72), а вторая — в том, что «произведения искусства свидетельствуют об уме человека, о его силе и потому дороги для нас» (II, 71—72).

ме ненормальностей искаженности в развитии современного цивилизованного человека, за основание поклонения искусству приняты странное тщеславие и нелепый предрассудок ценить редкие и с трудом доставшиеся вещи выше обыкновенных и доставшихся даром. Здесь, я полагаю, автор был вынужден только побочными обстоятельством, — а именно тем, что статья его — диссертация, — отнестись довольно мягко к этим двум другим причинам. В сущности же они не заслуживают этого»⁵⁹.

Разумеется, истинный нигилист, духовно близкий Ткачеву и Нечаеву, Зайцев не мог, да и не хотел видеть тот подлинный переворот в понятиях, совершенный непонятым им «учителем», замечая же свои с ним расхождения, он назвал их «побочными обстоятельствами»⁶⁰. Но и там, где он выступает «сторонником», что ни слово, то передержка. Во-первых, Чернышевский никогда не говорил о переизбытке европейских начал в русском обществе. Полемизируя со славянофилами, он иронически писал: «Люди, которые скорбят о том, что наше общество, наше просвещение и т. д. как две капли воды походят на западное общество, западное просвещение и т. д., оскорбляются фактами, решительно созданными их воображением. Если б мы разделили их понятия, мы, напротив, повсюду видели бы повод к радости: сходства между нами и Западом пока еще не заметно ни в чем, если хорошенько вникнем в сущность дела» (III, 353). Во-вторых, и это самое существенное, Чернышевский довольно точно указал причины «искусственного вкуса», причем и после диссертации говорил о них не раз, так что спустя десять лет можно было бы это заметить. Помянув про «искусственность вкуса», он заметил: «Мы очень хорошо понимаем, как искусственны были нравы, привычки, весь образ мыслей времен Людовика XIV; мы приблизились к природе, гораздо лучше понимаем и ценим ее, нежели понимало и ценило общество XVII века; тем не менее мы еще очень далеки от природы; наши привычки, нравы, весь образ жизни и вследствие того весь образ мыслей еще очень искусственны... Ослабевшая болезнь не есть еще полное здоровье» (II, 72). Иными словами, искусственность, вычурность, неправдоподобие он видит в эпохе абсолютистского французского государства, понимавшегося просветителями как деспотическое, от которого и шла вся ложь в искусстве, желающего стать «выше природы, выше действительности», а точнее, исказить ее, приукрасить. В таком искусстве «господствует мелочная погоня за эффективностью отдельных слов, отдельных фраз и целых эпизодов, расщепление не совсем натуральными, но резкими красками лиц и событий» (II, 73).

Но этот псевдоклассицизм был возрожден и в николаевской России. Напомню анализ Белинским официозных и ура-патриотических произведений Бенедиктова и Кукольника («Рука всевышнего отечество спасла» и т. п.). Подобное искусство Чернышевский достаточно прямо называет результатом «угрождения господствующему образу мыслей» (II, 73). Не надо забывать, что это писалось в 1853 году — в период господства «патриотических сочинений». В 1854 году, рассуждая о подобных стихах Каролины Павловой⁶¹, Никитенко заносил в свой дневник: «Любовь к отечеству — чувство похвальное, что и говорить. Но выражение этой любви хорошо, когда оно истинно, когда оно не пустая звонкая фраза, а мысль реальная и верная. Сказать: «пусть гибнут имена, лишь бы возвеличилось отечество», — значит сказать великолепную нелепость. Отечество возвеличивается именно сынами избранными, доблестными, даровитыми, которые не гибнут без смысла, без достоинства и самоуважения»⁶². Но только ли Каролина Павлова?! Как пример подавления государством даже правдивых художников он приводит Гоголя, у которого «за недостаток «отрадных» лиц вознаграждает «высоколирические» отступления» (II, 73). Впрочем, и Достоевского, по сути дела, приговорили к смерти за то, что он согласился с Белинским, который считал «лирические отступления» первым шагом к верноподданническим пассажам «Выбранных мест из переписки с друзьями». Позднее в «Селе Степанчикове и его обитателях» Достоевский разделяется с поздним Гоголем (наблюдение Тынянова), вложив в уста Фомы Опискина, нравственного деспота и изломанного своим положением несамостоятельного существа, слова из «Выбранных мест».

Выступая против гегельянских «абсолютов», Чернышевский отстаивал право человека на индивидуальность, опасаясь, что даже понятое как абсолют искусство

⁵⁹ Русское слово, 1865, № 4, с. 84.

⁶⁰ Чернышевский же достаточно твердо говорил, что «причины пристрастия к искусству, им приведенные, «заслуживают уважения, потому что они естественны: как человеку не уважать человеческого труда, как человеку не любить человека, не дорожить произведениями, свидетельствующими об уме и силе человека?» (II, 72).

⁶¹ «Да возвеличится Россия,

И гибнут наши имена» (К. Павлова. Разговор в Кремле).

⁶² Никитенко А. В. Дневник. Т. I, с. 389.

может служить самодержавию и подавлять простые сегодняшние потребности человека. В самодержавно-абсолютистском государстве, выдвинувшем в области культуры «абсолютные» понятия, которым должна была подчиняться вся творческая деятельность, — «православие, самодержавие и народность», Чернышевский утверждал: «В действительности мы не встречаем ничего абсолютного; потому не можем сказать по опыту, какое впечатление произвела бы на нас абсолютная красота; но мы знаем, по крайней мере, из опыта, что... нам, существам индивидуальным, не могущим перейти за границы нашей индивидуальности, очень нравится индивидуальность, очень нравится индивидуальная красота, не могущая перейти за границы своей индивидуальности» (II, 47). Более того, все абсолютное, подавляющее человека, казалось ему и враждебным искусству: «Из мысли о том, что индивидуальность — существеннейший признак прекрасного, само собою вытекает положение, что мерило абсолютного чуждо области прекрасного» (II, 47). Вот этого-то личного пафоса, поистине революционного в самодержавной стране, подавлявшей всякое проявление личностного начала, Зайцев и не заметил, полагая самым революционным в теории Чернышевского выступление против тех теоретиков, которые в искусстве видели альфу и омегу всей духовной деятельности, стараясь изолировать ее от других типов деятельности, короче, против теоретиков «чистого искусства».

Для сторонников «чистого искусства» оно было собственно искусство, все же остальное как искусство вовсе не воспринималось. Отрицание «чистого искусства» и объявление прекрасного жизнью казалось им возвращением к временам самодержавного диктата и дидактики. Тургенев писал по поводу первого издания диссертации Чернышевского: «Это худо скрытая вражда к искусству — везде скверна, а у нас и подавно. Отними у нас *этот* энтузиазм — после того хоть со света долой беги»⁶³. Тургенев не почувствовал личностного пафоса новой теории, перемены всех знаков и ценностей культуры, где соответственно и искусство должно было зазвучать по-новому.

Чернышевский говорил: жизнь выше искусства, ведь чтобы создавать искусство, наслаждаться им, необходимо быть *живым* — и физически, и прежде всего духовно. Самодержавие и крепостническое общество убивают жизнь и подлинную красоту, но «чистое искусство», поначалу ими отвергаемое, они все же способны перевернуть и приспособить, вспомним хотя бы, говорит Чернышевский, изящные безделушки эпохи французского абсолютизма. Чуть позже поставил этот вопрос Достоевский в романе «Идиот» (1868). Влюбленный князь Мышкин, по словам одного из персонажей романа, произносит свою знаменитую фразу, что «мир спасет красота»⁶⁴, а далее всем своим романом писатель доказывает, что в этом мире подлинная красота обречена смерти (Настасья Филипповна убита).

II. Чистое искусство и самодержавный утилитаризм, или Почему жизнь выше искусства

Сторонники «чистого искусства» не учитывали в своих построениях конкретно-исторической обусловленности своей концепции, утверждая, что только с появлением теории Чернышевского стало плохо искусству, а раньше-де искусство всеми воспринималось как совершенно независимая область жизни. «Формальное гонение на искусство и поэзию, — писал Е. Н. Эдельсон, — безусловное отрицание их значения, как чего-либо самостоятельного, и их пользы, даже обвинение их во вредном влиянии начались в нашей литературе сравнительно очень недавно. Было время, и многие еще, конечно, помнят его, когда поэзия считалась какою-то привилегированною областью, свободным, не знающим законов «языком богов», когда даже требование от поэзии и искусств вообще серьезной мысли, серьезной задачи и содержания было у нас довольно новым и смелым нововведением. Поэты и артисты считались каким-то особым, исключительным племенем, повинующимся лишь требованиям своего прихотливого вдохновения, а деятельность их, не подлежащую другой критике, кроме так называемой художественной, т. е. критике формы»⁶⁵.

Утверждение это, однако, исторически неверно. Точнее сказать, это была своеобразная мифологема, которую выдвигали и отстаивали теоретики «чистого искус-

⁶³ Тургенев И. С. Собр. соч. В 12-ти т. Т. 12, с. 184.

⁶⁴ Начиная с Вл. Соловьева, эта формула меж тем постоянно приписывается самому писателю, что методологически неверно и прямо противоположно идее Достоевского, вырастающей из романа.

⁶⁵ Эдельсон Е. О значении искусства в цивилизации. С. 8.

ства», противопоставляя свою теорию требованиям самодержавно-государственно-го дидактизма и официозного утилитаризма. Даже еще Державин, несмотря на весь свой громадный поэтический талант, был вполне государственный поэт. Если пушкинские *державные стихи* «Клеветникам России» и «Бородинскую годовщину», написанные в защиту европеизма России, публика по ошибке приняла за верноподданнические, то уж у Гоголя в «Выбранных местах из переписки с друзьями» было не только прямое восхваление императора Николая I, но и целая программа жизни, которую великий писатель рекомендовал каждому русскому человеку: «Полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству, и всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к поставленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех всеми любимый царь Самому Богу»⁶⁶.

На этом фоне отказ от идеи государственной пользы имел поначалу вполне прогрессивный конкретно-исторический смысл. Именно это подразумевал Чернышевский, когда писал о теории «чистого искусства»: «Мысль эта имела смысл тогда, когда надобно было доказывать, что поэт не должен писать великолепных од, не должен искажать действительности в угоду различным произвольным и приторным тенденциям. К сожалению, для этого она появилась уж слишком поздно, когда борьба была кончена, а теперь и подавно она ни к чему не нужна: искусство успело уж отстоять свою самостоятельность и должно думать о том, как ею пользоваться» (II, 271). Как показал исторический опыт, самодержавие вполне научилось сосуществовать с «чистым искусством», да к тому же, что еще более важно, узкий круг «чистых эстетов» был слишком узок, чтобы своей изолированной жизнью и деятельностью хоть как-то повлиять на развитие свободы и независимости, «живой жизни» в душах своих соотечественников, схваченных тисками самодержавно-полицейского государства. «Чистое искусство», по сути, отказывалось от помощи человеку, а «человек, — писал Чернышевский, повторяя великую гуманистическую формулу Канта, — сам себе цель; но, — добавлял он, — дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе» (II, 79). Поэтому, принимая «чистое искусство» как один из моментов сопротивления самодержавному давлению, Чернышевский тем не менее подчеркивал его недостаточность, ограниченность, ибо оно не служило человеку. А задача искусства в России — пересоздать человека, превратить его в свободное, самодействующее существо, научить его *жить*, а не прозябать, не спать, вытаскивать из состояния сонной смерти. Поэтому и требовал он от искусства «быть для человека учебником жизни» (II, 90). Такая цель одушевляла и его самого, когда писал он свой роман: «Добрые и сильные, честные и умеющие, недавно вы начали возникать между нами <...> Если бы вы были публика, мне уже не нужно было бы писать; если бы вас еще не было, мне еще не было бы можно писать. Но вы еще не публика, а уже вы есть между публикою, — поэтому мне еще нужно и уже можно писать»⁶⁷.

12. «Мы подошли к Древу Жизни: но...»

Надо сказать, что тема жизни как противостояния смерти, протеста против рабского состояния человека стала ведущей в великой русской литературе. Пушкин, Гоголь, Чаадаев, Лермонтов, Герцен, Белинский — их имена уже упоминались. Но тут и Достоевский, взывающий «живой жизни» и объявляющий в «Братьях Карамазовых» самодержавное государство языческим учреждением, стремящимся убить, а не восстановить заблудшего человека. Стоит ли добавлять, что язычество на Руси было связано с культом мертвых⁶⁸, и самодержавие в этом контексте приобретало страшный облик гоголевского мертвяка. Великий бунтовщик и протестант Лев Толстой, объявивший несомненной службой государству с истинными целями человеческой жизни, пишет в конце 80-х годов трактат «О жизни» как основной проблеме, достойной человеческого разума. Примеры можно множить⁶⁹.

Семинарист Чернышевский, которого в юности, как я уже говорил, называли «надеждой русской церкви», глубоко усвоил это основное христианское понятие о ценности жизни, о том, что величайшее событие человечества было казнь и воскрешение Богочеловека, «смертью смерть поправшего», обещавшего своим

⁶⁶ Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. М., 1993, с. 175.

⁶⁷ Чернышевский Н. Г. Что делать? С. 14.

⁶⁸ См. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М., 1981, сс. 35—36, 141—144.

⁶⁹ Анализ отношений русской мысли к проблеме жизни и смерти см.: Фролов И. Т. О жизни, смерти и бессмертии // Вопросы философии. 1983, №№ 1, 2.

сторонникам «жизнь вечную». В иерархии христианских ценностей жизнь активно противостоит смерти. И это противостояние стало определяющим в творчестве русского мыслителя. Более того, именно в *христианской книжной культуре*, противостоявшей язычеству, представление о просвещении традиционно связывалось с понятием жизни. Чтобы увидеть это, достаточно прочитать хотя бы первую страницу Жития Константина Философа, в иночестве Кирилла, создателя системы славянской письменности: «Бог милостивый и щедрый, желая покаяния человеческого, чтобы все были спасены и пришли к познанию истины, ибо не хочет смерти грешников, но покаяния и жизни. <...> Как сделал и для нашего поколения, воздвигнув нам такого учителя, который просветил народ наш»⁷⁰ (курсив мой. — В. К.).

Пафос жизни и являлся основным пафосом трактата Чернышевского: «Воспроизведение жизни — общий характеристический признак искусства, составляющий сущность его; часто произведения искусства имеют и другое значение — объяснение жизни; часто имеют они и значение приговора о явлениях жизни» (II, 92). Но именно это введение искусства в сферу более широкую — сферу жизни, подчинение ее потребностям, слова об объяснении и приговоре, *задачи*, которые ставятся искусству, и казались русским либералам проявлением дидактического консерватизма, сродни самодержавно-государственному. «Мы имеем дерзость <...> доказать, по мере сил наших, — писал Николай Соловьев, — что вся она (теория Н. Г. Ч. — В. К.) прикрыта только либеральной оболочкой, одета в прогрессивную одежду, в сущности же самая из всех консервативная, самая отсталая»⁷¹. Между тем у Чернышевского просветительский пафос учительства неразрывно связан с понятием свободы, не мыслится без нее. «Свобода <...> не составляет какого-нибудь частного вида человеческих благ, — утверждал он, — а служит одним из необходимых элементов, входящих в состав каждого блага; свобода и просвещение — это кислород и водород, <...> без которых не существует в природе никакая жизнь» (VII, 17). Такая позиция в принципе исключает подавление личности и ее пристрастий.

Почему так боятся у нас просвещения и мудрости? Не буду напоминать кантовское, что Просвещение есть выход человечества из состояния несовершеннолетия. Но еще в «Книге Притчей Соломоновых», имеющейся и в синодальном переводе Библии, говорится: «Плод праведника — древо жизни, и мудрый привлекает души» (Пртч. 11, 30). Получается, что у нас мудрый никого не привлекает, а мудрость его кажется сухостью, неусваиваемой соотечественниками.

М. А. Антонович так определял принцип пользы у Н. Г. Ч.: «Эта теория, не отвергая самостоятельности искусства и его самостоятельных специальных целей, требует, чтобы оно всегда находилось в тесной связи с человеческой жизнью, имело в виду и другие цели или, лучше сказать, содействовало, с своей стороны, достижению общей главной цели человека, достижению разумной, здоровой и довольной жизни, чтобы оно доставляло человеку не одно только эстетическое удовольствие, но и пользу в обширном и благородном значении этого слова, чтобы оно было не только искусством для искусства, но и искусством для мысли, для развития и уяснения понимания, для облагораживания характера и для улучшения человеческих отношений»⁷². Антонович вроде отводит от теории Чернышевского упреки в грубом утилитаризме и дидактике. Но, похоже, он все-таки не понял, что же за переворот в отношении к искусству совершил автор «Эстетических отношений».

Утверждая, что искусство должно служить не нуждам самодержавного государства, а человеку, Чернышевский ввел не новое долженствование, а новый принцип подхода к искусству, в корне отвергающий любой утилитаризм. Отвечая на упреки в тенденциозности, в неприятии свободы поэзии, Чернышевский следующим образом объяснил Некрасову свою позицию: «Свобода поэзии не в том, чтобы писать именно пустяки, вроде чернокнижия или Фета (который, однако же, хороший поэт), — а в том, чтобы не стеснять своего дарования произвольными претензиями и писать о том, к чему лежит душа. Фет был бы несвободен, если бы вздумал писать о социальных вопросах, и у него вышла бы дрянь... Гоголь был совершенно свободен, когда писал «Ревизора» — к «Ревизору» был наклонен его талант; а Пушкин был несвободен, когда писал под влиянием декабристов «оду на вольность» и т. п., и свободен, когда писал «Клеветникам России» или «Руслана и Людмилу», — каждому свое, у каждого своя свобода. Я свободен, когда не ем телятины (если вы помните) — у другого это было бы принуждением, и он свободен, когда ест телятину, не стесняясь мо-

⁷⁰ Сказания о начале славянской письменности. М., 1981, с. 71.

⁷¹ Отечественные записки, 1865, май, кн. II, с. 309.

⁷² Антонович М. А. Литературно-критические статьи. Сс. 198—199.

ими вкусами. В этом и состоит свобода, чтобы каждый делал то, что требуется его натурой» (XIV, 314). Иными словами, он и здесь отверг основной российский архетип, основной принцип, на котором строилось самодержавное правление, не считавшееся с натурой, с внутренним «я» человека, не признававшее за человеком свободы выбора самого себя.

Этот принцип он называл *произволом*, на котором базируются как верховная власть, так и народное стремление к *воле*, не считающееся со свободой другого человека. Разумеется, в конечном счете все решила в России высшая власть, даже в мелочах проявляя свое господство, не давая развернуться самостоятельности подданных. Но лишенный прав и законов народ приучался на примерах верховной власти всего добиваться силой волевого решения, силой прихоти, произвола, даже в тех случаях, когда он выступал против этой верховной власти. Вот, быть может, одно из важнейших наблюдений мыслителя: «Основное наше понятие, упорнейшее наше предание — то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами; первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батыи повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам — простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно» (VII, 616).

Именно этот тип отношений существовал, как мы знаем, в среде нечаевских пятерок (ср. «Бесы» Достоевского), где Батыем, распоряжающимся жизнью и смертью своих соратников, хотел быть Нецаев, а позже та же модель возникла и среди большевистских вождей первого призыва, пока не сформировался главный Батый — Сталин, такая же паучья драка была и в постсталинском, и в брежневском Политбюро, а теперь мы аналогичную ситуацию наблюдаем на верхних этажах нынешней власти. Модель произвола повторяется из раза в раз. Как не раз говорили, нечаевщина была искажено-увеличенным отражением самодержавия, которое с помощью большевиков-нечаевцев прекрасным образом было модифицировано в однопартийную советскую власть с таким же убийственным отношением к человеку. Недаром наши нынешние охранители так легко путают верность престолу с верностью Ленину и Сталину.

Произвол уничтожает личность, а стало быть, и саму возможность искусства. Идею произвола была противопоставлена идея свободы, родившаяся в Западной Европе (Г. П. Федотов) и укоренявшаяся в России усилиями великих русских поэтов и мыслителей, но именно Н. Г. Ч. отразил это противопоставление свободы и воли. Чернышевский, по сути, выстроил новую — гуманистическую — иерархию духовных ценностей, указав достойное место и «чистому искусству».

Проблема, теоретически сформулированная Чернышевским в диссертации («прекрасное есть жизнь»), оказалась, как мы видим, в центре раздумий самых значительных русских писателей XIX века. И тем не менее мыслитель не был понят своими современниками, но *слово* было сказано, он сумел его произнести, и оно звучало в размышлениях его последователей и оппонентов, утверждавших жизнь в противовес смерти, носителем которой выступало самодержавие. Оно-то со всей отчетливостью почувствовало пафос доктрины Чернышевского и думало уничтожить эту новую для России систему ценностей, уничтожив ее самого яркого выразителя. Но произнесенное слово и сама жизнь Чернышевского стали достоянием русской культуры. С течением времени это начали признавать и те, кто не мог принять весьма многих его идей.

И поразительно, что идейные противники понимали его значение много янее, чем «ученики» и идолопоклонники. Ведь уже для Толстого и Достоевского идеи и герои Чернышевского задали тот уровень, на котором спор превращался в философское размышление о судьбах России и человечества. Они воспринимали его как великого и несчастливого оппонента, на его идеи не злясь, негодуя на последователей, «золотую посредственность», которая «тащит идею по улице», как говорил Достоевский. Он замечал: «Чернышевский никогда не обижал меня своими

убеждениями. Можно очень уважать человека, расходясь с ним в мнениях радикально»⁷³.

А уже Василий Розанов (вернусь к цитате, с которой начал эссе), видя неизбежный накат «бесов» и падение государства, так написал о нем перед революцией (с чувством, какое не у каждого сторонника найдем): «Конечно, *не использовать* такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства — было преступлением, граничащим со злодеянием. <...> С самого Петра (I) мы не наблюдаем еще натуры, у которой каждый час бы *дышал*, каждая минута *жила* и каждый шаг *обвеян* «заботой об отечестве». <...> Каким образом наш вялый, безжизненный, не знающий, *где найти* «энергий» и «работников», государственный механизм не воспользовался этой «паровой машиной» или, вернее, «электрическим двигателем» — непостижимо. Что такое все Аксаковы, Ю. Самарин и Хомяков или «знаменитый» Мордвинов против него как *деятеля*, то есть как *возможного деятеля*, который зарыт был где-то в снегах Вилюйска? <...> Я бы <...> как лицо и энергию поставил его не только во главе министерства, но во главе системы министерств, дав роль Сперанского и «незыблемость» Аракчеева... Такие *лица* рождаются веками; и бросить его в снег и глушь, в ели и болото... это... это... черт знает что такое. Уже читая его *слог* (я читал о Лессинге, то есть начало), прямо чувствуешь: никогда не устанет, никогда не угомонится. <...> Именно «перуны» в душе. <...> Ну — а такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят, до убоя, до смерти или победы. Не знаю его опытность, да это *и не важно*. В сущности, он был как *государственный деятель* (общественно-государственный) выше и Сперанского, и кого-либо из «екатерининских орлов», и бравадного Пестеля, и нелепого Бакунина, и тщеславного Герцена. Он был действительно *solo*. <...> Это — Дизраэли, которого так и не допустили бы пойти дальше «романиста», или Бисмарк, которого за дуэли со студентами обрели бы на всю жизнь «драться на рапирах» и «запретили куда-нибудь принимать на службу». Черт знает что: рок, судьба, и не столько *его*, сколько *России*. <...> Поразительно: ведь это — прямой путь до Цусимы. Еще поразительнее, что с выходом его в *практику* мы не *имели бы* и *теоретического нигилизма*. В одной этой *действительно замечательной биографии* мы подошли к *Древу Жизни*: но — взяли да и *срубили его*. *Срубили*, «чтобы ободрать на лапти Обломову...» (выделено мной.— В. К.)⁷⁴. А либеральный историк русской общественной мысли Нестор Котляревский писал о Чернышевском: «В нем судили и наказывали самый процесс рождения развития нового общественного типа, нового направления в жизни и в мыслях. Предполагалось, что это направление может заглухнуть и умереть, если заглухнет и умрет имя человека. Заглушить ненавистное имя действительно удалось в том смысле, что лет тридцать оно в пределах России не появлялось в печати. Вокруг не названного, но всем известного имени вспыхивали споры, все еще достаточно ожесточенные, — яркие зарницы умчавшейся бури»⁷⁵. Первой такой зарницей стали споры вокруг второго издания «Эстетических отношений искусства к действительности». Мечтали, однако, о другой буре, освободительной, которая почему-то должна была защитить свободу личности.

Буря, разразившаяся в XX веке, принесла иной, враждебный надеждам Чернышевского строй жизни. Восторжествовал произвол, а не свобода, победил чуждый личности принцип бытия. Вряд ли в этом можно винить мыслителя. Здесь должна решаться иная проблема — почему идеи перетолковываются до полной своей противоположности, почему пророки не только побиваются камнями, но и предаются поношению и после своей смерти, а также почему всегда и везде происходит наглое использование образа страдальца для прикрытия совсем иных целей и задач.

Повторю свой вопрос: можно ли сегодня размышлять о Чернышевском? Кажется даже, что необходимо.



⁷³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти т. Т. 21, Л., 1980, с. 29.

⁷⁴ Розанов В. В. Уединённое. Сс. 207—208.

⁷⁵ Котляревский Н. Канун освобождения. 1855—1861. Из жизни идей и настроений в радикальных кругах того времени. Пг., 1916, с. 257.

«Бывают странные сближения...»

Марк АМУСИН

О несходстве сходного

Хорхе Борхес и Владимир Набоков родились в 1899 году. Это совпадение само по себе не значит ничего. В том же замыкающем году девятнадцатого столетия появился на свет, например, «Папа Хем», прозаический Байрон американизированной эпохи. Или Константин Вагинов, эзотеричный плод Серебряного века. Ну и что?

Однако в случае Борхеса и Набокова число биографических перекличек, параллелей, зеркально-симметричных соответствий поразительно — как будто мы попали в неведомо кем сочиняемое «сравнительное жизнеописание», в сферу биографической романистики, к которой оба героя относились со скептической заинтересованностью.

Борхес и Набоков появились на свет на двух окраинах — западной и восточной — христианско-гуманистической ойкумены, в странах пустынно-просторных, натужно пытавшихся на рубеже веков примкнуть к цивилизации европейского порядка. Для обоих английский язык, которым они овладели чуть ли не раньше, чем родным, был не только языком детского чтения, но и залогом вариативности бытия, дверью в большой и причудливо иной литературный мир, входом в кроличью (Алисину) нору, ведущую в Страну чудес.

В ранней юности — Борхес пятнадцатилетним, Набоков в возрасте восемнадцати лет — они были вырваны из привычного, как кокон, домашнего строя жизни и пересажены в совершенно новую почву. Для Набокова это стало следствием революции и эмиграции. Для Борхеса невинная семейная поездка в Европу, предпринятая в 1914 году в целях развлечения и поправки здоровья, растянулась из-за войны на мифические семь лет. Тогда-то, в пору созревания, в биографию Борхеса вошла Швейцария как действующая модель хрупкого единства Европы, в реальности раздираемой враждой и насилием. В Женеве Борхес и окончил свой долгий жизненный путь. Для Набокова Швейцария тоже стала пристанищем предзакатной поры.

Оба многократно и громкогласно декларировали презрение, равнодушие к политическим актуальностям эпохи. При этом судьбы их — во внешнем своем выражении — испытали сильное формирующее воздействие бурь и катаклизмов века. Семью Набокова русская революция лишила дома, катапультировала из родной страны, которая стала в набоковских книгах заповедной символической зоной счастья, полноты и гармонии бытия. А посреди жизни, в тридцатые годы, писатель вынужден был, спасаясь от гитлеровской тирании, сменить привычно-постылый берлинский интерьер на странноприимные просторы Америки.

Борхес же провел многие годы на родине в молчаливом единоборстве с режимом Хуана Перрона, народного заступника и нелюбителя интеллектуалов. Диктатура не только давила на писателя в общественном и житейском плане — она угнетала его духовным убожеством, утрированной демагогической пошлостью, националистическим апломбом и ксенофобией.

Известно и многожды отмечено также влечение обоих авторов к золоту и меду детского существования. Правда, конкретные мотивы такого влечения и способы его литературной реализации у Набокова и Борхеса разные. Аргентинец наделяет свое буэнос-айресское детство свойствами витальности и динамичности, возможностью участия в общей жизни с ее обольщениями, заблуждениями, пристрастиями и кумирами, с ее «реальностью» в противоположность будущему существованию писателя в сфере словесных шорохов и невещественных силовых линий интеллектуального поля. Детство это, полное урбанистических опасностей и походов, было воображенным, воссозданным по источникам, поскольку на самом деле Борхес рос в

богатом и окултуренном доме, среди столового серебра, сервизов и книжных прохладных полок.

Для Набокова детский рай ассоциировался как раз с образами сельской, природной жизни: сад и поле, речка и лес, с бесконечным разнообразием отдельных и точно называемых предметов, явлений, существ, звуков, имен, красок, сливавшихся в блаженно целостную и неподвижную картину...

Однако сквозь все биографические переключки и перемигивания, на которые жизнь так же щедра, как и беллетристика, проступают контуры главного, центрального сходства — в типе литературы, создаваемой русским и аргентинцем. Оба нынче превратились в несколько туманные, зато общепризнанные символы авангардно-консервативной традиции высокой литературы — культура под занавес века тщательно перебирает золотой запас случившихся с ней перемен... И Борхес, и Набоков при всей их уникальности, «штучности», при всем их отвращении к массовидному и унифицированно-всеобщему, к поветриям и тенденциям были все же близки к магистральным культурным течениям, влияли и испытывали влияния...

А самым характерным и существенным из всех признаков культуры века был признак деперсонализации, чтобы не сказать — дегуманизации. Высокая литература еще со времен Джойса, Андрея Белого и Вирджинии Вулф занялась вытравливанием из своих пор традиционного гуманизма, прикладного психологизма, всего «человеческого, слишком человеческого», тепло и готового к употреблению. Герой, который в традиционной литературе стремился мыслями, переживаниями, поступками занять всю кубатуру повествовательного пространства, стал прозрачнее, начал постепенно съезживаться, расслаиваться. Его телесно-духовные перипетии, которым читателю полагалось сочувствовать и мысленно в них соучаствовать, все более теряли серьезность, «взаправдашность». В центр внимания переместились приключения авторского «я» (тоже, впрочем, быстро усыхавшего), язык, идеи и концепции (Набоков брезгливо морщит переходящий в лысину лоб), способы повествования. Литература отбросила свои вековые устремления добиться идеального сходства с жизнью, стать ее неотличимым отражением. Отражение? Но зеркало, если внимательно посмотреть, меняет места правое и левое, открывает мир бесплотный и таинственно-магичный. В эту зеркальную бездну высокая литература века и устремилась с веселым отчаянием. Сначала черт утащил солидность и серьезность мимезиса, а вслед за этим под подозрение попали плотность и прочность самой действительности.

В русле этого культурного движения возникла бурная реакция на расхожее и бесполое мнение, будто литература вторична, производна по отношению к эмпирической действительности, зависима от мира материального. Замечу в скобках, что тут мы сталкиваемся с универсальной схемой эмансипационного процесса. Начинается все с пробуждения самосознания, с размышлений о своем уделе, о своей ситуации в окружающем мире. Затем борьба за повышение своего статуса, за автономию. Но борьба эта неизбежно переходит в следующую стадию — горделивого посягательства на власть и приоритет. Именно этой страстью к самоутверждению перед лицом действительности проникнуты все главные модернистские и постмодернистские стратегии века: сюрреализм, «магический реализм», французский «новый роман», черный юморизм американцев, самопорождающая и саморефлективная литература.

Борхес и Набоков сделали из этих исходных культурных посылок времени не самые крайние, но все же далеко идущие выводы. В своих опытах оба подтверждали и закрепляли факт невозможности для «большой литературы» сеять и жать на вытопанном поле беллетристики: «В пять часов пополудни маркиза С. вышла из дома...» Они были придумщиками Америк, не то чтобы искателями «новых изобразительных средств», но создателями иной системы координат, в которой по-новому выражались соотношения литературы и действительности, творческого (творящего) вымысла и реальности.

Удивительно, как много пересечений, тематических и мотивных, обнаруживается между их произведениями. Одни и те же гравитационные узлы в интеллектуально-эстетическом пространстве волновали и притягивали их. Например — природа гениальности («Фунес» и «Защита Лужина»). Например — невозможность для автора в двадцатом веке писать иначе, чем вдоль или поперек уже написанных текстов. Хитрые переплетения случайности и причинности, мимикрия одного под другое... Взаимобратимость сна и яви...

Но самое глубинное сходство в том, что и Борхес, и Набоков решительным образом опровергают непрелезность и единственность мира, явленного нам в ощущениях. Ироническая улыбка автора — и гладкую поверхность явлений вдруг начина-

ет морщить, как поверхность пруда от брошенного в него камня. Возникают проколы во времени, эпохи сдвигаются и накладываются одна на другую, иногда причудливо перемешиваясь, как в «Аде» Набокова или «Бессмертном» Борхеса. Стираются четкие границы между «я», «ты» и «он». В рассказе Борхеса «Форма сабли» история трусости и низости, которую излагает рассказчик, как будто относится к другому лицу, Винсенту Муну, но в финале ситуация выворачивается наизнанку и выясняется, что предатель Мун как раз и есть рассказчик. Обосновывается это сюжетное сальто-мортале ссылками на универсальные философские принципы: «...К тому, что делает один человек, словно бы причастны все люди... Может быть, и прав Шопенгауэр: я — это другие, любой человек — это все люди».

В финале романа Набокова «Истинная жизнь Себастьяна Найта» повествователь, предпринимающий на наших глазах попытку жизнеописания своего сводного брата, писателя, заявляет: «...Маска Себастьяна приросла к моему лицу, сходство несмываемо. Себастьян — это я, или я — это Себастьян, а то, глядишь, мы оба — суть кто-то, не известный ни ему, ни мне».

Сходство действительно несмываемо. В том же романе Набокова пересказываются сюжеты произведений, созданных Найтом, с включением обширных цитат из них — классический пример приема «текст в тексте», волнующим, магическим свойством которого Борхес посвятил эссе «Рассказ в рассказе» и «Скрытая магия в “Дон Кихоте”». Один из романов Найта построен на распутывании клубка случайностей, из которых соткана повседневность, на «изучении причинных тайн беспричинных событий». Там прослеживаются сплетения обстоятельств, нити, тянущиеся от несомненных жизненных фактов к их туманным, расплывчатым истокам и завязям. Борхес подхватывает эту игру, лишь радикализируя ее правила, когда в «Теме предателя и героя» создает модель квазислучайного события, оборачивающегося частью грандиозно разветвленного плана, приводимого в действие наподобие драматической интриги. Под пером Борхеса причинные связи между явлениями начинают бурно развиваться, размножаться, словно раковые клетки, пожирающие невинную плоть вольной, непредусмотренной жизни.

В намеке там содержится мысль, будто вся последующая история человечества сформирована творческим замыслом одного из героев рассказа, Нолана, ирландского патриота начала прошлого века, переводчика Шекспира на гэльский.

Вообще многие тексты аргентинца похожи на конспекты или комментарии к романам Набокова.

Здесь пора перейти от сходства к отличиям, которые ничуть не менее показательны и любопытны. Ибо Борхес и Набоков воплощают едва ли не контрастные формы самоощущения литературы на рубеже постгуттенберговой эпохи, очень несхожие типы ее онтологического самоопределения.

Набоков в своих сочинениях книжен. И это притом, что как чумы бежит идей и концепций, сколь-нибудь доктринально сформулированных. Литературное творчество, пресуществление действительности в слове остаются главной его темой и в «Приглашении на казнь», и в «Даре», и в «Истинной жизни Себастьяна Найта», и в «Бледном огне», и в «Аде».

Излюбленное занятие Набокова — игра со стилями, повествовательными манерами и интонациями, их комбинирование и пародирование. (В этом плане Сорокин с Пелевиным — его поздние и довольно дубоватые ученики.) В ранний, русскоязычный, период своего творчества он танцевал от печки классической литературы дворянского ее извода. Изобразительные средства от Тургенева до Бунина использовались им с любовью, не исключаящей жалости к траченным временем литконструкциям. И тогда, и позже его повествование маскируется под конвенциональное, уважающее читательскую инерцию. Озадачивающие, подрывные и провокативные ходы, антиреалистические пируэты вводятся им в ткань повествования осторожно, исподволь.

Объективная жизнь, материальный мир у него запечатлены в тончайших, точнейших своих проявлениях и оттенках, с поразительной разрешающей способностью глаза и языка. Зрительные образы создают завораживающую иллюзию вещественности. К тому же и сюжетно книги Набокова как будто представляют действительность в ее привычном и доступном облике. Они о мужчинах и женщинах, о путешествиях и прелюбодеяниях, о пляжах, пансионатах и автомобилях, о поисках понимания, о радостях и тяготах страсти, о старости и смерти. Но при внимательном рассмотрении все эти аксессуары обычной жизни и привычной литературы обнаруживают свою прозрачность, проницаемость.

Люди, полнокровные герои традиционной литературы, заменяются мерцающими, меняющими форму персонажами-марионетками, покорными авторской воле. И

для Набокова это программная позиция: «Сочиненность гораздо живее мертвой молодцеватости литературных героев, кажущихся среднему читателю списанными с натуры. Натуру средний читатель едва ли знает, а принимает за нее вчерашнюю условность».

Из знакомых, апробированных кубиков-элементов Набоков строит странные конструкции, в которых реальность чувствует себя неуютно, как в собственном сне: оси смещены, плоскости пересекаются под немислимыми углами, в местах сочленений зияют щели. Это неуловимо напоминает описание Города Бессмертных из новеллы Борхеса: «Куда ни глянь, коридоры-тупики, окна, до которых не дотянуться, роскошные двери, ведущие в крошечную каморку или в глухой подземный лаз, невероятные лестницы с вывернутыми наружу ступенями и перилами». Только причудливые эти постройки у Набокова призваны вызывать не ужас, а смех.

Но дело не ограничивается этим. Многие книги писателя специально посвящены доказательству иллюзорности, непрочности привычного, той житейской протоплазмы, в которую мы погружены. Или не протоплазмы, а декораций, буафории подлинности. Об этом ведь «Приглашение на казнь». Реальность халтурна, затерта до дыр, лишена логического основания и онтологического оправдания. «Отбросы бреда, шваль кошмаров». И тут не частный, присущий только этой книге эпатаж. Во многих других своих текстах, как русского, так и английского периодов, писатель это представление варьирует и развивает. Набоков небрежно и беспечно отказывается принимать всерьез проблемы жизнеустройства, общественно-политические концепции, исторические процессы в эстетической упаковке — все, что он называл литературой Больших Идей.

При этом литература — не замена жизни, не «высшая реальность», построенная по законам красоты, истины и гармонии. Литература, как и искусство вообще, в бытийном плане для Набокова такая же мнимость, как и объективная действительность, только мнимость милая, в которой автор сам создает законы и правила, волен соблюдать или нарушать их. Парящая над повествованием ироническая усмешка сочинителя — главный, если не единственный, конструктивный принцип его прозы.

Прекрасное и истинное, ценное, вечное присутствуют, точнее, подразумеваются в мире Набокова, но в «инонии», в некоем инобытии. Творчество писателя проникнуто предощущением инобытия, в котором снимаются все противоречия, недоразумения и пошлость здешней жизни. Она, эта жизнь, — слишком смешная и жалкая шутка, чтобы претендовать на единственность и законченность. Творческая потенция — «бессмертья, может быть, залог», пусть формальный, а все же намек на возможность других берегов и горизонтов. Недаром смерть во многих текстах Набокова имеет такой условный, двусмысленный, зыбкий характер.

Простая метаморфоза «из жизни насекомых» — превращение гусеницы в бабочку — проходит лейтмотивом через все его творчество и, похоже, служит Набокову путеводной звездой. Произведения его не содержат в себе прямого образного отображения или предвосхищения потусторонней свободы и гармонии. Литература для Набокова — ценность, но не сверхценность. Она лишь туннель, в конце которого виднеется даже не свет, а отблески какого-то внешнего сияния.

И в то же время, откровенно полагая литературу праздным и праздничным занятием, средством услаждения и построения воздушных замков, Набоков исключительно внимателен к ремеслу словесной акробатики, к ходам, приемам, к мастерству, в том числе и в первую очередь к мастерству трюка. Впрочем, тут, конечно, нет противоречия. Так и должно быть. Ремесло фокусника, арлекина, канатоходца должно быть отточенным — отчасти ради того, чтобы хоть в этом не обмануть публику с ее ожиданиями, отчасти ради спасения собственной жизни, то есть из самосохранения. Поэтому Набоков так нетерпим к графоманам, к неумелым да и к тем, для кого литература — средство достижения внеположных смысловых целей, идеологических или отвлеченно-философских.

Именно там, на странице, происходят главные приключения, завязываются и разгадываются загадки, вершится драмы, обретается свобода. Там, в «Тамариных садах», на просторах текста, Набоков пускается в увлекательные эксперименты, смелая и разглаживая ткань изображаемого, выкраивая из нее самые причудливые силуэты. Выращивая гомункулов. При этом сама эта алхимическая работа, сами конструктивно-магические приемы и ритуалы, не вполне обнаженные, а просвечивающие сквозь сюжетный покров, становятся предметами изображения и любовной рефлексии («Истинная жизнь...», «Бледный огонь», «Просвечивающие предметы»). Но никогда он не делает вид, что все эти манипуляции позволяет предельвать над собой внетекстовая реальность.

Набоков особенно любит игру с чисто словесными, а то и фонетическими средствами: с каламбурами, анаграммами, аллитерациями. В «Аде», например, он просто отдается стихии языкового пересмешничества, словно пытаясь запоздало ответить на вызов Джойса. Есть здесь что-то от упоения птицы совершенным и самодостаточным инструментом голоса.

Обратимся теперь к текстам Борхеса. Аргентинский писатель, точно так же, как и Набоков, вполне высоко взирает на жизненную эмпирику, на наш бедный индивидуализм и реализм... Он искатель жемчуга вечности, добытчик Абсолюта (не смотря на пристрастие Борхеса к скандинавской мифологии и истории — не путать со шведской водкой). Но следы и «отправления» вечности он ищет и находит здесь, в действительности, хотя и в малонаселенных, редко посещаемых ее областях.

Борхес не пытался ловить тени и отзвуки «мира за сценой». Он уповал скорее на умопостигаемую вселенную, плод индивидуально-коллективных интеллектуальных усилий человечества. Он был «патентоведом», каталогизировавшим фонд мировых прозрений и заблуждений в создании концепций и образов вечности, бесконечности, бессмертия.

Борхес в молодости любовно отряхивал пыль веков с универсалий, с всеобщих единиц культурного достояния: мифов, логических и метафизических категорий, принципов мышления, парадигм ориентации человека в мире. Он писал о вечности и времени, о цикличности, об аксиомах, о тождестве и множественности, о сквозных метафорах, с помощью которых человеческое воображение приручало хаос окружающего. Он пытался вернуть затертым от частого и безответственного употребления абстрактным понятиям их изначальный грандиозный (или просто грозный) смысл, придавал им завораживающую наглядность.

При этом Борхес отнюдь не довольствовался инвентаризацией человеческой мудрости. Все добытые, намытые тысячелетиями интеллектуальные ценности нужны ему не для того, чтобы наслаждаться надежным процентом с капитала. Он пускает их в рискованный оборот, бросает в пучину приключений и метаморфоз. Цель этих приключений — доказать, что «вторая природа» не просто красивее, изящнее, долговечнее материальной действительности, но онтологически первичнее ее, способна преобразовать и подчинять ее себе.

Рассказ «Лотерея в Вавилоне», невозмутимо описывающий «интерполяцию случая в мировой порядок», — хрестоматийный образец текста такого назначения. Но есть и гораздо более радикальные. К мысли о том, что эмпирическая наша действительность не более чем сон, иллюзия, Борхес возвращается во многих своих рассказах, эссе и рецензиях. Герой новеллы «В кругу развалин» — аскет и визионер, в итоге многотрудных опытов и упражнений он достигает поставленной цели: извлекает подлинного, живого человека из призрачной субстанции своих снов. Однако вскоре после этого магического, подвижнического усилия аскет убеждается, что и сам он лишь призрак, порождение чьего-то сновидческого творчества.

В знаменитом рассказе «Тлен, Укбар, Орбис Терциус» Борхес создает еще более универсальную модель зыбкости эмпирической действительности и демиургической активности человеческого интеллекта. Мир (планета) Тлен, коллективно воображенный участниками некоего игрового заговора, постепенно заменяет собой в сознании человечества нашу земную реальность и историю. Ключевой тут является фраза: «Почти сразу же реальность стала уступать в разных пунктах. Правда, она жаждала уступить». (Кстати, интересно было бы сопоставить лапидарное изложение физического и метафизического устройства Тлена в рассказе Борхеса с пародийно-балагурной «террологией» в романе Набокова «Ада». Терра у Набокова — историко-географическая реальность нашего времени, в которой есть Россия, Америка, Европа, но представленная как фантастическое, прискорбно-потешное искажение некой изначальной и блаженной данности. Борхес роняет фразу: «...Классическая культура Тлена состоит всего лишь из одной дисциплины — психологии». У Набокова «террология» является отраслью психиатрии. Сходства и различия здесь весьма показательны.)

На самом деле в этом опусе аргентинский писатель варьирует одну из излюбленных своих философских тем — о Книге (будь то Тора, Коран, Веды или Энциклопедия Тлена), лежащей в основе эмпирического бытия, созидающей мир. Миру тем самым приписывается свойство выстроенности по законам человеческого сознания, по правилам литературного повествования.

Тексты Борхеса — жестокое испытание для вестибулярного аппарата читателей. При вхождении в них испытываешь головокружение, нарушение ориентации в пространстве и времени, потерю уверенности в основных данностях повседневной жизни. Здесь совершаются самые головокружительные опыты со структурами бы-

тия и/или человеческого восприятия. Прекрасный пример — рассказ «Сад расходящихся тропок», где на схему детектива-триллера накладывается ошеломляющее представление о ветвлении времени, о параллельных и скрещивающихся измерениях бытия, вариантах реальности: «Я снова ощутил то роение, о котором уже говорил. Мне почудилось, будто мокрый сад вокруг дома полон бесчисленных призрачных людей. Это были Альбер и я, только незнакомые, умноженные и преобразенные другими временными измерениями».

Игра Борхеса — не чистое наслаждение ресурсами языка, разнообразием повествовательных стилей и инструментов, как у Набокова. У него вообще почти нет виртуозного словесного озорства. Слог его неяркий, не слишком индивидуализированный и разнообразный. В поэтике Борхеса упор делается скорее на риторику и интонацию, порой невозмутимо нейтральную, порой небрежно-повелительную. Борхес если и жонглирует, то смысловыми перспективами, моделями мироустройства и мировосприятия — упражняется в онтологической атлетике. При этом, однако, литература не становится для него лишь подручным и безразличным средством выражения парадоксальных метафизических концепций. Борхес использует самые основные, фундаментальные структуры и характеристики повествования для того, чтобы генерировать новые смыслы, чтобы придавать статус непреложности своим самым причудливым и магическим построениям. Эффекты, нарушающие нашу привычную ориентацию в мире: трехмерное пространство, однонаправленное течение времени, самоидентичность личности, — широко используются, скажем, и в тривиальной «фэнтези». Однако Борхес резко усиливает их действенность, когда вводит в определенные, опорные точки композиционного построения текста.

Снова вернемся к рассказу «Тлен, Укбар...». Как тонко производится здесь «мена» изобразительных и смысловых ракурсов! Рассказ начинается буднично, с воспоминаний и житейских деталей (включая реальные лица) из биографического прошлого повествователя, Борхеса. Дальше эти квазидокументальные посылки разворачиваются в экстравагантную картину реальности Тлена, оставаясь, однако, в хронотопической перспективе «нашего мира». В конце же хорошо рассчитанный шоковый поворот: из «постскриптума» следует, что Тлен, якобы невинная выдумка досужих умов, проник в «наш мир», изменил его до неузнаваемости, так что действительности, к которой относится начало повествования, больше нет, истаивает понемногу даже память о ней (что опять же создает парадоксальную ситуацию). Такие примеры у Борхеса можно множить.

Закljučая это краткое сопоставление, замечу, что сходство между двумя «гроссмейстерами игры», Борхесом и Набоковым, все же преобладает над различиями. В истоках творческих импульсов того и другого лежало стремление разорвать оковы, делавшие литературу пленницей (или копиисткой) повседневной действительности. Оба по-своему утверждали достоинство и суверенность творческой активности художника. При этом поглощенность неподражательными задачами не исключала для обоих прикосновений к пластам экзистенциальной подлинности, будь то в «Даре» или «Пнине» Набокова, в «Юге» или «Алефе» Борхеса.

Отголоски гуманистического пафоса можно обнаружить в их произведениях. Для Набокова свобода плетения избыточных в своем изобилии словесных кружево-описаний была залогом чаемой (и смутно ощущаемой) предустановленной гармонии, оправдывающей бытие. Борхес явно гордился способностью человеческого разума (индивидуального и родового) создать альтернативные миры — «гетерокосмы», — своим богатством, сложностью, парадоксальной увлекательностью посрамляющие мир обыденности и рутины. Оба своим творчеством, может быть, свидетельствуют о новом назначении литературы: тренировать наше чувство жизни перед лицом перегрузок, трансформаций и метаморфоз, которые ждут нас за поворотом в новое тысячелетие.



Владимир БЕРЕЗИН

Герой, его внутренность и внешность

Ну, конечно, искусство должно отображать жизнь, красивую жизнь, красивых живых людей.

Владимир Маяковский. «Баня»

Эта знаменитая реплика Мезальянсовой продолжается так: «Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах и вообще буржуазное разложение. Даже если это нужно для агитации, то и танец живота. Или, скажем, как идет на прогнившем Западе свежая борьба со старым бытом».

Герой массовой литературы — существо чрезвычайно специфическое. Очевидно недостижимое и вместе с тем всем известное. Это скорее не герой, а физическое явление — что-то вроде радуги, исчезающей при приближении.

Пушкин писал: «Почему же статуи раскрашенные нравятся нам менее чисто мраморных или медных?.. Читая поэму, роман, мы часто можем забыть и полагать, что поэт изображал свои настоящие чувствования в настоящих обстоятельствах. Но где правдоподобное в здании, разделенном на две части, из коих одна наполнена зрителями, которые условились, ес., ес.»

Герой массовой культуры на самом деле типичен, но типичен именно в рамках массовой культуры. Он, его внешность и внутреннее состояние — компоненты формулы повествования. Кстати, понятие формульной литературы ввел в обиход Джон Кавелти в своей книге «Приключение, тайна и любовная история: формульные повествования как искусство и популярная культура». В работах по массовой культуре на эту книгу ссылаются с той же обязательностью, с какой раньше ссылались на классиков марксизма-ленинизма.

Герой (а я умолчал, что речь идет именно о положительном герое) расчислен и измерен. Он проверен рынком, а рынок проверен им.

Герой всегда должен отождествляться со зрителем или читателем. Даже если он Джеймс Бонд, а зритель — женщина.

А Джеймс Бонд, несмотря на смену времен и актеров, тех, что изображают его самого, — тип весьма консервативный. Даже консервированный.

Есть такая книжка Эренбурга, где он пишет о кинематографическом конвейере. Она называется «Фабрика снов». Издана она была давно, в Берлине, и оттого официант там пишется через «фф», а Hollywood зовется Холливудом. Так вот, Эренбург много говорит там о массовом искусстве кино и, в частности, о его типажах. Он замечает: «Невесты арестантов никогда не старятся». Действительно, не старится Джеймс Бонд и лишены варикозных вен героини всех мелодрам. Внешность героев не меняется в ходе повествования. Однако о внешнем виде героев скажем потом.

А пока — о сюжетах, в которых действуют герои.

Существует два условных сюжета — сюжета массовой литературы, а потом и кинематографа. Первый — детектив, второй — любовный роман. Короткий серийный любовный роман по аналогии с продукцией «Макдоналдс» можно назвать лавбургером. Первый (условно) для мужчин, а второй (также условно) для женщин, хотя промежуточное пространство между этими полюсами уже плотно заставлено множеством произведений.

Здесь невольно вспоминаются две сказки — одна о победителе дракона, которому в награду досталась принцесса, и другая — история Золушки, которая обретает своего принца. Так сказать, прототипический лавбургер.

Герой первой сказки всегда человек, совершающий превращение. Он превращается в победителя дракона. Стеснительный и неуклюжий журналист — в супермена. Похмельный неудачник, герой Брюса Уиллиса, в десятке фильмов с равной закономерностью должен обернуться спасителем человечества.

Из человека обычного, такого же обычного, как сам потребитель массовой культуры, герой превращается в существо идеальное. Признаки такого мужского идеала очевидны — это власть, сила, благородство (в разных смыслах этого слова) и способность нравиться женщине.

Набоков так писал о героях Майн Рида, которого, кстати, сравнивал с Гоголем, оговариваясь, что — с ранним:

«В бар входит злодей “рабо-секущий миссисипец”, бывший капитан волонтеров, мрачный красавец и бретер Кассий Колхаун. Он провозглашает грубый тост — “Америка для американцев, а проклятых ирландцев долой!” , причем нарочно толкает героя нашего романа, Мориса Джеральда, молодого укротителя мустангов. В бархатных панталонах и пунцовом нашейном шарфе: он, впрочем, был не только скромный книготорговец, а, как выясняется впоследствии к сугубому восхищению Луизы, баронет — сэр Морис. Не знаю, может быть, именно этот британистый шик и был причиной того, что столь быстро закатилась слава нашего романиста-ирландца в Америке, его второй родине».

Морис Джеральд параллельно превращается даже два раза — из скромного молодого мустангера в победителя дракона и из него же в аристократа.

Героиня в сказке первого типа — достойная подруга героя. Несмотря на то что она часто нуждается в помощи, она, безусловно, достойна того, чтобы ее спасали — как приз должен быть достоин победителя.

А вот в сказке второго типа, в истории Золушки, все несколько иначе. Массовая культура на излете двадцатого века уже получила свою реальную Золушку. Ею стала принцесса Диана. Это была настоящая Золушка, и то, что она принадлежала к знатному и богатому роду, ничуть дела не меняло. Формальные обстоятельства — недолгая работа в детском саду (кажется, на общественных началах), мистичность слова «принц» — делали ее в глазах потребителя массовой культуры именно Золушкой, получившей заслуженную награду. Золушка всегда трудолюбива, добра и неприхотлива.

Внешность и «внутренность» героев и героини диктуются, понятно, самой читательницей. Это уникальный случай, когда образ героини напрямую зависит от читателя и строг гораздо больше, чем в «мужском» повествовании.

Вообще говоря, героини должны соответствовать ожиданиям читательниц, которые ищут в лавбургере не только отдушины, но и подсказки, указаний на то, какие, собственно, эмоции им нужно испытывать. Это настоящие правила этикета — в отношениях автора и читателя и в отношении персонажей.

Важно, что из списка недостатков (достоинств) героини начисто исключена сексуальная свобода. В детективе или боевике все наоборот — герои, как поднимающиеся на нерест вверх по течению рыбы, занимаются любовью, ощущая приближение смерти. Они делают это как в последний раз (или просто в последний раз) — безоглядно и безответственно. К чему думать о будущем, сейчас ведь все равно всех убьют!

Русский лавбургер, однако, в отличие от зарубежного, дает героине шанс на любовную ошибку, но не в силу естественного влечения, а из-за обмана или «неодолимого стечения обстоятельств».

Что касается героя, то он не только состоятелен, психологически устойчив, но и более сексуален. Это подчеркивает его латиноамериканская (или испанская) внешность. Впрочем, это относится к зарубежным переводным образцам. Возраст героев частенько гораздо старше двадцати. В этих западных лавбургерах, кстати, особенность, непохожесть героя на ту среду, которая окружает героиню, отнюдь не всегда связана с тяготением к южным культурам. Герой может предстать красавцем-кельтом или белокурым гигантом-шведом. Его принципиальное отличие в том, что он — другой, а стало быть, притягателен загадочностью и непонятностью.

На российской почве тяготение к южным культурам опаснее. Герой не может быть жителем Закавказья или других южных республик бывшего СССР. Такой герой противоречил бы принципу стабильности, а опознавательным знаком героя является именно стабильность — общественная и финансовая защищенность будущей семьи.

Испанцы редки, латиноамериканцы слишком сильно ассоциируются с молодыми революционерами-террористами, что жили в СССР в семидесятые. Так что герой русского лавбургера принадлежит к тому же антропологическому типу, что и героиня.

Причем пара герой — героиня строится так: он высокий, стройный — специально подчеркивается то обстоятельство, что у героя нет «ни грамма жира». Она также

всегда стройна, но портрет героини несколько размыт. Это способствует самоидентификации читательницы с героиней.

Главное физическое качество героев — это здоровье. Неизлечимые, а также венерические болезни запрещены. Нет, болезни чрезвычайно часто присутствуют в качестве фактора, осложняющего и запутывающего сюжет. Но эти болезни временны, и медицина легко их побеждает.

А вот и взятые наугад из вала литературы примеры: «Да, это был великолепный образчик мужчины-самца». «Он резко выделялся на общем фоне не только своей привлекательностью, но и высоким ростом, слегка надменным видом и уверенностью в себе... Этим широким плечам будет одинаково уютно и в дождевике, и в смокинге, а длинные стройные ноги будут смотреться и в брюках от шикарного портного, и в простых джинсах...» Ну и, конечно, пресловутые «мускулистый живот и грудь...»

С героиней все иначе. Иногда про нее можно сказать так: «Тебя нельзя назвать хорошенькой, по крайней мере в общепринятом смысле слова. Но у тебя есть свой... шарм. У тебя красивый рот и самые прекрасные глаза, которые я когда-либо видел». Она может и не быть красивой. Она не обязана быть богатой — Золушка все-таки. Однако она обязательно чистоплотна и склонна к ведению домашнего хозяйства. Конфликт лавбургера есть конфликт непонимания действий одного персонажа другим. Сопrotивление женщины только замедляет действие, отсрочивает неизбежное счастье.

Высокая цена анатомической девственности, подчиненность жены мужу при принятии решений, почти точное соответствие старонемецкому стереотипу «Drei K» (церковь, дети, кухня) — вот суть любовного этикета западного лавбургера. В русском варианте эта жесткая формула лишь немного смягчается.

Интересная особенность: еще двадцать — тридцать лет назад предполагалось, что популярный герой должен быть молод.

В романе Ирвина Шоу «Вечер в Византии» происходит такой диалог по поводу некоего киносценария:

«— Его герои — моложе тридцати и много откровенных сцен?

— Нет.

— О господи. Уже два очка не в твою пользу. Ну ладно, дай мне почитать, подумаем, что можно сделать».

Время изменилось.

Герой постарел. Теперь герой — человек средних лет. Брюс Уиллис, чей кинематографический образ традиционно связывается с «Крепким орешком», с ролью спасителя человечества, отнюдь не похож на юношу.

Даже мелодрама и любовный роман оперируют героями средних лет в нечетком диапазоне тридцати — сорока.

Все дело в том, что изменился потребитель. Потребитель, что желает идентифицировать себя с героем, — человек средних лет. Именно в этом возрасте европеец и американец совершают активные поступки (такие, например, как женитьба). Именно в этом возрасте он становится (или не становится) профессионалом своего дела. И именно этот возраст характерен пиком покупательной способности.

Старение героя — следствие старения общества европейского типа.

А вот теперь поговорим о финале сказок. В сказках это самое печальное, потому что мы-то знаем, что следует за свадьбой, что следует за речкой драконьей крови. В детстве красавица прилагается к трупу дракона.

Собственно, труп дракона и есть главный приз для победителя. Красавица — лишь дополнение, почетная грамота, удостоверяющая победу. Причем судьба призвой красавицы незавидна. Как ни парадоксально, самым незавидным женихом остается сам Джеймс Бонд. Благодаря формульному построению фильмов «бондианы» в каждой ее серии одна из его подружек гибнет мучительной смертью. А когда сам Бонд решает вступить в законный брак, то становится вдовцом через полчаса после церемонии. Его жену злодеи убивают очередью из автомата на скоростной дороге.

Джеймс Бонд как идеальный герой «мужской» сказки идеально безбрачен и идеально бесплоден. Он лишен семьи и детей. И вместе с наслаждением он несет находящейся рядом женщине смерть. Жизнь Бонда подтверждает каждым мгновением (и каждым кадром) знаменитую ницшеанскую идею «Движение — всё, конечная цель — ничто».

Герой боевика или детектива есть герой бесконечного повествования. Всех дра-

конов не переборешь. На всех красавицах не женишься. Но останавливаться тоже неловко. В этом жизнь героя «мужской» сказки. Эта жизнь и есть его цель.

Однако в любовном романе цель не менее кровожадна — брачные узы. Соединение (или воссоединение) любовной пары. Цель конечная, занавес после удачного финала рухнет не с шорохом материи, а с гробовым стуком.

Есть распространенное заблуждение, что героиня современного лавбургера социально равна герою: «...тщательно оберегает свою независимость и самооценку. Ее собственные поступки принадлежат исключительно ей как личности».

На деле же на первом месте находятся совсем иные ценности. Что касается пересказываемого в этой цитате сюжета, то имеется в виду роман Эммы Дарси — в русском переводе «Женщина в сером костюме». В этом произведении героиня отказывается от карьеры, чтобы нести обязанности жены влиятельного бизнесмена и матери наследника. В другом романе в финальной сцене происходит следующий диалог: «Кроме того, я хотела бы слить наши издательства в одно. Мне вовсе не хочется соперничать с тобой ни в чем...» Еще одна героиня заявляет: «Больше всего на свете я хочу стать твоей женой, Кайл. После этого я распрощаюсь со своими актерскими амбициями. Это мой последний фильм. Отныне и навсегда я отдаю предпочтение реальности — реальности нашей любви». С самого начала подчиненность героини очевидна.

Гармония здесь именно в призовой семье, награде за послушание. Гармоничны и собственно сексуальные отношения — они могут привести к нежелательным (поначалу) последствиям, но героине они *всегда* нравятся. Удовольствие — символ правильности.

Мезальянсова, кстати, зря говорит о «буржуазном разложении» Запада. Жизнь такой героини абсолютно буржуазна, но абсолютно лишена всякого разложения. Наоборот, бесконечно моральна.

А вот герой «мужской» сказки как раз антибуржуазен. Он бунтарь, одиночка, в обществе жить для него мука. Вот пострелять — другое дело.

В том условном театре массовой культуры герои на самом деле политизированы мало. Следуя пушкинским словам, они бегают по сцене, как раскрашенные манекены, или, иначе (чтобы им, неживым, было не обидно), действуют, как герои древних мифов, лишённые человеческих черт.



Как обуютить Россию при помощи никелированной кровати и тумбочки

Тост, составленный по материалам книги Сергея Подсеваткина «Энциклопедия псевдонимов» (М., «ТЕРРА», 1999) и звуковой дорожки фильма Б. В. Барнета «Подвиг разведчика» (СССР, Киевская киностудия, 1947, 92 мин., ч/б).

Если прав некий хитроумный мудрец, сказавший, будто слова существуют не для того, чтобы передавать истину, а для того, чтоб ее было удобней скрывать, значит, толковые словари необходимы, дабы выявить замаскированное. Более того, мысль эту можно развить. Когда псевдонимы, подобно маскам, помогают укрыться, энциклопедии псевдонимов призваны разоблачать и выявлять.

Возьми книжку в руки — и ужаснешься. Вместо благообразных масок Ивановых, Сидоровых и Петренко глянут на тебя ничем не прикрытые Цехановичи, Ерухимовичи, Мессереры, Котляры, Смидовичи, Гаккели, Лившицы, Альшицы и даже один Левенбук. Но совсем не только они.

Коли бы дело обстояло так просто и речь шла лишь о происхождении, собственно, не о чем было б и говорить. Все давно уже сказано в статье М. Шолохова и К. Симонова. Маски сорваны, злоумышленники уличены.

Здесь-то случай куда сложнее. Пусть негритянка Вупи Гольдберг сделалась Вупи Гольдберг — это жалкая частность. Куда важнее тональность, интонация, с которой сообщают тайные сведения. Стоит вслушаться и рассмотреть: «Копперфилд Дэвид (наст. фам. Коткин; р. 1956) — амер. иллюзионист. Род. в семье потомственных выходцев из России. С детства увлекался фокусами, осваивал нехитрые приспособления, выходил на арену провинциального цирка. Окончил ср. школу, безуспешно учился в колледже. Псевдоним подарил ему роман Ч. Диккенса “Дэвид Копперфилд” с подачи амер. журналиста Барри Куннигама. Автор номеров и изобретатель технич. средств для иллюз. представлений. Самые сенсационные номера — полеты наяву, проход сквозь Великую китайскую стену, дематериализация статуи Свободы, зависание в воздухе вагона и его исчезновение и т. д. В год К. Д. устраивает ок. 500 представлений в странах мира».

Вот он — реальный источник опасности. Недоучившийся студент, человек, осваивавший нехитрые приспособления в заштатном цирке, и вдруг спокойно подвешивает в воздухе железнодорожный вагон или дематериализует статую Свободы. Такой способен на все что угодно. И, кроме того, он не единственный. Их сотни. Множество. Несть числа. Сочинители и актеры, революционеры и художники.

Невольню надо сопротивляться, готовиться к борьбе, думать, сопоставлять. Или, как говорил благонамеренный персонаж из великого фильма «Подвиг разведчика», разошедшегося на цитаты: «Мысли. Наблюдения. Выводы. Мечтаю предостеречь, предотвратить». И добавлял, протягивая аккуратные листочки бумаги: «Вот — евреи. А вот — коммунисты».

Впрочем, автор энциклопедии псевдонимов не ограничивается и этими категориями граждан. В его проскрипционные списки входят все, кто внушает какое-либо беспокойство, например, социально чуждые элементы: «Генри (наст. имя и фам. Уильям Сидней Портер; 1862—1910) — амер. писатель. Первый свой рассказ “Рождественский подарок Уистлинга Дика” (опубл. 1899) Г. написал в тюрьме, где отбывал наказание за растрату (1898—1901)».

В некоторых случаях, хотя ничего предосудительного за человеком и не замечено, следует проявить похвальную бдительность: «Дюамель Жорж — наст. имя неизв.».

Это совсем не пустые фантазии, утверждает автор энциклопедии, это в первую очередь выкладки, плоды тяжелой и грязной работы, даром, что ли, указывая использованную литературу, он называет не просто год издания, но еще и количество страниц или столбцов, наличие иллюстраций, более того, фамилию переводчика, если книга переводная.

И приходится лишь посетовать, как сетовал другой персонаж из того же великого фильма: «Вы добрый немец, вы хороший немец, но вы штатский немец!» А все почему? А потому же: «У разведчика должен быть особый талант, особое чутье, особый нос, особые глаза... И злость!»

Ни какого-либо таланта, ни чутья, ни глаз, ни носа, ни уха, ни рыла у автора энциклопедии нет. В противном случае он бы знал, что ни Адольф Гитлер, ни Андрей Платонов — отнюдь не псевдонимы, ровно так же, как Франциск Ассизский. И, наделенный талантом да обыкновенным особым чутьем, глазами, ушами и носом, не написал бы векеи: «Ванька Каин (наст. имя и фам. Иван Осипов Каин)».

А прочитав в энциклопедии псевдонимов: «Морозов Павлик (полн. имя Павел Трофимович; 1918—1932) — пред. пионерского отряда с. Герасимовка Свердловской обл. Убит. Гибель М. была использована для создания идеологизир. образа непримиримого юного борца с кулаками», хочется дружески заявить: «Как разведчик разведчику скажу, что вы болван, Штюбинг».

Я, разумеется, понимаю, почему на страницах 50 и 51 напечатано: «Вишня Остап (наст. имя и фам. Павел Михайлович Губенко; 1889—1956) — укр. Писатель-сатирик. Начал печататься с 1919. Сотрудничал в газетах и сатирич. журналах. В 1934 был репрессирован. Оpubл. сб-ки “Самостійна дїрка” (1945), “Весна-красна” (1949) и др. Мастер короткого памфлета, сатирич. фельетона, юморески», а на странице 54 автор вновь возвращается к прежней теме: «Вышня Остап (наст. имя и фам. Павел Михайлович Губенко; р. 1889) — укр. Писатель-юморист. Печатался также под пс. П. Груньський. Род. в крест. семье на Полтавщине, в местечке Грунь (отсюда Груньський). Начал печататься в 1919. По определению одного из критиков, Вышня — “современнейший из современников”; отзывается на злобу дня своими фельетонами, высмеивает отрицательные стороны жизни».

Нет же, нет, это не опечатка или небрежность, не развесистая вишня и не пьяная клюква. Причиной тут опять-таки гражданское рвение, жажда разоблачить скрывшегося под личинами, предупредить — враг многолик.

Понимаю, ибо я помню: «Слова “не могу” нет. Тебе доверяют — ты обязан выполнить приказ».

Понимаю, ибо видеть всюду ветвящийся заговор и сигнализировать о нем считается хорошим тоном в любую эпоху. Так поступал и Ванька Каин, ежеминутно кричавший: «Государево слово и дело!», и Павел Трофимович Морозов, скандировавший бодрую речевку:

Наш девиз всегда таков —
Больше дела, меньше слов!

Ибо, пусть славянский шкаф давным-давно продан, остается никелированная кроватка с тумбочкой. И пароль подразумевает отзыв.

Я понимаю все. Но, когда автор энциклопедии псевдонимов будет чокаться в кругу друзей и провозгласит тост: «За победу!» — я чуть-чуть подожду, а после этого подниму бокал: «За нашу победу!»

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ МОСКВОШВЕЯ

Святые источники текста, освященные благословением патриархов

Фразы из фильма режиссера Б. В. Барнета «Подвиг разведчика» приводятся по книгам и статье: К. В. Душенко. Словарь современных цитат. М., 1997; В. С. Елистратов. Словарь крылатых слов (русский кинематограф). М., 1999; А. Ю. Ханютин. Паремология кино. См. в: Киноведческие записки, 1993, № 19, сс. 45—55.



*В следующем номере
мы завершаем публикацию книги
ИГОРЯ ВОЛГИНА*

*«ПРОПАВШИЙ ЗАГОВОР.
Достоевский и политический процесс 1849 года».*

«...Семеновский плац можно, пожалуй, принять за точку отсчета. В онтологическом измерении смертный миг Достоевского — это миг рождения нового, катастрофического, "порогового" сознания, которое станет отличительным признаком следующего столетия. Тема "порога" вообще характерна для поэтики Достоевского. Не пора ли, кстати, пословицу "Вот тебе Бог, а вот — порог" истолковать в глубоком философском смысле?

"Бытие,— записывает Достоевский в одной из последних тетрадей,— только тогда и есть, когда ему грозит небытие. Бытие только тогда и начинает быть, когда ему грозит небытие"».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В 2000 году «Октябрь»
предполагает опубликовать:

- Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.
- Алексей ВАРЛАМОВ. **Новый роман.**
- Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года. Окончание.
- Александр ВОЛОДИН. **Рассказ.**
- Владимир КАЧАН. **Улыбайтесь, сейчас вылетит птичка.** Повесть.
- Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Конец Арбата.** Повесть.
- А. Ф. ЛОСЕВ. **Рассказы.**
- Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**
- Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**
Стихи.
- Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».** Письма Ю. Олеши к жене.
- Владислав ОТРОШЕНКО. **Гоголиана.**
Новочеркасские рассказы.
- Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.
Рассказы и статьи из новой книги.
- Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **В садах других возможностей.** Из новой книги.
- Евгений ПОПОВ. **Новая повесть.**
- Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Дневник читателя.**
- Михаил РОЩИН. **Рассказы.**
- Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.
- Ольга СЛАВНИКОВА. **Новая повесть.**
- Борис ХАЗАНОВ. **Рассказы. Статьи.**
- Евгений ШКЛОВСКИЙ. **Рассказы.**
- Сергей ЮРСКИЙ. **Западный экспресс.** Продолжение книги.
- А также **новые произведения** Петра АЛЕШКОВСКОГО, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Леонида ФИЛАТОВА, Асара ЭППЕЛЯ и др.
- Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Владимир БЕРЕЗИН, Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ.

Подписка принимается во всех отделениях связи по Каталогу «Роспечати». Индекс подписки для Российской Федерации: на полугодие — 73293, на год — 72375, для стран СНГ — 79209. В розницу журнал можно приобрести в следующих магазинах:
 «Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;
 «Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6;
 «Гилея» — Б. Садовая, 4;
 Литературный клуб «Графоман» — ул. Бахрушина, 28;
 Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;
 Книжно-лотный салон «Летний сад» — ул. Б. Никитская, 46;
 «Мир печати» — ул. 2-я Тверская-Ямская, 54;
 «Эйдос» — Чистый пер., 6.